АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1968

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Виноградов (Москва). Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры 3
В. М. Жирмунский (Ленинград). О некоторых проблемах теории тюркского народного стиха 23

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. Рясянен (Хельсинки). Об урало-алтайском языковом родстве . . . 43
А. Ф. Лосев (Москва). О возможности сближения лингвистики классической и лингвистики структуральной 50
А. Я. Шайкевич (Москва). Опыт статистического выделения функциональных стилей 64
Л. М. Скрелина (Минск). Из наблюдений над языковыми изменениями 77

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. И. Лыткин (Москва). Лабиализованные гласные среднего ряда в пермских языках 85
Д. С. Станишева (София). Некоторые вопросы синтаксемного анализа 95
С. Роспонд (Вроцлав). Значение древнерусской ономастики для истории 103

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

И. К. Белодед (Киев). Научное наследие П. И. Житецкого и современность 111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. И. Асланов (Баку). Проблемы тюркоязычного стихосложения в отечественной литературе последних лет 118

Рецензии

В. В. Мартынов (Минск). *О. Н. Трубачев.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции) 126
В. К. Журавлев (Донецк). *В. Н. Сидоров.* Из истории звуков русского языка 130
Г. П. Смолицкая (Москва). «Hydronimia Wisły», 1 133
О. С. Ахманова (Москва). *E. A. Nida.* A synopsis of English syntax . . . 135
И. А. Мельчук (Москва). «Автоматизация в лингвистике» 138

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Г. Г. Почепцов (Киев). Об обязательном и факультативном окружении 145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 149

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

В. В. ВИНОГРАДОВ

ЧТЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА И ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ КАЛАМБУРЫ

1

В советской филологии оживился интерес к проблемам перевода текстов древнерусской письменности и литературы на современный русский язык. Однако принципы этих переводов и их специфические особенности в ряду других типов и видов переводческой деятельности до сих пор еще мало осмыслены и слабо дифференцированы. Б. А. Романов, В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев, Ю. С. Сорокин, Т. А. Иванова, Я. С. Лурье, Н. В. Водовозов, О. А. Державина и другие исследователи энергично и плодотворно занимались переводом памятников древнерусской письменности на современный русский литературный язык [1].

Перед ними, конечно, возникал и в значительной степени прояснялся вопрос о количестве и качестве общих речевых черт и структурных явлений в древнерусском и современном русском языке. Однако обобщенного очерка наблюдений над соотношением систем древнерусского и современного русского языка пока нет. Нет у нас и полного словаря древнерусского языка (кроме «Материалов» И. И. Срезневского). Вследствие этого на основе априорных и часто конкретно-исторически не обоснованных соображений, а также схоластического понимания соотношения синхронии и диахронии в языке безапелляционно высказывалась точка зрения, согласно которой древнерусский язык считался *другим языком* по сравнению с современным русским. Отсюда как будто следовало, что техника и общая теория перевода с древнерусского языка на современный почти ничем не отличается от перевода с других языков. Эта точка зрения односторонняя и в основном ошибочная. Она влечет за собой новый, явно парадоксальный вопрос: когда же, при каких условиях произошел разрыв или распад тождества древнерусского языка с современным, почему, в каких отношениях они стали *разными* или

[1] Вот несколько переводов древнерусских памятников на современный русский язык: Никитин Афанасий, Хождение за три моря, М., 1950 (подготовка текста, переложение ритмической речью, предисловие и комментарии Н. Водовозова); «Повесть временных лет», ч. I — Текст и перевод, подготовка текста Д. С. Лихачева, перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова, под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1950; «Повесть временных лет», ч. II — Приложения, статья и комментарии Д. С. Лихачева, под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1950; «Слово о полку Игореве», под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1950 (здесь же переводы «Слова»: Д. С. Лихачева, И. А. Новикова и др.); «Временник Ивана Тимофеева», подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной, под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1951; «Послания Ивана Грозного», подготовка текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье, перевод и комментарии Я. С. Лурье, под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1951. Указания на переводы «Слова о полку Игореве», как поэтические, так и прозаические, здесь не приводятся в полном своем списке, так как в них ощутима сильная примесь субъективных толкований текста. Проблема происхождения и сложения этого загадочного памятника, возникновение которого датируется периодом XII—XV вв., а текст включает в себя элементы и позднейших наслоений (до конца XVIII в.), естественно, здесь оставляется в стороне. Подробные библиографические указания см. в кн.: «Библиография советских работ по древнерусской литературе за 1945—1955 гг.», М.—Л., 1956.

чужими языками и в чем конкретно-исторически выразился этот процесс? Или иначе: когда и при каких условиях из древнерусского языка вырос современный русский язык и как происходил этот процесс трансформации одного языка в другой?

Эта совокупность вопросов с неизбежностью вставала перед составителями недавно появившегося выпуска «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.» [2]. В нем нет единства понимания отношений древнерусского языка к современному русскому литературному. С одной стороны, заявляется, что компоненты древнерусского словаря и словаря современного «в принципе относятся к одному языку в разные эпохи его развития» (стр. 18. Разрядка здесь и далее моя.— *В. В.*). К этому заявлению есть странное примечание: «Конечно, следует иметь в виду вкрапления церковнославянских „кусков"... При составлении словаря древнерусского языка эти вкрапления не выделяются: в качестве источников отбираются памятники и произведения, а не отдельные разнородные по языку их элементы и тем более не слова». Здесь все темно, неопределенно и неисторично. Проблема соотношения и взаимодействия старославянского (или древнеславянского) языка и его лексики с восточнославянскими языковыми явлениями — одна из центральных в истории русского письменно-литературного языка древнейшей эпохи. Между тем предлагается отказаться от исторической точки зрения при составлении древнерусского словаря и стать на позицию синхронную (как будто эта позиция непосредственно представлена всем, даже тому, кто не знает древнерусского языка и очень мало начитан в древнерусской литературе и письменности). «В плане же синхроническом, т. е. если отрешиться от фактора времени и не учитывать, что факты древнерусского языка и факты современного русского языка относятся к разным эпохам, вне сомнения, те и другие по своему строю и словарному составу представляют собой разные системы, разные языки» (стр. 17—18). «Известно, что слова разных языков (а древнерусский язык XI—XIV вв. и современный русский мы в данном случае принимаем за разные языки) почти никогда не обладают тождественным объемом значений, отличаются по своему употреблению, как сами по себе, так и в составе разного рода фразеологических оборотов» (стр. 19).

Очень показательно и такое заявление предисловия: «Словарь древнерусского языка охватывает хотя и очень большое, но все же ограниченное количество источников. Специфика источников словаря древнерусского языка заключается в том, что многие из них непосредственно мало доступны для понимания (во всяком случае не специалистам-филологам), так как „мертвый" древнерусский язык и современный русский язык по существу представляют собой разные языки» (стр. 23). Иногда вместо выражения «чужой язык» появляется модально окрашенное словосочетание «как бы чужой язык» (стр. 24).

Очень противоречивы и суждения о «слове в его отношении к системе языка в словаре древнерусского языка». С одной стороны, выражается сомнение, что тот или иной словарь может «представить словарный состав языка как систему». В особенности это относится к словарю древнерусского языка, «охватывающему материал нескольких веков». Тут же сообщается, что этот словарь опирается на памятники, очень различные по характеру языка «(от записей и грамот частного характера до церковных произведений — агиографических, проповеднических, церковно-юриди-

[2] «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи», М., 1966 (далее указания на стр. словаря даются в тексте).

ческих), где своего рода полюсы образуют, с одной стороны, тексты, писанные на языке, близком к живой речи древней Руси, с другой — на церковнославянском языке древнерусского извода, т. е. на двух разных, хотя и близких по строю языках» (стр. 27).

Итак, перед нами словарь трех разных языков, при этом два из них — древнерусский и современный русский — даются как бы в дифференциальном сопоставлении их лексики, т. е. в плане перевода с одного языка на другой. Что же касается третьего древнерусского письменного языка — церковнославянского языка древнерусского «извода» или древнерусской «редакции», то части его словаря воспроизводятся в разбираемом проекте древнерусского словаря в непонятном смешении и хаотическом дроблении. Остается темным вопрос о том, что составители древнерусского словаря XI—XIV вв. понимают под «церковно-славянским языком древнерусского извода» и где ищут его границы [3]. Ведь уже в описании «источников словаря» заявляется, что в круг источников его включены, между прочим, «агиографическая литература (жития, сказания, чудеса, прологи, чтения и службы святым в минеях, молитвы), церковно-проповедническая литература (поучения, послания, слова), церковно-юридическая литература (например, ряд материалов из кормчих, Пандектов Никона Черногорца, Устава Студийского) и т. д.» (стр. 15).

Иначе говоря, предполагаемый «Словарь древнерусского языка» должен широко охватить памятники церковнославянского типа древнерусского языка. Поэтому оказывается с историко-лингвистической точки зрения, с точки зрения истории древнерусского литературного языка, древнерусской литературы, истории древнерусского просвещения, древнерусской культуры в целом совершенно необоснованным исключение из древнерусского словаря лексики церковно-канонической литературы (евангелия, апостола, псалтыри, книг Ветхого завета), тем более что лексика таких церковно-богослужебных произведений, как «чтения и службы святым в минеях, молитвы» и т. п., как церковно-проповеднические памятники, органически связанные с текстами «церковно-канонической литературы», находит себе место в подготовляемом словаре.

2

Прежде всего необходимо остановиться на гипотезе, согласно которой факты древнерусского языка XI—XIV вв. и факты современного русского языка «по своему строю и словарному составу представляют собой разные системы, разные языки» (стр. 19). Показательно уже то, что гораздо больше половины помещенных в этом проспекте древнерусских слов и их значений находит себе близкие соответствия в современном русском языке. Кроме того, множество древнерусских слов может быть легко осмыслено в аспекте лексической системы современного русского литературного языка. Противопоставление принципов описания лексики «извне» (древнерусской) и «изнутри» (современной) легко парализуется ссылкой на семнадцатитомный академический «Словарь современного русского литературного языка». Так как этот академический словарь охватывает русскую литературную лексику и процессы ее развития почти за двести лет, то, очевидно, составителям этого словаря и его редакторам — каждому нужно было прожить Мафусаиловы веки, чтобы приме-

[3] Ср. хотя бы сводку взглядов на соотношение и взаимодействие церковнославянского и народного восточнославянского языка в кн.: В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958.

нять приемы описания подбираемого словарного состава «изнутри». Можно вспомнить, что эта проблема уже давно нашла более глубокое и разностороннее рассмотрение, а отчасти и решение в работе Л. В. Щербы «О *трояком* аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» (1931).

Вот почему Р. А. Будагов прямо заявляет, что отнесение древнерусского языка XI—XIV вв. и современного русского языка к «разным языкам» должно быть признано неправильным, оно приводит к «антиисторической концепции» [4]. Правда, Р. А. Будагов пишет о некоторых колебаниях составителей «пробного выпуска»: «то системы одного и того же языка в разные эпохи признаются системами разных языков (стр. 19), то древнерусский язык по отношению к современному представляется „как бы чужим языком" (со смягчающим „как бы", стр. 24), то, наконец, утверждается, что „исторический словарь должен отражать последовательные изменения системы в целом" (стр. 22)»[5]. Но эту последнюю цитату легко отвести, так как «Древнерусский словарь XI—XIV вв.» имеет мало общего с историческим словарем русского языка. Ведь сами составители древнерусского словаря так пишут об этом: «Создание *исторического словаря современного русского языка является одной из* более отдаленных задач русской исторической лексикографии. Ему должен предшествовать ряд других лексикографических работ. Словарь древнерусского языка вместе со словарями других восточнославянских языков древних эпох, а также со словарями диалектными и словарями литературного языка и должен подготовить условия, в которых возможно было бы в дальнейшем составление полного, основанного на большом материале исторического словаря современного русского языка» (стр. 22). Поэтому сохраняет всю свою силу основное заключение Р. А. Будагова: научно правильно понимаемая «антиномия синхронии и диахронии при всем ее значении не может и не должна привести к тому, чтобы разные состояния одного и того же языка рассматривались как состояния разных языков. Словарь древнерусского языка есть часть словаря русского или, точнее, восточнославянского (до эпохи разделения русского, украинского и белорусского языков), а не какого-либо другого языка» [6].

3

Естественно, что ясное понимание состава, объема и принципов составления словаря древнерусского языка, а также отношений его к словарям русского литературного языка национальной эпохи во многом зависит от взглядов исследователей на закономерности образования и развития древнерусского литературного языка. А. А. Шахматов, Б. М. Ляпунов, Л. В. Щерба, Н. Н. Дурново и многие другие русские филологи считали, что современный русский литературный язык «содержит в себе еще и теперь наполовину слова, формы, обороты древнеболгарской книжной речи» (Шахматов), что «словарный состав и словообразование» современного русского литературного языка «наполовину церковнославянские» (Дурново), что «не только современный русский литературный язык, но и язык великорусской (а до недавнего времени и украинской и белорусской) интеллигенции кишит веками усвоенными и совершенно *незаметными для большинства* церковнославянизмами» (Ляпунов). Л. В. Щерба в своих устных беседах высказывал мысль, что если опираться на историческую семантику, то церковно-

[4] Р. А. Будагов, Два замечания на проект «Древнерусского словаря», «Вестник МГУ», Серия X. Филология, 1967, 3, стр. 74.
[5] Там же.
[6] Там же, стр. 75.

славянскими или древнеславянскими должны быть признаны больше чем пятьдесят процентов слов и выражений современного русского литературного языка [7]. Близкие этим лингвистам взгляды на значение церковнославянской или древнеславянской лексической струи в истории русского литературного языка развивались А. И. Соболевским, Л. А. Булаховским, С. К. Буличем, Б. Г. Унбегауном и многими другими славистами. Примыкали к этой точке зрения В. М. Истрин, М. Н. Сперанский, Е. Ф. Карский, Б. А. Ларин и др., хотя и стремились к более широкой постановке вопроса о сильной и разносторонней стихии живой восточнославянской народной речи в структуре русского письменно-литературного языка старшей поры. Правда, соотношение и взаимодействие русского и церковнославянского языка в истории русского литературного языка до конца XVII в. до сих пор еще остаются не вполне (или даже — очень мало) разъясненными (в деталях). Необходимо отметить возрожденную трудами Р. Пиккио и Н. И. Толстого точку зрения на церковнославянский язык как на общий, международный литературный язык южного и восточного славянства до XVIII в. и на специфические особенности его развития.

Таким образом, вопрос о церковнославянском (или древнеславянском) языке и его роли в истории отдельных литературных языков южных и восточных славян вырастает в особую чрезвычайно важную задачу сравнительно-исторического и типологического изучения культурно-исторического, а также литературно-языкового развития славянского мира.

Среди тех историко-лингвистических концепций, которые были направлены в сторону ограничительного толкования состава и функций церковнославянского языка в структуре и истории русского литературного языка, следует упомянуть теории М. Н. Петерсона, С. П. Обнорского и Л. П. Якубинского. М. Н. Петерсон на основе статистического анализа случайно подобранного и очень небольшого материала современного русского языка (500 слов, взятых по 100 из разных мест произведений Пушкина) пришел к выводу, что старославянизмов или церковнославянизмов в современном русском языке не больше 8,5 процента [8]. С. П. Обнорский, как известно, стремился доказать, что роль старославянизмов в формировании древнерусского литературного языка была очень ограничена и что русский литературный язык старшего периода был чисто русским языком во всех элементах своей структуры [9]. От этой точки зрения быстро отошли даже самые рьяные ее защитники, например Д. С. Лихачев.

С несколько более сложной, однако по основному замыслу близкой к взглядам С. П. Обнорского концепцией развития древнерусского литературного языка выступил Л. П. Якубинский [10]. Он утверждал, что старославянский язык сыграл определяющую роль в самые первые моменты формирования древнерусского письменно-литературного языка, но уже в XI в. в нем возобладала живая восточнославянская устно-речевая стихия. Отсюда у Л. П. Якубинского укрепляется тенденция к изучению стилистических взаимоотношений и взаимодействий русизмов и славянизмов в памятниках древнерусской литературной речи XI—XIII вв.

«Словарь древнерусского языка» мог бы послужить существенным вспомогательным материалом для более глубокого, детального конкретно-исто-

---

[7] См.: В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, стр. 3—8.

[8] См.: М. Н. Петерсон, Лекции по современному русскому литературному языку, М., 1941, стр. 21 и сл.

[9] См.: С. П. Обнорский, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, М.—Л., 1946.

[10] См.: Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953.

рического изучения соотношений и взаимодействий старославянской и народной восточнославянской лексики в составе древнерусского литературного языка. Но эта задача, видимо, не входит в замысел напечатанного проекта древнерусского словаря. Между тем, только правильная и целесообразная постановка вопроса о составе, целях и методах этого словаря помогла бы ответить на вопрос о количественных и качественных соотношениях систем древнерусского и современного русского языка. Этот вопрос и раньше интересовал как лингвистов-русистов, так и историков древнерусской литературы.

4

Л. В. Щерба в своих статьях по современному русскому языку развивал мысль, что грань между старым (или древним) и современным русским языком лежит где-то на рубеже XVIII и XIX вв. и что творчество Пушкина окончательно определило и закрепило структуру нового русского литературного языка[11]. Эти ценные соображения, в сущности, относятся к теории процесса складывания новых форм русского национального литературного языка.

Л. В. Щерба подходил к вопросу о грани между древним и новым русским языком с точки зрения актуальности и живых функций старой «языковой сокровищницы» в современной речевой жизни, особенно в «искусстве слова». «Литературный язык тем совершенней, чем богаче и шире его сокровищница». «Не менее очевидно и то, что тем богаче будет эта сокровищница, чем однороднее будет ее материал, т. е., говоря попросту, чем понятнее будут нам все литературные произведения, в нее входящие. Всякий резкий разрыв в ее составе уменьшает ее ценность: произведения, в которых мы чувствуем, что „так не говорят", а тем более, что „это и вовсе непонятно", выпадают из нашей сокровищницы». Далее Л. В. Щерба дает сопоставительную оценку процессов развития французского и русского литературных языков, их отношений к фактам донационального речевого развития:

«С этой точки зрения любопытно отметить, что французская революция XVIII в. хотя и внесла в язык XIX в. очень много нового, однако не создала непроходимой грани между произведениями XVII и XVIII вв., с одной стороны, и произведениями XIX и XX вв., с другой, в смысле их понятности.

И сейчас еще французская молодежь воспитывается на классической литературе, на Мольере, Расине, Лафонтене и других великих писателях XVII в. Я не говорю уже о писателях XVIII в., Руссо, Вольтере, Бомарше и других, которых читаем и мы и которые занимают почетное место во французской языковой сокровищнице»[12].

Несколько иная картина, по мнению Л. В. Щербы, предстает перед нами, когда мы обращаемся к истории русского литературного языка.

«Наша актуальная литература начинается лишь с XIX в., но мы читаем и кое-что из XVIII в. и безусловно в какой-либо мере приобщаемся к народному творчеству в виде былин, сказок, песен и т. п. Однако мы должны помнить, что еще в XVIII в. жива была сокровищница нашей древней литературы, накопление которой началось еще в IX в. и которая наполнена всем тем, что имела греческая литература и культура того времени. Мы утратили эту сокровищницу в том смысле, что перестали читать нашу древнюю литературу, — и это более чем естественно. Однако наша современная сокровищница успела вобрать в себя из старой все ценное, и

[11] Л. В. Щерба, Литературный язык и пути его развития, в кн.: Л. В. Щерба, Избранные работы по русскому языку, М., 1957.
[12] Там же, стр. 134—135.

хотя сама она и начинается только с XIX в., но начинается не с нуля, как в этом легко убедиться хотя бы на Пушкине»[13].

Несмотря на несомненное значение этих высказываний для понимания процесса складывания национальных языковых норм, все это еще мало уясняет вопрос о степени и характере удобопонятности древнерусских текстов в аспекте системы нового русского национально-литературного языка. Можно в связи с этим вспомнить высказывание того же Л. В. Щербы, что древнеславянизмы занимают более 50 процентов в системе элементов современного русского литературного языка. Однако уже из этих соображений можно заключить, что в применении к древнерусскому языку сопоставительно с современным понятие «другой, иной» имеет очень условный смысл. Этот вопрос даже в отношении лексики не может решаться так элементарно. Ведь в эпоху национального развития русского литературного языка в нем коренным образом изменялось соотношение между книжно-славянской стихией и живой народной речью с ее диалектными ответвлениями. Любопытно, что еще в «Статире», сборнике поучений (около 1683—1684 г.), неизвестный автор писал о древнем славянском переводе творений Златоустовых («Беседа божественного Златоуста на Евангелия, Павловы Послания и на Деяния св. апостолов»): «Не только миряне, но и некоторые из священников говорят, что переводы творений Златоустовых писаны на иностранном языке»[14].

Необходимо тщательно разобраться в вопросе о том, что представлял собою древнерусский язык в разные периоды своей истории, о каких его разновидностях можно говорить с полною уверенностью для древнейшего периода его развития, какие уровни его системы оказываются наиболее далекими от современного состояния. Обычно считают, что со второй половины XVII в. начинается новый период в истории русского литературного языка, который, конечно, не оторван от предшествующего его развития.

Что такое знание древнерусского языка? Морфологические схемы эволюции древнерусских именных, местоименных и глагольных парадигм, общий каркас характерных синтаксических конструкций — форм сочетаемости слов и типов образования предложений в их историческом движении нам более или менее известны. Однако это еще не дает полного знания языка. Далеко не все функции и элементов и форм грамматического строя для нас с полной наглядностью очевидны в древнерусском языке, как, впрочем, в значительной части и в современном. Еще хуже обстоит дело с изложением и объяснением лексико-фразеологической системы языка. И тут очень много общего между лексикографической работой над словарем древнерусского языка и словарем современного русского языка. Но главное: древнерусские тексты возникают и строятся на семантической и образно-идеологической базе, типичной для духовной культуры средневековья. Все это — органические и типологические проблемы общей истории литературных языков с давней письменностью.

5

Язык и литература неразрывны. Составление словаря древнерусского языка невозможно без знания древнерусской литературы и без глубокой и всесторонней начитанности в ее памятниках. Поэтому целесообразно прислушаться к голосам историков древнерусской литературы о специ-

[13] Там же.

[14] См.: А. С. Архангельский, Из лекций по истории русской литературы. Литература Московского государства (кон. XV—XVII вв.), Казань, 1913, стр. 130.

фических особенностях ее структуры, о закономерностях развития ее жанров и стилистических систем, а также о путях и направлениях ее исторического движения.

Прежде всего следует обратить внимание на мысль о том, что древнерусская литература насквозь пронизана богословием. Об этом так говорил Д. С. Лихачев: «...можно утверждать, что литература стремится приложить определенные богословские представления к действительности; она превращает реальность в идеологическую схему. Средневековому автору кажется, что вся истина уже познана в богословии. Его задача в том, чтобы находить осуществление богословских положений в окружающей его действительности, познавать частности, применяя к ним общие представления средневековья, средневековую символику и средневековую христианскую мораль... Отсюда бесконечное и однообразное морализирование... Отсюда проповедь — основной, наиболее распространенный жанр эпохи феодализма. Элементы проповедничества, морализирующего, ораторского-дидактического отношения к миру наполняют собой жития, летописи, хронографы, различные сказания, подчиняют себе большинство жанров литературы. Основные жанры средневековой русской литературы включают в себя элементы ораторства... Выразительные средства основываются по преимуществу не на сходстве, а на богословской символике; метафора-символ преобладает над метафорой в собственном смысле этого слова» [15].

Эти соображения подчеркивают огромную организующую роль церковнославянского, или книжно-славянского, языка.

В суждениях Д. С. Лихачева об исключительном господстве «богословской» направленности в семантике древнерусской литературы есть преувеличения. На это указывали И. П. Еремин, В. П. Адрианова-Перетц и некоторые молодые историки древнерусской литературы; это признал позднее и сам Д. С. Лихачев. Но общий вывод Д. С. Лихачева сохраняет некоторую силу. Слова и выражения древнерусской письменности, особенно те, которые относятся к стилям церковно-книжной сферы, соотносительны и взаимосвязаны. Их определения и толкования предполагают глубокое проникновение в тексты древнерусских литературных произведений и в их идейное содержание. Принцип толкования вырванных из контекста примеров (словарных «карточек»), произвольных объяснений «извне» с этой точки зрения никак не может быть оправдан.

Так как словарь, составляемый к памятникам письменности, и сама эта письменность неразделимы (так же, как язык и литература), то для составителей древнерусского словаря не могут быть безразличными те поиски и споры, которые ведутся в настоящее время историками древнерусской литературы, стремящимися точнее определить ее структуру, ее жанры и типы, связи, противопоставления и взаимодействия ее отдельных частей и элементов. Тут необходимо прежде всего остановиться на проблеме художественного значения древнерусской прозы [16]. Эта проблема, проблема древнерусской беллетристики, была выдвинута еще А. Н. Пыпиным в середине XIX в. Правда, в своей «Истории русской литературы» он отмечал: у нас «весь склад старой письменности был таков, что

---

[15] Д. С. Лихачев, Движение русской литературы XI—XVII веков к реалистическому изображению действительности, М., 1956, стр. 6. См.: его же, Средневековый символизм в стилистических системах древней Руси и пути его преодоления, «Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию, Сб. статей», М., 1956.

[16] См.: Я. Лурье, О художественном значении древнерусской прозы, «Русская литература», 1964, 2.

в усиленном распространении церковного стиля свободная поэтическая деятельность не получила права гражданства»[17].

О «дидактизме» древнерусской литературы, которая в силу своего православно-славянского своеобразия лишена была «свободно создаваемых образцов, рожденных поэтической фантазией», и тем выделялась из общей литературно-стилевой культуры европейского средневековья, говорят и современные иностранные специалисты по древнерусской литературе и древнерусскому литературному языку, например Р. Ягодич[18] и Р. Пиккио[19]. В соответствии с такими теориями церковнославянский язык в древней Руси выступал как своеобразная типическая разновидность общего языка «православной славянской культуры средневековья», языка литературы и культуры восточных и южных славян.

В советской науке о древнерусской литературе и древнерусском языке выдвигался и с разных точек зрения укреплялся тезис о жанровом многообразии древнерусского литературного творчества, о наличии в нем своеобразного художественного метода, о возможности и необходимости установить границы «художественного» и «нехудожественного» в письменности XI—XVII вв., о сложной стилистической дифференциации древнерусского письменного языка и т. п. Правда, споры и по этим вопросам нередко запутывались в дебрях дискуссий о «реализме» в древнерусской литературе, о «реалистических элементах» или «элементах реалистичности», о «реалистических тенденциях» в ней[20].

Независимо от хода этих дискуссий и их результатов, необходимо признать, что при их посредстве яснее стало многообразие форм речевого выражения в древнерусской письменности, сложное и иногда глубоко внутренне и эстетически обоснованное переплетение и взаимодействие элементов старославянской (или древнеславянской) книжности, форм и формул делового, практического назначения и элементов обиходно-бытовой народной речи. Так, И. П. Еремин доказывал, что воспроизведение «единичных фактов действительности» имело в древнерусской литературе «„деловое“, практическое назначение» и воплощалось в соответствующие формы народно-бытового или документально-делового речевого обихода, а «на широкие просторы искусства», относящиеся к теории и истории книжно-славянской словесности, художник выходил лишь тогда, когда рисовал «не действительность, а порожденные ею идеалы»[21]. Между тем В. П. Адрианова-Перетц (по летописям и житийной литературе), а вслед за ней и Д. С. Лихачев находили и приводили примеры «сознательного, целеустремленного творчества» древнерусских авторов, стремившихся «создать иллюзию действительности», передававших речи своих героев, которые

---

[17] А. Н. Пыпин, История русской литературы, I, СПб., 1911, стр. 486.

[18] R. Jagoditsch, Zum Begriff der «Gattungen» in der altrussischen Literatur, «Wiener Slavistisches Jahrbuch», VI, 1957—1958; ср.: Р. Ягодич, К понятию «литературных родов» в древнерусской литературе, «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», I, М., 1962.

[19] R. Picchio, Storia della litteratura russa antica, Milano, [1959], стр. 323.

[20] В. Адрианова-Перетц, О реалистических тенденциях в древнерусской литературе (XI—XV вв.), «Труды Отдела древнерусской литературы [Ин-та русской лит-ры АН СССР (Пушкинский дом)]», XVI, М.—Л., 1960; Д. Лихачев, У предстоков реализма русской литературы, «Вопросы литературы», 1957, 1; его же, Об одной особенности реализма, «Вопросы литературы», 1960, 3; И. Еремин, К спорам о реализме древнерусской литературы, «Русская литература», 1959, 4. Ср. также: И. Еремин, О художественной специфике древнерусской литературы, «Русская литература», 1958, 1; С. Азбелев, Реализм и древнерусская литература, «Русская литература», 1963, 1.

[21] И. П. Еремин, О художественной специфике древнерусской литературы, стр. 81.

«либо услышаны, либо могли бы быть услышаны в жизни» [22]. Вместе с тем углубляется мысль о необходимости тщательнее изучать динамику исторического движения древнерусской литературы, ее стилей, ее языка. Так, Д. С. Лихачев в своем исследовании «Человек в литературе древней Руси» [23] говорит о ряде стилистических систем, сменявших друг друга в литературе XI—XVII вв. Вообще у советских филологов крепнет убеждение в «органической связи древнейших памятников русской художественной прозы с литературой XVII в., а через нее и с литературой нового времени» [24]. Отсюда — такие вопросы и убедительные ответы на них: «Сохраняют ли памятники древнерусской прозы значение художественных произведений для нашего времени? Можем ли мы понять и ощутить их эстетику? Чтение древнерусских литературных памятников несомненно во многом затруднительно для современного читателя; они не всегда понятны ему по языку, чужды по реалиям. Но так же обстоит дело и с любыми древними памятниками... Определенное усилие нужно современному читателю и для того, чтобы войти в мир древнерусской литературы. Но войдя в этот мир, наш современник убедится в том, что он не так уж чужд и непонятен нам, как кажется на первый взгляд» [25].

В. П. Адрианова-Перетц в статье «Из истории переводной литературы Киевской Руси», характеризуя разные типы переводной византийской агиографии — мартирии и жития, заключает: «...они давали читателям древней Руси не просто назидательное повествование о „положительных" героях, идеально осуществлявших в своей жизни самые строгие требования христианства. Литературное значение этих переводных житий не ограничивалось тем, что они внесли в художественное изображение некоторых сторон душевной жизни человека. Назидательная цель житийного повествования не препятствовала тому, чтобы оно превращалось в увлекательный рассказ, в котором появлялись образы сказочной фантастики эпической героики с присущими им гиперболизмом и красочностью, чтобы сама биография святого рисовалась как приспособленный к новой задаче роман приключений. Так агиография восполняла, хотя бы отчасти, отсутствие в составе переводной литературы Киевской Руси „специфически светской литературы, свободной от морально-религиозной окраски"» [26].

В самое последнее время Д. С. Лихачев в статье «Несколько мыслей о языке литературы и литературном языке древней Руси» пытался развить своеобразную точку зрения на развитие древнерусского литературного языка, представляющую собой до некоторой степени синтез моих взглядов и взглядов А. С. Будиловича, Р. Пиккио и Н. И. Толстого или компромисс между ними. Прежде всего Д. С. Лихачев заявляет, что единство литературного языка предполагает «существование единой же литературы». Такое единство «типично для нового времени». «В древней же Руси литература обособляется и по жанрам, и по областям, и в известной мере по отдельным произведениям», поэтому,— заключает Д. С. Лихачев,— «единого, объединяющего всю литературу, литературного языка в древней Руси не было» [27].

---

[22] Д. Лихачев, Об одной особенности реализма, стр. 63—67. Ср.: В. П. Адрианова-Перетц, О реалистических тенденциях в древнерусской литературе, стр. 10.
[23] Д. С. Лихачев, Человек в литературе древней Руси, М.—Л., 1958.
[24] Я. Лурье, О художественном значении древнерусской прозы, стр. 27.
[25] Там же, стр. 27—28.
[26] В. П. Адрианова-Перетц, Из истории переводной литературы Киевской Руси, «Историко-филологические исследования. Сб. статей к 75-летию акад. Н. И. Конрада», М., 1967, стр. 229.
[27] Указ. сб., стр. 303, 304.

«Наиболее компактна по своему языку в литературе древней Руси группа сочинений богослужебных, богословских, проповеднических. В основной и наиболее „стилистически авторитетной“ своей массе эта группа произведений состояла из переводов, сделанных в Болгарии или на Руси, на церковнославянский, по происхождению своему древнеболгарский язык... На этот язык воздействовал не только разговорный язык, но и письменный развивавшийся рядом с церковнославянским, другой русский литературный язык — язык по преимуществу деловой и исторической прозы. Этот русский в своей основе литературный язык не обладал такой законченностью и устойчивостью, как язык церковнославянский. Это был язык светских письменных памятников, стилистически менее „приподнятых“. На нем написана большая часть летописей..., „Моление Даниила Заточника“..., „Слово о погибели Русской земли“ ... Это был язык менее защищенный традицией, образцами и литературным этикетом от вторжений народного, разговорного языка, чем язык церковнославянский» [28]. «Единство этого русского в своей основе литературного языка ощущается гораздо меньше, чем единство и устойчивость церковнославянского языка. Это связано, конечно, в первую очередь с тем, что нет единства и устойчивости, традиционности и взаимосвязанности в основной массе той литературы, которую он обслуживал» [29].

Формы и типы дифференциации, связей и взаимодействий этих двух языков подчинены выдвинутой Д. С. Лихачевым очень неопределенной субъективной категории «литературного этикета». Д. С. Лихачев не считает целесообразным применять к книжно-славянскому языку термин «тип» русского литературного языка, так как церковнославянский язык «был общим языком для многих славянских стран». Это — мысль не новая. Но ведь в каждой из таких стран, которые в эпоху феодализма пользовались церковнославянским языком для обслуживания разных сфер культуры и общественной жизни, были свои нормы и свои народные или государственные принципы использования церковнославянского языка и взаимодействия или соотношения со своим народным языком. Международная культурная связь между этими разными типами или редакциями церковнославянского языка (болгарский, сербский, румынский и т. д.) не препятствовала развитию индивидуальных своеобразий в истории каждого из этих типов. Отсюда можно сделать заключение о возможности двух подходов, двух методологических направлений в изучении международной истории церковнославянского языка.

С одной стороны, изучение общих закономерностей и процессов развития этого языка в разных восточно- и южнославянских странах представляет важную историческую и теоретическую задачу. Ведь этот особый «сакральный» язык развивался и изменялся не только отдельно в каждой стране, но и как единое целое. Литературный обмен между отдельными странами на этом языке был чрезвычайно интенсивен в течение всего средневековья. Эта проблема была на широком сравнительном фоне выдвинута еще А. С. Будиловичем [30], частично освещалась в трудах С. К. Булича и А. И. Соболевского, а в последнее время в работах Р. Пикио и в статьях Н. И. Толстого.

С другой стороны, церковнославянский язык имел большие различия в своем развитии и в формах своего взаимодействия с родным языком в разных славянских странах. Об этом сам Д. С. Лихачев пишет так: «Оба

---

[28] Указ. сб., стр. 304.

[29] Там же, стр. 305.

[30] А. С. Будилович, Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы, I, II, Варшава, 1892.

литературных языка древней Руси — русский и церковнославянский — находились в постоянном взаимодействии, гораздо большем, чем взаимодействие средневековой латыни и национальных языков. Литературный этикет требовал иногда быстрых переходов от одного языка к другому. Эти переходы совершались порой на самых коротких дистанциях: в пределах лексики одного предложения. Но взаимодействие литературных языков не было „равноправным". Церковнославянские формы и слова переходили в русский литературный язык „навсегда", получали здесь стилистические оттенки и смысловые нюансы. Церковнославянский язык постоянно обогащал русский литературный язык. Обратное воздействие было иным. Проникновения русского литературного языка в церковнославянский постоянно изгонялись из последнего. Средневековые книжники резко ощущали различие письменного языка и устного. Поэтому нельзя себе представить письменный русский литературный язык как простую письменную фиксацию койне различных административных центров. Это была какая-то мало еще ясная для нас трансформация устного языка,— трансформация, в которой были какие-то свои правила и свой этикет» [31].

По мнению Д. С. Лихачева, «письменный литературный русский язык был связан не только с койне важнейших административных центров Руси. В одной из своих разновидностей он трансформировал в письменность язык устной народной поэзии, обладавший особой стилистической функцией и владевший своими поэтическими формулами и поэтической лексикой. В этой своей разновидности русский литературный язык был, так же как и церковнославянский, поэтически приподнят над языком обыденным. Эта разновидность русского литературного языка не имела „сплошного" развития от XI до XV I в. включительно...» [32].

В этой концепции Д. С. Лихачева много неясностей и противоречий. В конце концов она отчасти сбивается на взгляды А. В. Исаченко, отчасти — Л. П. Якубинского и Г. О. Винокура. Но с общим выводом Д. С. Лихачева о том, что до сих пор ни одна из существующих концепций не отражает полностью «реального положения» с развитием древнерусского литературного языка, необходимо согласиться. Очень справедлива и убедительна мысль Д. С. Лихачева, что создать новую более глубокую и полную концепцию истории древнерусского языка и языка древнерусской литературы «можно будет только тогда, когда языковедами будет принята во внимание сама литература, ее особенности, ее поэтика. Здесь, как и во многом другом, связанном с изучением языка и литературы древней Руси, необходимы совместные усилия языковедов и литературоведов» [33].

Таким образом, широкая начитанность в разных жанрах древнерусской письменности и художественной литературы, уменье уловить и схватить внутренние закономерности мировоззрения и духовной культуры средневековья — вот база понимания древнерусского текста и основы работы над словарем древнерусского языка.

В статье «В чем сущность спора о реалистичности в древнерусской литературе?» Д. С. Лихачев так характеризует основную линию развития древнерусской литературы: «Литература древней Руси в своей официальной, торжественной и пышной линии стремится абстрагировать явления действительности, извлекать из них „вечный" смысл, видеть в окружающем символы вечных истин, богоустановленного миропорядка... Писателей волнует по преимуществу общее, „вечное", абстрактное, идеальное.

---

[31] Д. С. Лихачев, Несколько мыслей о языке литературы..., стр. 306.
[32] Там же, стр. 307.
[33] Там же.

Они стремятся к изображению величественного, пышного, значительного. Соответственно — торжественный, приподнятый над обыденным литературный язык, пышные церемониальные формы официальной письменности»[34]. Но наряду с этой абстрагирующей, идеализирующей тенденцией в древнерусской литературе проявляется и другая — конкретизирующая, тенденция к «реалистичности». Эта тенденция обнаруживается в том, что писатель «стремится изображать события наглядно, близко к действительности, вскрывает характерное и пользуется художественной деталью, отказывается от велеречия и приподнятости стиля, передает прямую речь персонажей в индивидуализированной форме»[35].

В связи с наличием двух противоположных стилевых тенденций в древнерусской литературе возникает вопрос, как же они совмещаются — иногда в структуре одного и того же произведения? Ответ Д. С. Лихачева таков: «Древнерусская литература носила „ансамблевый характер", и это позволяло соединять в произведении разные способы изображения действительности». Даже в житийной литературе «все части жития разностильны и разножанровы, иногда они писаны даже разными литературными языками: то литературным русским, то литературным церковнославянским»[36]. Оба эти языка находились в сложном взаимодействии и причудливом переплетении.

В статье «Изучение русской литературы X—XVII веков за 50 лет» Д. С. Лихачев пишет: «Древнерусская литература подготовила расцвет русской литературы в новое время. Она передала русской литературе нового времени богатейший опыт наблюдений и литературных открытий, литературный язык с его огромным диапазоном стилистических возможностей»[37]. Само собой разумеется, что все эти соображения и замечания нисколько не свидетельствуют о древнерусском языке как языке ином, «иностранном» или чужом. Они требуют лишь особого внимательного отношения к тем словам и выражениям, с которыми связано в древнерусском языке важное и своеобразное идейное или символическое значение.

6

Общность и единство древнерусского языка с современным при наличии между ними естественных и существенных расхождений создает своеобразные опасности и большие трудности при семантическом истолковании однородных или близких по структуре слов. Главная опасность состоит в определении значения не на основе знания соответствующего текста в целом, а путем произвольного истолкования картотечного примера, отрезка, вырванного из контекста. Вот — иллюстрация. «Блудодѣяние... 1. Недозволенное действие, нарушение обряда» (стр. 220). Так определяется это слово в цитате из Кормчей Рязанской 1284 г.: «Си в вина мѣсто воду богови приносять, сего ради водѣ прѣдъстатели нарицаються, сии бракъ блудодѣяние нарицають». Это толкование «Словаря древнерусского языка» произвольно; причем здесь значение «недозволенного действия», какое «нарушение обряда» имеется в виду — непонятно. Все это — сплошное недоразумение. Речь идет о тех, кто вместо вина при торжестве брака воду богу приносят, вот они-то брак с вином и называют «блудодеянием». Между тем, евангельский рассказ о браке в Кане Галилейской говорит о другом, о необходимости вина на брачном пире.

[34] Д. С. Лихачев, В чем сущность спора о реалистичности в древнерусской литературе?, «Русская литература», 1965, 2, стр. 63.

[35] Там же, стр. 67.

[36] Там же.

[37] Д. С. Лихачев, Изучение русской литературы X—XVII веков за 50 лет, «Русская литература», 1967, 3, стр. 88.

На стр. 222 почему-то «блудливи голуби» в сочетании с «и домачная курята» определяются как «дикие» («Мерило праведное», XIV в.). Странно и невнятно.

Кроме знания древних текстов, хорошего знакомства с древнерусской культурой, бытом, идеологическими воззрениями, научно-общественными течениями, состоянием техники, профессионального труда древней Руси и т. п., для составителя древнерусского словаря необходима широкая сравнительно-славистическая и историко-этимологическая подготовка. Знание древнерусского словаря углубляется историко-этимологическими исследованиями, особенно в сфере сравнительно-исторической лексикологии и сравнительно-типологической семантики славянских языков. Для понимания древнерусского текста, кроме широкой начитанности в произведениях русской литературы с XI по XVIII в., кроме знания исторической грамматики русского языка этой эпохи, кроме знакомства с югославянской и отчасти — с XV в.— с западнославянской письменностью и литературой, кроме осведомленности в развитии украинской и белорусской письменности XIII—XIV вв., — нужна синтетическая способность исторических лексико-семантических сопоставлений и комбинаций.

Уже с конца XVIII— начала XIX в. наши отечественные филологи охотно забавлялись комическими иллюстрациями неправильного толкования древнерусской лексики. Особенно много материалов для таких развлечений извлекалось из текста «Слова о полку Игореве». «Почитание книжное», осложненное культурно-историческими и идеологическими принципами и соображениями, а также очень часто субъективно-эстетическими пристрастиями, до сих пор остается главной и едва ли не единственной основой осмысления древнерусского текста у наших историков старой письменности и древнерусской литературы и лексикографов-«древников». Между тем, еще в утвержденном в 1818 г. (29 мая) новом уставе Академии было сказано, что «без знания языка все молчит: самое острое понятие, самый глубокий ум, самое редкое дарование не могут без него быть совершенны, не могут, как заключенный в коре алмаз, ни блистать, ни нравиться, ни наставлять, ни производить» [38].

Самый большой лексикографический недостаток — это антиисторические подстановки под созвучные древнерусские слова современных их значений или субъективные наивно-этимологические догадки о «внутренних формах». Например, слово *бесплавьный* из «Торжественника» (XII — нач. XIII в.) в контексте: «хотяй бо бесквьрньнъмь житиемь пожити... бесплавьною мыслью и безъопытьнъмь умъмь, простою мыслью, тако бо наидеть на нь обилѣ благодать святаго духа» — определяется как «неколеблющийся» (стр. 187). Это — очень неудачное приспособление значения слова *бесплавьный* к современным понятиям, т. е. наивно-каламбурное его истолкование. *Бесплавьный* на самом деле значит «не испорченный житейским плаванием», т. е. не поддавшийся «треволнениям» греховного быта.

Слово *бесплътие* определяется как «бесплотность, бестелесность» (стр. 187). Иллюстрируется это значение двумя примерами, взятыми из Слов Григория Богослова (XIV в.). Оба примера не разъясняют толкования и не соответствуют ему: «Кто убо паче оного или дѣвство почте, или бесплотье устави»; «Телесе смѣрение... добродѣтели придаянье, дѣвы бесплотье, жены украшенье». Что следует в этих контекстах подразумевать под предложенным толкованием «бесплотность, бестелесность» —

[38] «Труды Императорской Российской Академии», ч. 1, СПб., 1840, стр. 35.

неясно. Очевидно, слово *беспльтие* обозначает: «освобожденность от плотских (чувственных) страстей или отсутствие их».

Этимологическое осмысление слов и выражений древнерусского языка на основе сопоставлений и сравнений с родственными словесными структурами в текстах и народных говорах других славянских языков, особенно южнославянских, в русской филологии стало замирать, суживаться и даже исчезать с 20—30-х годов XX в. Достаточно посмотреть в проекте «Словаря древнерусского языка XI — XIV вв.» определения — противоречивые, субъективные и неясные — слов *буявый, буякъ, буяти* (стр. 241). К этому гнезду следует отнести также *буесловие, буесловити, буесть, буии* (стр. 238—239). Сразу же возникает вопрос, откуда в слове *буявый* возникло значение «роскошный, пышный; изнеженный». Иллюстрируется оно одним примером из «Пчелы» XIV—XV вв.: «Агафурьсии мужи суть буяви и златыя одежа носяще» (ἁβρότατοι). Истолкование примера произвольно и явно ошибочно. Если обратиться к славянскому этимологическому словарю Бернекера и к этимологическим словарям русского языка А. Преображенского и М. Фасмера, то в них нельзя найти никаких указаний на наличие в славянских языках значений «пышный» и «изнеженный» в словах соответствующего гнезда. Правда, в словаре А. Преображенского применяется слово *роскошный* при объяснении болгарского *буен* «сильно растущий, роскошный; сильный; бурный» и польского *bujny* «обильный, роскошный (о посеве)»[39]. Очевидно, что здесь слово *роскошный* принято совсем в другом смысле, чем в «Словаре древнерусского языка XI—XIV вв.».

Еще менее понятно, как составители древнерусского словаря извлекли значение «дикий, жестокий человек» из единственного примера употребления слова *буяк* в таком контексте: «сами акы волци съ буякы ходяще грабимъ чюжая имѣнья» (Сб. Хлуд. XIV в.). Слово *буяк* в современных славянских языках — украинском, словацком и польском — обозначает быка. Признак «жестокости» не связывался и не связывается с соответствующим гнездом слов (*буй*).

В проекте словаря приведены слова: *браконеискусомужьный* и *браконеискусьный*. Их значение формулируется так: «*Только жен.* Не испытавшая брачной жизни» (стр. 234). На самом деле эти прилагательные — только эпитеты богородицы, «приснодевицы» Марии. Они не применялись вообще к женщинам, которые не знали брачной жизни, замужества, т. е. к «старым девам».

Нет необходимости увеличивать количество примеров наивно-каламбурного толкования слов в изданном проекте «Словаря древнерусского языка». Дело не в нем одном и не в его недостатках. Вопрос — глубже и принципиальнее. Он относится к общей теории лексикографии. Не только при создании исторических словарей того или иного языка, но и при составлении словарей-справочников применительно к ограниченным периодам развития языка необходимы предварительные разыскания по истории значений слов, по их конкретно-исторической семантике и по их историко-этимологическим судьбам и связям. Вот характерная иллюстрация из истории русской лексики нового периода. В. Классовский писал: «Иногда ... слово получает случайно новый смысл по смелости какого-нибудь лица. Например, лет пятнадцать тому назад, с появлением русского перевода одной английской книги („Физиология обыденной жизни"), слово „обыденный" значит то же, что „обиходный", хотя оно до тех пор означало только „однодневный", „сделанный в один день"; ср. „Спас обыденный" (в Москве и в Вологде) — церковь, по преданию

[39] А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, I, М., 1910—1914, стр. 51.

выстроенная в один день, „обыденный мотылек“ — насекомое, живущее один день (эфемера), „обыденная честь (всего на один день), да и ту не сумел снесть“ — пословица. См. Словарь Даля»[40].

7

Для того чтобы наглядно представить трудности, связанные с ясным пониманием таких слов и выражений древнерусского текста, которые не могут быть непосредственно осмыслены в плане современного языкового сознания, приведем несколько примеров слов, не поддающихся точному толкованию посредством наивно-каламбурной этимологизации.

I. Насколько пестры и разнообразны могут быть каламбурно-этимологические домыслы о составе и образовании слов — при отсутствии конкретных данных об истории их значений — показывает семантическая судьба слова *палаумный* (*полоумный*?). Первые письменно-книжные примеры употребления этого слова обнаружены А. А. Шахматовым в русских памятниках XV в.— именно, во 2-й редакции Софийской 1-й летописи (списках Толстовском, Бальзеровском, Воронцовском и др.), составленной, во всяком случае, до 1462 г. Здесь при характеристике рязанцев («суровии человѣци и свѣрѣпы людие, высокоумни суще, вѣзнесшеся мыслью и вѣзгордѣшася величанием») к словам *высокоумни суще* вставлено выражение *палаумные смерди* (П. С. Р. Л., V, 232, примеч. а). Отсюда это выражение перешло и в позднейшие своды; например, в Воскресенской летописи читаем: *палоумные людища* (П. С. Р. Л., VIII, 18); в Никоновской: «помыслиша в высокоумии своемь палоумные [вариант — малоумные] и безумные людища, аки чюдища» (П. С. Р. Л., XI, 16). Нельзя не признать характерными написания с *а*: *палаумные*; «аканье вообще не проявляется (по причине грамотности писцов) в названных памятниках»,— замечает А. А. Шахматов.

История дальнейших употреблений и осмыслений слова *палаумный* в древнерусской литературе в деталях неизвестна. Сообщенные А. А. Шахматовым факты привели Ф. Е. Корша к гипотезе, что в слове *палаумный* или *палоумный* отражается греческое слово παλαβωμενος, подвергшееся своеобразной народной этимологии. Ход рассуждений Ф. Е. Корша таков. Слово *палаумный*, употребленное летописцем между 1448 и 1462 годами в качестве обозначения чего-то несовместимого с правом на высокоумие, на надменную самоуверенность и служившее для характеристики низкой степени ума, уже успело войти в литературно-языковой обиход книжника к половине XV в. Но едва ли оно могло появиться в русском языке задолго до этого и, во всяком случае, едва ли оно укрепилось в русском языке раньше конца XIV в. Об этом свидетельствует свежесть его этимологического восприятия в XV в. Очевидно, в нем вторая часть осознавалась как *умный*, а первая семасиологически сближалась с причастно-прилагательным *пал-*, *палый*. *Палоумный* — это обозначение палого, низкого ума. Так как это слово по своему строю и по своей стилистической окраске — книжное, то Ф. Е. Корш предполагает, что *палаумный* → *полоумный* — плод народно-этимологического переосмысления заимствованного иноязычного слова. С конца XIV в. оживляются культурные сношения Руси с греками, усиливается интерес к их разговорному языку (ср. «Речь тонкословия языка греческого»). На этой культурно-исторической почве вырастает много греко-русизмов. С греческим влиянием Ф. Е. Корш связывает и этимологию слова *палаумный*. В новогреческом языке есть прилагательное παλαβως «безумный, дурачливый»; отсюда глагол παλαβώνω «делаю дураком, свожу с ума», а от него причастие прошедшего времени страдательного залога παλαβώμενος. В русском языке XIV в. παλαβώμενος почти неизбежно должно было обратиться в *пала-(в)-умен*, род. *пала(в)-умна* (как *игумен*, *игумна*)[41].

Этимология Ф. Е. Корша была отвергнута М. Р. Фасмером[42], которому Ф. Е. Корш возразил, отстаивая свою точку зрения. Все же — при отсутствии других исторических фактов, иллюстрирующих употребление этого слова в XVI—XVII вв.,— гипотеза Ф. Е. Корша повисала в воздухе. А. Преображенский в «Этимологическом словаре русского языка» склоняется к старому объяснению слова *полоумный*, с которым он каламбурно отождествляет *палаумный* из *пол-* и *умный*, хотя в этом случае скорее ожидалось бы *полуумный* (ср. *полушелковый*, *полупьяный* и т. п.). Высказывалась и та мысль, что в составе *полоумный* можно предполагать *полый*. По-видимому, так думал В. И. Даль (ср. франц. *un esprit creux*).

---

[40] В. Классовский, Состав, формы и разряды словесных произведений, применительно к практическому преподаванию словесности, СПб., 1876, стр. 167, примеч.

[41] «Изв. Имп. Акад. наук», XII, кн. 3, 1907, стр. 765—766.

[42] М. Фасмер, Греко-славянские этюды, III, Сб. ОРЯС, 86, 1, 1909.

Таким образом, для толкования первой составной части слова *палаумный* — *палоумный* привлекались основы *пал-*(*палый*), *пол-*(*полый*) и *пол-* в значении «половина» (ср. *полтора*, *полденежки* и т. п.). Но совершенно ясно, что древнерусское значение слова *палаумный* остается при этом неопределенным. Оно обычно истолковывается посредством подстановки на его место современного слова *полоумный*, или *полуумный*, употребление которого зарегистрировано в словарях русского языка лишь в XVIII в. С точки зрения историко-семантической это — разновидность каламбура. Ведь ни общее значение древнерусского очень выразительного и образного характеристического «клейма» — *палаумный* (*палоумный*), ни его экспрессивно-стилистическое и идейно-оценочное характеристическое выражение качества рязанцев не воспроизводятся на основе субъективного сближения с ним современного слова *полоумный*.

Полуумный впервые зарегистрировано в «Латино-немецко-русском лексиконе» Вейсмана, 1731 г. (стр. 323); в форме *полоумный* оно отмечено в «Российском целлариусе» 1771 г., и снова в форме *полуумный* — в словаре Нордстета 1782 г. Таким образом, в русском литературном языке XVIII—XIX вв. слово *полоумный* (*полуумный*) было активным. От него образовано отвлеченное существительное — *полуумие*, которое вошло в состав «Словаря Академии Российской» 1794 г. В языке Пушкина известна форма *полуумный*. Ее значения: «помешанный, слабоумный; сумасбродный, взбалмошный» — связаны с иной просторечно-разговорной экспрессией и новыми оттенками.

II. История слова должна воспроизводить все содержание, всю цепь его смысловых превращений, все его «метаморфозы». Она стремится раскрыть конкретные условия употребления слова в разные периоды его речевой жизни. Она определяет исторические закономерности изменения значений, связывающие судьбу отдельного слова общим ходом развития всей семантической системы языка или тех или иных его стилей. История слова всегда жизненнее, динамичнее и реальнее его этимологии. Вопрос о происхождении слова только тогда получает твердую культурно-историческую базу, когда он опирается на исследование всех этапов смысловой эволюции этого слова, всех обстоятельств его бытования в разных социальных говорах, наречиях и родственных языках.

Иллюстрацией может служить спор о гнезде слов: *проныра*, *пронырство*, *пронырливый*, *пронырливость* в русском языке. Эти слова проходят через всю историю русского литературного языка. Они были широко употребительны уже в древний период русской письменности (XI—XIV вв.). В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (т. II, стр. 1551—1552) собраны такие слова с основой *проныр-*: *пронырение* «козни, злоумышление»; *пронырывыи* «лукавый, хитрый, коварный, злой, дурной»; *пронырьство* «лукавство»; *пронырие* «зло»; *пронировати* — *пронырую* «злоумышлять, строить козни»; *пронырь*, *пронырьникъ* —«злодей, лукавый» (о дьяволе); *пронырливый* «лукавый, коварный, злой»; *пронырьство* «хитрость, коварство, зло». Большая часть этих слов дожила до XVIII в. Ср., например, в «Повести о Валтасаре Кралевичи»: «лутче жити в земли пусте, нежели жити з женою злоязычною и пронырливою» [43].

В словарях Академии Российской (XVIII и начала XIX в.) отмечались как употребительные такие слова этого гнезда: *проныра*, *пронырить* и *пронырить* («употребляя хитрость, искать чего, выведывать что, выискивать»), *пронырливость*, *пронырливый*, *пронырствовать*, *пронырщик*, *пронырщица* и несколько в стороне — глагол *пронырнуть* (в значении «показавшись, появившись, тотчас скрыться, неприметно уйти») [44]. Большая часть этих слов дожила и до нашего времени.

Внутренняя форма этих слов кажется вполне отвечающей «духу русского языка». Достаточно сослаться на такие параллели, как *пройдоха*, *пролаза* (ср. областн. народн. *пройда*; ср. *проходимец*, *прошлец*). Эти слова представляются исконными русскими. Между тем этимологи возводят, правда с существенными оговорками, зарождение всего гнезда слов с основой *проныр-* к старославянскому языку и склонны видеть в *пронырь* или *пронырливъ* своеобразную народно-этимологическую переделку греческого πονηρός «злой, лукавый». Так, Б. М. Ляпунов пишет в своей статье «О некоторых примерах имен нарицательного значения...»: «Славяне не всегда переводили все встречавшиеся им слова в греческом оригинале, может быть потому, что славянский переводчик не находил в своем языке подходящих по значению слов, которые бы точно передавали смысл греческих слов. Но такие непереведенные слова редко оставались в буквально соответствующей греческим оригиналам форме; обычно они применялись к словам родного языка, иногда казавшимся семасиологически близкими. Из

[43] Н. К. Пиксанов, Старорусская повесть, М.—Пг., 1923, стр. 91.
[44] См.: «Словарь Академии Российской», ч. V, СПб., 1882, стр. 596.

таких слов древних славянских переводов отмечу... *проныръ*, *пронырьство*, *пронырив*, *пронывивъ*, соответственно греческим πονηρός, πονηρία в значении „злой, лукавый", „злоба, лукавство", которые и являлись в древнейших памятниках в виде *зълъ*, *зълоба*, *лжкавъ* и т. п., причем последние именно более свойственны древнейшим евангельским глаголическим текстам, а первые характерны для текстов, переводившихся позднее, каковы минея-четья (жития), молитвенник (euchologium) и т. п., и может быть, давно, задолго до перевода служебных и назидательных книг, уже употреблялись в живой речи постоянно общавшегося с греками болгарского населения»[45]. М. Р. Фасмер в «Греко-славянских этюдах. II. Греческие заимствования в старославянском языке» писал: «Понорьливъ, adj. malus, проноръ sm. пронорьство, пронъръ Sm. Supr. 205, 11; malitia, пронърнъ adj. malus, Supr. 102, 12; 214, 20; 369; 26; etc. Vondrák, Jan Exarch 8 — πονηρός с введением предлогов *по-* и *про-*, Брандт РФВ, XXII, 89, иначе Meillet Études 367, Mikl. E. W. 213»[46].

В «Русском этимологическом словаре» М. Фасмер сопоставляет слово *проныра* («gerissener, Schlauer Mensch») с древнеболгарским *проныръ*, *пронывъ* (πονηρός — Супр.). Однако М. Фасмер решительно отвергает здесь возможность заимствования из греческого и считает невероятным выведение этих слов из πονηρός. Вместе с тем М. Р. Фасмер не отрицает связи *проныра* с *нырять*[47]. Ср. приводимые А. Преображенским формы русск. диалектн. *нырка́ть* «скрываться»; *нырок* «нырянье; кто искусно ныряет; род утки»; сюда же: *проныра* «пролаза, хитрец»; *пронырливый*, *нырище* «глубокий овраг; логовище зверя». Глагол *нирати* встречается в «Изборнике» 1073 г. (пътищь нирающитинхъ), и, по-видимому, восходит к старославянскому. Болгарскому языку свойственны слова: *нйрну* «нырну»; *нирец*, *нирище* «яма, впадина»[48].

В данном случае народная этимология лишь как бы стягивает в одну неподвижную точку всю историю слова. Но есть все основания сомневаться в том, что влияние греческого πονηρός существенно изменило семантическую природу старославянской семантемы *проныр-* (ср. слово *нырь*, homo doctus, Климм. Смол.; это слово Хр. Лопарев пытался объяснить из греч. νοερός[49]). История слов *проныра*, *пронырливый* и т. п. попрежнему остается неразрешенной. Наличие таких образований в южнославянских языках не исключает возможности исконной принадлежности соответствующих слов к живым восточнославянским языкам. Группа слов с основой *нырь-* отмечается в восточнославянских языках (ср. укр. *нырати*, *нырнути*; *нырок*, *нырянье*; *нырцем* — *нырком* «ныряя»; ср. *нырыця* «прорвавшийся нарыв») и в болгарском (а также, по-видимому, в старославянском[50]). Обращает на себя внимание тот факт, что *проныр*, *проныра* и производные в русском языке входят в образно-однотипный ряд: *пролаза*, *проныра*, *пройда* (*пройдоха*). Ср. *проходимец*, *прошлец*. Некоторые этимологи сюда же по каламбурным основаниям присоединяли слово *прощелыга*, толкуя его так: «в щель пройдет» (Горяев, Булаховский).

Если обратиться к другим славянским языкам — сербскохорватскому, чешскому, словацкому, польскому,— обнаружится корневое единство *нырь-/нор-* (*нора*). М. Фасмер в своем «Русском этимологическом словаре» приводит пример из Супрасльской рукописи пронъръ, пронърнъ. Он справедливо сопоставляет их с древнесербским проноръ «malitia», пронорнъ «böse, schlecht» и этимологически связывает с *нора*[51]. В этом случае очень показательна однотипность словообразовательной структуры *проныр-* — *пронор-*. Вместе с тем это сопоставление еще ярче подчеркивает каламбурную национализацию слова *проныра*.

В древнесербском языке в грамотах Стефана Дечанского находим такие примеры: «Не волею ни хотѣниємь ѥго, нь завистию и пронорлываго миродрьжьца. Завистию злыихъ и пронорьлывыихъ». Дж. Даничич толкует *пронорьлывъ* как «злой» (malus)[52], и это толкование принимает и Загребский академический словарь[53]. Но, ви-

---

[45] Б. М. Ляпунов, О некоторых примерах имен нарицательного значения из первоначальных имен собственных личных в славянских языках, сб. «Академия наук СССР академику Н. Я. Марру», М.—Л., 1935, стр. 250—251.

[46] ИОРЯС, XII, 2, 1907, стр. 267. М. Р. Фасмер в «Греко-славянских этюдах. III» заметил: «Я теперь совсем не соглашаюсь с мнением Брандта Русск. Фил. Вест. XXII, 89, что слово *пронырливъ* восходит к πονηρός, что я еще считал возможным в Известиях XII, 2, 208, стр. 133».

[47] M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, II, Heidelberg, 1955, стр. 441.

[48] А. Преображенский, указ. соч., I, стр. 611.

[49] «Послание митрополита Климента к Смоленскому Пресвитору Фоме. Неизданный памятник литературы XII века», изд. Хрис. Лопарева, [СПб.], 1892, стр. 34.

[50] Ср.: Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Vindobonae, 1862—1865, стр. 457.

[51] REW, II, стр. 441. У Фасмера дано ошибочно *pronorivъ*.

[52] См.: Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских, II, Београд, 1863.

[53] «Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezyka», knj. X, Zagreb, 1931.

димо, *злыи* и *пронорьлывыи* не абсолютные синонимы: во втором присутствует мифолого-семантический оттенок злого начала, бесовства. Об этом свидетельствует тот же сербский материал. Смысловая и формальная (словообразовательная) структура древнесербского *пронорѣ* и современного *по-нор* почти идентичны. Серб-хорв. *по̏нор*, помимо значения «место, где река уходит под землю; бездна, пропасть», может означать и «ад, преисподняя» (паклени понор), а прилагательное *понорски* — «адский, относящийся к преисподней».

Все это связано с древним образным, почти реалистическим представлением об аде и о бесах, его населяющих, ведущим к перенесению географической терминологии в «адскую». Совершенно ясно, что специфика русского (и южнославянского) словообразования в семантике обязывает нас к раскрытию образной основы строения слова *проныра* с учетом его отношения к миру дьяволов и бесов, породившего немало эвфемистических и табуистических слов.

III. Слово *олух* вошло в русский литературный язык из живой народно-разговорной речи. А. И. Соболевский предложил для этого слова каламбурную этимологию: *олух* возникло из *волух* «пастух волов» в презрительном применении («невежа, дурак)»[54]. А. Г. Преображенский, признав, что слово *олух* — «неизвестного происхождения», сопоставил его со словом *свинтус* (будто бы из «свинтух»)[55]. Под словом *свинья* в числе производных слов, бытующих в русских диалектах, указывается *свину́х*, отмечается также *сейнтус* (бранное), реже *сейнтух*[56]. В кругу параллелей из других славянских языков есть также польск *świntuch* «неряха».

Однако трудно сомневаться в том, что здесь с народно-бытовыми выражениями смешиваются жаргонные новообразования. Если, например, допустить, что в живой народной речи наряду с *свину́х* под влиянием *пасту́х* еще могло возникнуть *свинту́х* (с вариантом *сейнтух*), то образование *свинтус* все же бы вело к иной социальной среде. Достаточно вспомнить из гоголевского предисловия к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» рассказ Фомы Григорьевича, «как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на *ус*. Лопата у него лопатус; баба — бабус». Любопытно в связи с этим вспомнить повествование А. Вельтмана в «Приключениях, почерпнутых из моря житейского»: «Слуги жили свинтусами, ходили замарантусами».

А. Г. Преображенский, не вполне удовлетворенный приведенными весьма сомнительными этимолого-семантическими сопоставлениями и параллелями, обратился за разъяснениями к Ф. Е. Коршу. «Корш (письмом),— сообщает он, — допускает заимств. из чагат. *алук* „растерянность, одурение"»[57]. Но и эта тюркологическая этимология произвольна и не имеет никакой исторической достоверности.

Засвидетельствованное в качестве личного собственного имени *Олух* известно в северно- и западнорусских памятниках русской деловой письменности с XVI в. в нарицательно-характеристическом значении — «дурак, простофиля, глупый человек». Но в русском литературном языке оно начинает распространяться лишь со второй половины XVIII в. В семнадцатитомном академическом словаре современного русского литературного языка указано, что из лексикографических трудов XVIII в. слово *олух* впервые зарегистрировано в Словаре Нордстета 1782 г.[58].

История собственного имени и процессы превращения его в нарицательное с определенным значением и яркой экспрессивной окраской очень сложны. Само формирование нового значения в собственном имени должно быть социально-исторически мотивировано. Так, ссылка на то, что слово *олух* в значении «дурак, простофиля»[59] произошло из собственного имени Елеферий (греч. Ἐλευθέριος), откуда Онуфрий и с суффиксом *-ух* — *Олух* (ср. в новгородских писцовых книгах указания на Олуха кожевника, Олуха сарафанника и т. п.; ср. имя *Олух* в Двинских грамотах XV в.)[60], вовсе не объясняет, почему и когда слово *олух* получило свои современные значения, переставши быть личным именем. Самый тот факт, что, например, в народной русской речи «собственные личные имена очень близки по своей функции к нарицательным» (ср. употребление личных имен в народных загадках и старинный народный кален-

---

[54] См.: А. И. Соболевский, Лингвистические и археологические наблюдения, РВФ, LXVI, 3—4, 1911, стр. 346.

[55] А. Преображенский, указ. соч., I, стр. 647—648.

[56] Там же, II, стр. 259.

[57] Там же, I, стр. 648.

[58] «Словарь современного русского литературного языка», VIII, М.—Л., 1959, стр. 849.

[59] Слово *олух* в «Словаре Академии Российской» характеризуется так: «Употребляется в просторечии и означает человека необразованного, глупого или плохого. *Деревенский олух*». Ср. «*Олуховатый, ая, ое. Олуховат, та, то* прил. глуповатый, несколько плох» («Словарь Академии Российской», IV, 1822, стр. 305).

[60] См.: Б. М. Ляпунов, О некоторых примерах имен нарицательного значения..., стр. 257—261.

дарь, не знавший ни чисел, ни месяцев, а только святцы), нуждается в историческом объяснении [61].

Быть может, слово *олух* лишь случайно совпало по своей звуковой форме с собственным именем *Олухно*, *Олушек*, *Олух* и т. п. В северноруском наречии, как известно, очень значительна примесь финских слов. Финск. *õlliskõ* значит «дурак». Это финское слово лежит в основе древнерусского имени-прозвища *Олиско* [62]. А. В. Марков по поводу былинного Василия Окуловича писал: «Северновеликорусское *окула* значит „плут"; слово это происходит от финск. *okkela* — „хитрый, продувной". В XV в. в Новгородской области употреблялись прозвища: *Окулик*, *Окулко*, *Окулов*, *Окул*, *Окуля*. Один из *Окуловых* в Вотской пятине имел имя *Олиско*, объясняемое из финск. *õlliskõ* — „дурак"» [63]. Связь *олух* с этим финским словом некоторым кажется очень вероятной.

Р. Бернар полагает, что *о* в *олух* является префиксом, корень же его *лух*-(*люх*-) находит себе соответствие в целом ряде болгарских диалектных образований типа: *зáлýх* с производными прилагательными *залý(х)ов*, *залý(х)ав*, сущ. *залý(х)овщина*. Значения очень близки к слову *олух*: *зáлýх* — человек рассеянный и тупой (individu distrait ou stupide) [64]. Русское *олух* уже сближалось с болгарским *залýхав* в «Български тълковен речник».

Но каково бы ни было происхождение слова *олух*, в русском литературном языке оно стало широко употребительно лишь с XIX в. Трудно представить себе, чтобы его значения оставались неподвижными. Толкование его в «Словаре Академии Российской» («необразованный, глупый, плохой») очень расплывчато.

Слово *олух* встречается в языке Пушкина и Гоголя. «Словарь языка Пушкина» отмечает три случая употребления этого слова у Пушкина. В стихотворении «Из Пиндемонте»:

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.

В журнальной прозе: «Женщина замужняя, мать семейства, влюблена в молодого олуха, побочного сына ее мужа!!!» [65]. Слово *олух* (*олухи*) употребляется также в «Дубровском». У Гоголя в «Юношеских опытах»: «Что бы я был за олух царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу». Ср. выражение: *олух* = *олухом*.

Слово *олух* было очень распространено в фамильярно-бытовых стилях разговорной речи XIX в. Например, у Гончарова в «Обломове»: «Да, кум, пока не перевелись олухи на Руси, что подписывают бумаги не читая, нашему брату можно жить». У Решетникова («Где лучше?»): «[Смотритель] распек как его, так и рабочих. — Што ты делаешь, разбойник! Вы-то што, олухи эдакие, делаете? Ах беда!». У А. Н. Толстого в «Детстве Никиты»: « — А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей,— олухи царя небесного. Один глупее другого» [66].

Составление древнерусского словаря требует основательной историко-литературной подготовки, глубокого знакомства с исторической лексикологией и семасиологией и широкого этимологического кругозора.

---

[61] См.: Д. К. Зеленин, Этимологические заметки... III. О личных собственных именах в функции нарицательных в русском народном языке, «Филологические записки», 2, Воронеж, 1903.

[62] Ю. Ю. Трусман, Чудско-литовские элементы в новгородских пятинах, ч. 1, Ревель, 1898, стр. 205, 206.

[63] А. В. Марков. Обзор трудов В. Ф. Миллера по народной словесности, ИОРЯС, XX, 1, 1915, стр. 323.

[64] R. Bernard, Notule III: Russe *олух* «imbecile», RÉsl, 45, 1966, стр. 68.

[65] «Словарь языка Пушкина», 3, М., 1959, стр. 18.

[66] «Словарь современного русского литературного языка», VIII, стр. 849.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

В. М. ЖИРМУНСКИЙ

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ТЕОРИИ ТЮРКСКОГО НАРОДНОГО СТИХА *

1. С 1950-х годов в связи с обращением советского литературоведения к проблемам художественной специфики и растущим интересом советской лингвистики к проблемам стихотворного языка, появился целый ряд разысканий по вопросам метрики большинства тюркоязычных народов. Независимо от научного уровня этих новых поисков, который был неодинаков, работы такого рода ценны уже как научные описания прежде неизвестного или мало изучавшегося материала (обзор их печатается ниже, стр. 118—125). Достаточно отметить наиболее интересные: работы З. А. Ахметова о казахском стихе, заслуживающие внимания как своим высоким теоретическим уровнем, так и богатством и новизной конкретной информации и анализа [1]; книгу М. К. Хамраева о тюркском стихе вообще, в основном построенную на материале новоуйгурской поэзии и фольклора [2]; книгу Г. М. Васильева о якутском стихосложении, представляющую серьезный интерес для тюркологов, в особенности по вопросам равносложности, ударения и аллитерации, которая играет в якутском стихе исключительно важную роль [3]; наконец, интересную статью А. М. Щербака, посвященную взаимоотношению аллитерации и рифмы в истории тюркского стиха [4].

2. Тюркский народный стих построен по принципу силлабическому, т. е. его структура определяется в основном числом слогов в стихе (по принятой в Средней Азии терминологии — *бармак*, буквально: счет «по пальцам»). Этот принцип, как известно, отличает народный стих от стиха классической поэзии (так называемого *аруза*), основанного на чередовании количественном (долгих и кратких слогов) и представляющего своеобразное тюркское творческое переосмысление принципов арабско-персидской квантитативной метрики.

---

* Доклад на тюркологической конференции в Ленинграде, 10 VI 1967.

[1] З. А. Ахметов, Казахское стихосложение (Проблемы развития стиха в дореволюционной и современной поэзии), Алма-Ата, 1964; его же, Ритмика казахского стиха, «М. О. Ауэзову. Сборник статей к его шестидесятилетию», Алма-Ата, 1959; его же, Равенство слогов в казахском стихе (Об изменчивости слогового состава некоторых слов), «Вестник АН КазССР», 1959, 1 (166); его же, Рифма в казахской поэзии, «Изв. АН КазССР». Серия филологии и искусствоведения, 1961, 1 (17).

[2] М. К. Хамраев, Основы тюркского стихосложения (На материале уйгурской классической и современной поэзии), Алма-Ата, 1963 (см. также: М. К. Хамраев, Основы тюркского стихосложения. Автореф. докт. диссерт., Алма-Ата, 1964). Книга эта вызвала целый поток рецензий, советских и зарубежных, в большинстве своем положительных, см.: А. Л. Жовтис («Народы Азии и Африки», 1964, 6), G. Dörfer («Deutsche Literaturzeitung», 86. Jg., Hf. 1, 1965), St. Płaskowicka-Rymkiewicz [«Przegląd orientalisticzny», 4 (52), Warszawa, 1964], Z. Hrebicek («Bibliotheca Orientalis», 1—2, Leiden) и др.; см. также аннотацию «Новый вклад в тюркологию» в отделе «Хроника» журн. «Вопросы литературы» (1963, 12, стр. 241—242).

[3] Г. М. Васильев, Якутское стихосложение, Якутск, 1965.

[4] А. М. Щербак, Соотношение аллитерации и рифмы в тюркском стихосложении, «Народы Азии и Африки», 1961, 2.

Другие определения тюркского стиха как «тонического», «тоникометрического», «силлабо-тонического» или «силлабо-тонизированного», встречающиеся в некоторых исследованиях по тому или иному национальному стихосложению, не связаны с какими-либо специфическими особенностями этих стихосложений, но основаны на терминологических недоразумениях, на которых мы останавливаться не будем. Разъяснение требуется только в одном случае, связанном с именем польского тюрколога Т. Ковальского, автора выдающегося исследования, которое положило начало современному научному изучению тюркского стиха [5].

Многие советские авторы приписывают Т. Ковальскому определение тюркского народного стиха как «силлабо-тонического». Недоразумение это основано на незнакомстве с оригинальным польским текстом книги Ковальского, которая известна у нас главным образом в русском переложении А. Линина [6]. Ковальский действительно определяет тюркский стих термином «ritmika sylabiczno-przyciskowa» (во французском переводе самого автора: «système accentuel-syllabique») [7]. Однако термин этот он применяет совсем не в том смысле, как это принято в настоящее время в советском стиховедении. В советской (русской) теории стиха под силлабо-тоническим принципом понимается, как известно, регулярное чередование в стихе ударных и неударных слогов, иными словами — чередование по стопам (ямбы, хореи, анапесты и т. д.), как в классическом русском стихе Ломоносова, Пушкина, Некрасова и др. Принцип силлабо-тонический противопоставляется принципу чисто тоническому (счет по ударениям, с переменным числом неударных слогов между ударениями), как в дольниках Блока или в акцентном стихе Маяковского, и принципу чисто силлабическому (счет по слогам без метрического учета числа и расположения ударений внутри стиха), как в стихосложении французском, итальянском или польском. Эта терминология впервые была введена в науку о стихе в русских работах начала 1920-х годов [8]. Ковальский, книга которого вышла в свет в 1922 г., этой терминологии несомненно не знал и не имел в виду того значения, которое термин «силлабо-тонический» (англ. syllable-stress verse) получил в настоящее время. До этого в русских учебниках по метрике стих Ломоносова и Пушкина назывался тоническим и противопоставлялся силлабическому (французскому, польскому) и метрическому (античному) [9] — без учета различия между классической силлабо-тоникой ямбов и анапестов и чистой тоникой Блока и его современников, тогда еще неизвестной.

Поэтому, когда Ковальский говорит о тюркском «слогово-ударном стихе», он отнюдь не имеет в виду классическую русскую систему ямбов и анапестов, а только, по его собственному объяснению, — сочетание в тюркском стихе двух тенденций: к счету слогов и к довольно сво-

---

[5] См.: T. Kowalski, Ze studiów nad formą poezji ludów tureckich, I, Kraków, 1921 (с резюме на французском языке, стр. 155—181).

[6] Ан. Линин, К вопросам формального изучения поэзии турецких народов, «Изв. восточного фак-та Азербайджанского гос. ун-та», 1, Баку, 1926, стр. 150 и сл.; II, 1928, стр. 37 и сл.

[7] T. Kowalski, указ. соч., стр. 19 (резюме, стр. 158).

[8] Ср.: В. Жирмунский, Поэзия Александра Блока, Пбг., 1922, стр. 82—85; его же, Введение в метрику, Л., 1925, стр. 25—29 (в переводе на английский язык: V. Zhirmunsky, Introduction to metrics, The Hague, 1956). Б. В. Томашевский употреблял термины «тоническое равносложное стихосложение» и «акцентный стих» [см.: Б. Томашевский, Теория литературы (Поэтика), Л., 1925, стр. 105 и сл.].

[9] Ср., например: Н. Н. Шульговский, Теория и практика поэтического творчества. Технические начала стихосложения, СПб.—М., 1914, стр. 22, 24 и сл.

бодной расстановке ударений («ces deux tendances doivent se combiner jusqu'à un certain point» [10]).

Существование силлабической метрики в языках разного типа (во французском, польском и ряде других) связывают обычно с отсутствием сильного динамического ударения и с прикреплением ударения к определенному месту в слове (последний, предпоследний слог и др.). С этим связано отсутствие фонологической значимости ударения, однако не во всех языках: в итальянском языке, например, ударение имеет фонологическую значимость, и оно может стоять на любом слоге [11], хотя слова с ударением на предпоследнем численно преобладают (в прозе — до 80%). По-видимому, именно по этим причинам итальянский стих занимает как бы среднее положение между чисто силлабическим (французским) и силлабо-тоническим (германским, русским): короткие стихи в нем обычно имеют более или менее регулярное («силлабо-тоническое») чередование ударных и неударных слогов [12], в длинных стихах типа «endecasyllabo» чередования эти все же гораздо регулярнее, чем в соответствующем по слоговому объему французском десятисложнике [13].

В связи с этим З. Ахметов своевременно напомнил о дополнительном фонетическом признаке силлабической системы, который был выдвинут В. Брюсовым применительно к указанным особенностям итальянского языка и стиха [14]. Силлабическая система, по мнению Брюсова, «применяется в языках, где все гласные звуки произносятся с одинаковой отчетливостью и приблизительно в одинаковый промежуток времени (или с отличием незначительным)...»[15]. Она «применима только в языках, где слоги (гласные звуки) произносятся отчетливо и где, следовательно, ухо может инстинктивно отмечать их количество в стихе. В языках, где отчетливо звучит только ударный слог в слове или даже в сочетании слов и где слоги неударные произносятся неясно, как в языках английском и русском [можно добавить и в немецком.— *В. Ж.*], силлабическая метрика весьма неудобна...» [16]. З. Ахметов считает возможным применить это определение и к тюркской силлабике, с некоторыми оговорками, о которых будет сказано ниже.

Силлабическая система не исключает использования ударения, но не в качестве основы метрической структуры стиха, а в качестве нерегулярной ритмической каденции [17]. Так, в классическом французском александрийском стихе (двенадцатисложник с парными рифмами) метрически обязательными являются только ударения на последнем (двенадцатом) и на шестом слоге (перед цезурою); остальные ударения, в метрическом отношении необязательные, могут располагаться в границах шести слогов каждого полустишия через один или через два слога (каденции «ямбическая» и «анапестическая»). Ср. из «Федры» Расина (рассказ Терамена):

4. Il suivait tout pensif || le chemin de Mycènes;
5. Sa main sur ses chevaux || laissait flotter les rênes:

---

[10] T. Kowalski, указ. соч., стр. 19—21 (резюме, стр. 158).
[11] G. Bonfante, M. L. P. Gernia, Cenni di fonetica e fonemàtica. Con particolare riguardo all'italiano, Torino, 1964, стр. 40.
[12] См.: A. Levi, Della versificazione italiana, «Archivum Romanicum», XIV, 4, Genève — Firenze, 1930, стр. 468 и сл. Ср. также: P. G. Goidànich, Grammatica italiana ad uso delle scuole. Con nozioni di metrica, Bologna, 1924, стр. 278.
[13] См.: В. Жирмунский, Введение в метрику, стр. 87—88.
[14] З. А. Ахметов, Казахское стихосложение, стр. 44.
[15] В. Брюсов, Основы стиховедения, ч. 1 и 2, М., [1924], стр. 12.
[16] В. Брюсов, Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам, М., 1918, стр. 16—17.
[17] В. Жирмунский, Введение в метрику, стр. 75—77.

6. Ses superbes coursiers, || qu'on voyait autrefois
7. Pleins d'un(e) ardeur si nobl(e) || obéir à sa voix,
8. L'oeuil morne maintenant || et la tête baissée,
9. Semblaient se conformer || à sa triste pensée...

С точки зрения силлабо-тонической метрики в этих шести строках ст. 4 и 6 являются анапестами, ст. 5 ямбом, ст. 7, 8 и 9 представляют сочетания ямбов в первых полустишиях с анапестами во вторых. Таким образом, «ямбы» и «анапесты» совмещаются в одном размере и даже в рамках одного стиха, соответственно чему и число ударений бывает различно (2 и 3 в полустишии). Однако на самом деле это не ямбы и не анапесты, а только ритмические варианты («каденции») двенадцатисложного стиха (или шестисложного полустишия), поскольку регулярное чередование ударных и неударных слогов отсутствует. При этом решающим в ритмическом членении такого стиха является скорее всего даже не слабое и фонологически иррелевантное ударение, а расположение словоразделов (т. е. граница между словами или фразовыми группами).

Эти словоразделы, т. е. разные типы группировки слогов по словам или сочетаниям слов в рамках одинакового по слоговому размеру стихового ряда, имеют существенное значение и для ритмического разнообразия тюркского стиха.

Согласно наблюдению Т. Ковальского, которое подтвердил и обосновал З. Ахметов на материале казахского короткого (7—8-сложного) народно-эпического стиха («жыра»), постоянный характер в таком стихе имеет трехсложная клаузула (т. е. трехсложное слово или тесно связанная словесная группа в конце стиха) [18]. Ср. пример Ахметова (из поэмы «Камбар-батыр»):

Құс етін беріп б а ғ а м ы н
Үйдегі екі к ə р і м д і.
Оған да назар с а л а м ы н,
Қабатыма а л а м ы н
Тоқсан үйлі т о б ы р м е н
Алпыс үйлі а р ғ ы н д ы... и т. д.[19]

Тот же тип клаузулы господствует и в киргизском «Манасе» — совпадение, указывающее на древность этой формы. См. «Бок Мурун» в записи В. В. Радлова [20]:

Көкөтöі ӯлу Б о қ М у р у н
асыл јердäн а қ ы р а т,
чоролорун ч а қ ы р а т:
«Бу ашты қандай т а р т а м ы н?
атты қандай ч а б а м ы п?
бу ақрäт јаіды у т а м ы н?...и т. д.

При этом такие словесные группы, образующие трехсложную клаузулу эпического стиха, как *тобыр мəн*, *жар болса*, *ақ малта*, *ер Камбар* в в казахских жырах («Камбар-батыр») или *ер Манас*, *қабар бер*, *сен барсаң*, *чықты деіт* и т. п. в «Манасе», могут быть сопоставлены с типологически сходными трехсложными («дактилическими») окончаниями русского былинного стиха, где двухударной метрической концовке *Мýро-*

[18] З. А. А х м е т о в, Казахское стихосложение, стр. 57—58; е г о ж е, Ритмика казахского стиха, стр. 221—222.

[19] Так на всем протяжении поэмы, см.: «Камбар-батыр», под редакцией М. О. Ауэзова и Н. С. Смирновой, Алма-Ата, 1959.

[20] В. В. Р а д л о в, Образцы народной литературы северных тюркских племен, ч. V, СПб., 1885, стр. 146, ст. 181—186.

мѐц: *десѧ́точкòм* и т. п. эквивалентны словесные группы типа *Ки́ев-грàд*, *раки́тов-кю́ст*, *зелена́-вина̀*, *подня́ть-нельзѧ̀* и т. п. [21].

Разумеется, если в кратком эпическом стихе в 7-8 слогов концовка в три слога фиксирована, то количество теоретически возможных слоговых группировок в остальной части стиха сравнительно ограничено (2 + 2, 3 + 1, 1 + 3, 3 + 2 и немн. др.).

Значение расположения словоразделов (или, что то же самое, ударений в конце словесной группы) для ритмики тюркского стиха, было отмечено уже В. В. Радловым [22] и с тех пор обращало на себя внимание всех исследователей [23]. Казахские теоретики обозначают эти ритмические доли («колена») стиха термином *бунаҚ* [24]. Следует, однако, подчеркнуть, что за исключением трехсложной клаузулы в жыре употребление той или иной группировки слогов по ритмическим долям, или «коленам», не имеет регулярного характера и относится не к метрической структуре стиха, а к его ритмическим вариантам (каденциям). Поэтому во избежание довольно обычных недоразумений не следует называть такие ритмические доли стиха «стопами» в соответствии с традицией, также восходящей к В. В. Радлову. Неправильное отождествление ритмической доли стиха с силлабо-тоническими стопами нередко приводит исследователей тюркского стиха к теоретически неправильным выводам. Стопы — не камешки различного объема, из которых составляются стихи; стопа в силлабо-тоническом стихе есть единица регулярной повторности, представляющая функцию закономерного ритмического движения (ср. ямб: *Мой дѧ́дя са́мых че́стных пра́вил*..., анапест: *Уносѝ мое се́рдце в звенѧ́щую да́ль*... и т. п.). Поэтому, если краткий тюркский семивосьмисложный стих может распадаться на ритмические доли по 2 + 2 + + 3 или 3 + 2 + 3 или 2 + 3 + 3 слога (ямб + ямб + анапест или анапест + ямб + анапест и т. п.), то в таком стихе силлабического типа нет ни ямбов, ни анапестов, так как нет единиц регулярной повторности, позволяющих говорить о стопах.

Иногда в подобных случаях утверждают (по неведению!) будто аналогией такого иррегулярного чередования разных стоп в стихе могут служить так называемые «логаэдические размеры» античной метрики [25]. Однако в разностопных «логаэдах» мы всегда имеем дело с регулярными чередованиями разных стоп, повторяющимися по известной модели из стиха в стих (как в асклепиадовых стихах) или из строфы в строфу (как в сапфических строфах). К стиху, основанному на принципе равносложности, в котором отсутствует подобная регулярность в расположении ударений, термин «логаэдический» неприменим, как и счет по стопам вообще: он является стихом силлабическим, а не силлабо-тоническим.

3. Вопрос о слоговом равенстве («изосиллабизме») в тюркском народном стихе также требует уточнения. З. Ахметов систематизировал ряд случаев видимой неравносложности, объясняемых фонетически в связи с факультативной элизией слабых (сверхкратких) слогов и с явлением зияния. Приведем его примеры для семисложного стиха (жыра) [26]:

---

[21] В. Жирмунский, Введение в метрику, стр. 243—244.

[22] W. Radloff, Ueber die Formen der gebundenen Rede bei den altaischen Tataren, «Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft», 4, Berlin, 1866.

[23] Очень полное изложение этого вопроса см.: К. Рысалиев, Киргизское стихосложение. Автореф. докт. диссерт., Фрунзе, 1965.

[24] З. А. Ахметов, Казахское стихосложение, стр. 73.

[25] См., например: И. В. Стеблева, Поэзия орхоно-енисейских тюрок, «Народы Азии и Африки», 1963, 1, стр. 156.

[26] З. А. Ахметов, Равенство слогов в казахском стихе, стр. 28 и сл.

1. Элизия в зиянии (при столкновении гласных). Ср.:

Қызд(ы) ос(ы) елге берелік.... («Козы Көрпеш»)

В особенности обычна такая элизия в случаях, когда словосочетание образует грамматическое целое:

Не қыларым біл(а)-алмай,
Өлейін десем өл(е)-алмай,
Өз жанымды қый(а)-алмай... («Алпамыс»)

Однако возможны случаи, требующие с точки зрения принципа равносложности сохранения гласного в зиянии. Ср.: *ұйқы алып денесін...* («Алпамыс»), *Басқа әйел болғанда* («Кобланды») и др.

2. Отпадение слабого неударного начального гласного (*ы*, *і*) перед *р*, *л*: *Құйрықтан алып* (*ы*) *л а қ т ы р д ы* («Алпамыс»); (*ы*) *р а с ы ң д ы айтшы*, *Жібек-жан* («Кыз Жібек») и др. Однако возможны дублеты в зависимости от общего числа слогов в стихе: *лақтыру — ылақтыру*, *лайық — ылайық*, *рахат — ырахат* и др.

3. Выпадение слабого неударного гласного (сверхкраткого *і*, *ы*) внутри слова: *Мақтаун е с т і п білгелі* («Камбар»). Однако и здесь может быть использован полный фонетический вариант, соответствующий требуемому числу слогов. Ср. *Алпамысты е с і т і п* («Алпамыс»). Следовательно, возможны факультативные дублетные формы: *есітіп — естіп*, *ашына — ашна*, *адыра — адра*, *топырақ — топрақ*, *тәңірі — тәңрі* и ряд других. (Вопроса о том, какая из этих форм является с диахронической точки зрения исходной или основной, мы, как и З. Ахметов, не касаемся.)

Более принципиальное значение, чем эти наблюдения над использованием фонетических вариантов слова, имеет то обстоятельство, что устный народный силлабический стих, в частности стих эпический, никогда не достигает полной равносложности: и з о с и л л а б и з м в таком стихе обычно имеет лишь п р и б л и з и т е л ь н ы й характер. Короткий эпический стих (жыр) в своих наиболее регулярных формах является стихом семи- или восьмисложным. К. Рысалиев (как и до него Т. Ковальский) справедливо рассматривает «семи-восьмисложный размер» как «единую стиховую форму» [27]. По-видимому, явление это связано с приблизительным характером восприятия изосиллабизма вообще. Но в эпическом жыре можно наблюдать и еще более короткие, как и более длинные, стихи (в 9—10—11 слогов), и чем архаичнее стих, тем он менее равносложен. В «Манасе» значительные отклонения от принципа равносложности встречаются, например, гораздо чаще, чем в казахских исторических «былинах». См. «Бок Мурун» в записи В. Радлова, ст. 607—612:

Бок Мурундаі төрөнӯн (7)
көнӯ чөгөт болбоібу? (7)
барсын қонур салқын күс-мінән, (9)
келсін чымын учқан ала чалбыр јас-мінән, (13)
јақшысы келсін терілін, (8)
јаманы қалсын терігін... (8)

При этом, однако, концовка всюду остается трехсложной, подчеркивая метрическое единство и сопоставимость стихов.

Неполная равносложность характерна и у других народов для ранних ступеней развития силлабического стиха (в особенности устного народно-

[27] К. Р ы с а л и е в, указ. соч., стр. 45.

го, в частности — эпического): для французского и испанского, польского [28] и других. Р. Менендес Пидаль, уделивший этому вопросу специальное внимание, считает неравносложный стих староиспанской «Песни о Сиде» свидетельством этой древнейшей французской и испанской эпической традиции [29]. Отметим в этой связи, что и классическая итальянская поэзия, с ее условной элизией гласных в зиянии, фактически является лишь приблизительно-равносложной. Ср. сонет Петрарки: *Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono...* То же относится и к французской поэзии с установившейся в современном произношении (даже в приподнятой театральной декламации классических трагедий) широкой факультативностью реализации «немого *-e*» (*e* muet) на конце слова [30] — явление, в значительной степени подготовившее развитие французского «верлибризма» («свободного стиха»).

По отношению к устной поэзии тюркских народов вопрос этот требует также не только фонетического, но и исторического освещения. Как известно, существуют два типа тюркского эпического стиха — короткий в 7-8 и длинный в 11 (10-12) слогов (у казахов: «жыр» и «олен»), различаемые, по крайней мере частично, по жанровым функциям. Ф. Е. Корш высказал мнение, что длинный стих — более позднего происхождения и развился из короткого путем удвоения его первой (четырехсложной) части (по типу: $4 + 3 > 4 + 4 + 3$) [31]. Объяснение это имеет, разумеется, чисто умозрительный характер, что не снимает вопроса об относительной древности обоих типов в эпической поэзии.

Действительно, в казахском эпосе в качестве героического стиха употребляется короткий семи-восьмисложный жыр; длинным стихом пользуются, хотя и относительно древние, но типологически более поздние семейно-бытовые поэмы («Козы-Көрпеш», «Кыз Жибек»), а также немногие модернизованные в стилистическом отношении редакции героического эпоса [32]. Всецело господствует одиннадцатисложный стих в строфических по своей форме образцах книжного эпоса («кысса»), как, например, «Хемра» или «Сейпюль-Мелик» в записях В. В. Радлова [33]. Здесь, однако, не исключается возможность влияния арабско-персидских образцов [34]. В архаическом по содержанию и стиховой форме «Манасе», как и в большинстве произведений киргизского «малого эпоса», употребляется короткий стих. В узбекском «Алпамыше» в варианте Фазила

---

[28] См.: M. Dłuska, Sylabism, в кн.: «Sylabism», pod red. Z. Kopczynskiej i M. R. Mayenowej, Wrocław, 1956, стр. 28 и сл.

[29] R. Menendez Pidal, Poesia juglaresca y origines de las literaturas romanicas, Sexta edicion, Madrid, 1957, стр. 164, 374—375; его же, La chanson de Roland et la tradition épique des Francs, 2-e éd., Paris, 1960, стр. 471—473; Р. Менендес Пидаль, Стихотворные особенности поэм в Испании и во Франции, в его кн.: «Избранные произведения. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения», М., 1961.

[30] Согласно экспериментальным исследованиям Ж. Лота (они оспариваются некоторыми учеными), французский классический александрийский стих имеет в чтении фактически от 9 до 14 слогов (в том числе в исполнении таких мастеров, как Коклен и Сара Бернар). См.: G. Lote, L'Alexandrin d'après la phonétique experimentale, 2-e éd., Paris, 1913. Ср. также: J. Varney Pleasants, Etudes sur l'*e* muet. Timbre, durée, intensité, hauteur musicale, Paris, 1956.

[31] Ф. Корш, Древнейший народный стих турецких племен, ЗВО РАО, XIX, вып. II—III, СПб., 1909, стр. 152—155, 162.

[32] Ср. в сб. «Батырлар жыры», II (под ред. М. Т. Гумаровой, Алма-Ата, 1961) — поэмы «Арқалық-батыр» (запись 1958 г.), частично «Доган-батыр» (издавался с 1903 по 1915 г. несколько раз как «кысса»); отдельные пассажи «Камбар-батыра» в версии А. Динаева, и др.

[33] В. В. Радлов, Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. Ч. III — Киргизское наречие, СПб., 1870.

[34] Ср. замечание Т. Ковальского, стр. 22—24 (резюме, стр. 158—159).

Юлдашева господствует одиннадцатисложник, по форму короткого стиха сохранили картины скачки героя через степь, изображения боев и некоторые другие традиционные по содержанию и манере отрывки, что позволяет заключить об исконном и более древнем характере этой формы.

Однако при рассмотрении наиболее архаических типов тюркского эпического стиха в богатырских сказках народов южной Сибири и в средневековых записях огузского героического эпоса в «Книге моего деда Коркута» («Китаби дедем Коркут», XV — XVI вв.) возникает вопрос, не явились ли оба типа тюркского эпического стиха нашего времени, короткий и длинный, результатом позднейшей дифференциации древнего стиха с более широким диапазоном колебаний в числе слогов, причем в процессе этой дифференциации жыр стал по преимуществу формой героического эпоса, а өлен — формой лирических четверостиший и находящейся под их влиянием семейно-бытовой эпической повести любовного содержания (так по крайней мере в казахской народно-поэтической традиции).

4. В специальной работе, посвященной древнетюркскому эпическому стиху [35], я пытался показать, что основой ритмизации устного народного эпического стиха служил первоначально не принцип изосиллабизма, а ритмико-синтаксический параллелизм при относительно свободном счете слогов. Выводы эти опираются на сопоставление стиховой формы богатырских сказок тюркских народов южной и восточной Сибири (алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев, якутов) со стихотворными партиями «Книги Коркута», выделенными в тексте с помощью технического термина «сайламақ» («говорить стихами», «петь» — *сой сойламақ* «спеть песню»).

В отношении «Книги Коркута» необходима оговорка. Можно было бы высказать предположение, что неравносложность стиховых партий является здесь результатом позднейшего искажения устного текста, его прозаического письменного переложения. Однако сопоставление ряда фактов заставляет думать, что составитель книги относился к воспроизводимому устному эпическому тексту как к священному «преданию отцов» и в основном правильно передал особенности его поэтической формы, полностью укладывающиеся в реконструированную нами общую картину развития древнетюркского эпического стиха [36].

Ритмико-синтаксический параллелизм лежит в основе стиховой формы у многих народов — финно-угорских, монгольских и тунгусо-маньчжурских; то же наблюдается в древнесемитической поэзии (например, «parallelismus membrorum» ветхозаветных псалмов и др.). Повсеместно распространены народные четверостишия, универсальный жанр, построенный на открытом А. Н. Веселовским «психологическом параллелизме» между явлениями природы и душевными переживаниями человека или событиями его жизни [37]. В сравнительно-типологической и генетической

---

[35] См.: В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского народного эпического стиха, ВЯ, 1964 (по-немецки: V. Schirmunski, Syntaktischer Parallelismus und rhytmische Bindung im alttürkischen epischen Vers, «Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturgeschichte. Festschrift für W. Steinitz», Berlin, 1965). См. также: В. М. Жирмунский, Огузский героический эпос и «Книга Коркута», в кн.: «Книга моего деда Коркута», перевод В. В. Бартольда, издание подготовили В. М. Жирмунский и А. Н. Кононов, М. —Л., 1962, стр. 243—247.

[36] См.: В. М. Жирмунский, Огузский героический эпос и «Книга Коркута», стр. 255.

[37] См.: А. Веселовский, Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля, СПб., 1898, стр. 10 (то же в кн.: А. Н. Веселовский, Историческая поэтика, Л., 1940, стр. 134—144). Ср. также: Th. Frings, Die Anfänge der europäischen Liebesdichtung im 11. und 12. Jahrhundert, München,

перспективе это — древнейший жанр любовной лирики вообще. Ограничимся следующими примерами из собрания Веселовского, содержащего большое число образцов из современного фольклора романских, германских, славянских, балтийских и ряда восточных народов:

1. Зеленая березонька,
Чему бела, не зелена?
Красна дзевочка,
Чему смутна, не весела?
2. Ой, тонкая хмелиночка
На тин повилася,
Молодая дівчинонька
В козака вдалася.
3. Quant on veut cueillir les roses,
Il faut attendre le printemps,
Quand on veut aimer les filles,
Il faut qu'elles aient seize ans.

Сравнение большого числа таких примеров показывает, что, в зависимости от степени последовательности параллелизма, появляется приблизительная равносложность синтаксических рядов, не исключающая отдельных отклонений (например, 1, 1—3). С другой стороны, от характера языка (особенностей морфологического строя и акцентуации) зависит наличие или отсутствие в конце стиха более или менее полных рифмовых созвучий (*березонька* : *дзевочка*, *зелена* : *весела*; *хмелиночка* : *дівчинонька*), иногда — даже точных рифм, основанных на морфологическом параллелизме (*повилася* : *вдалася*), а иногда и подсказанных влиянием одновременно существующей песни литературного происхождения (*printemps* : *ans*).

Особенностями тюркских (агглютинирующих) языков (в отличие, например, от русского, французского или от языка ветхозаветных псалмов) обусловливается то, что такого рода ритмико-синтаксический параллелизм неизбежно порождает грамматическую рифму (созвучность тождественных конечных аффиксов). Чем ближе лексический и грамматический параллелизм между двумя строками, тем неизбежнее рифма. Если, как это часто бывает в тюркском эпосе, стих состоит из трех ритмических групп, синтаксически параллельных (например: «именное определение + существительное-подлежащее + глагольное сказуемое» или «существительное-подлежащее + именное дополнение + глагольное сказуемое» и т. п.), то результатом параллелизма будут три грамматические рифмы — начальная, срединная и конечная. Конечная рифма при этом также мало обязательна, как и две другие, но она легче всего может стать нормой, поскольку она маркирует конец смыслового и фонетического ряда.

Явление это исследовал Т. Ковальский на примере четверостиший, организованных, как он это называет, по принципу «дихотомической структуры» (двучленности) [38]. Жанр этот широко представлен у всех тюркоязычных народов [39]. Только в VI разделе своей книги Ковальский касается стиха эпического — на материале богатырских сказок приалтайских народов [40]. При этом он пытается и в эпосе найти «дихотомическое»

1960 («Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften», Philosoph.-hist. Klasse, Jg. 1960, 2), стр. 6.

[38] T. Kowalski, указ. соч., стр. 40—52 (резюме, стр. 163—165).

[39] Многочисленные примеры см. в «Образцах» В. В. Радлова, которые были главным источником Ковальского, а также в других фольклорных изданиях. Ср. анализ тюркского материала в цитированной выше статье автора (ВЯ, 1964, 4, стр. 3—6).

[40] T. Kowalski, указ. соч., стр. 129—151 (резюме, стр. 177—181): Rozdział VI. Poezja turków z okolic Altaju (по записям В. Радлова в т. I «Образцов»).

членение, выделить четверостишия и двустишия, объединенные двучленным параллелизмом наподобие лирических строф.

В этой части положения Ковальского не могут быть признаны правильными. Как я пытался показать, изначальной структурной формой древнетюркского народного эпического стиха является не двучленная строфа, а то, что было мной названо эпической тирадой (или строфемой), т. е. цепочка стихов неопределенной длины, объединенная параллелизмом (отнюдь не обязательно двучленным, часто многочленным) и, в результате этого параллелизма — одинаковыми созвучиями в конце параллельных ритмических отрезков стиха. Тирада является общей структурной формой эпоса у тюркских народов южной Сибири, в стихотворных партиях средневекового огузского эпоса «Китаби Коркут», в киргизском «Манасе», казахских жырах, в узбекском «Алпамыше» и в других произведениях героического эпоса тюркоязычных народов. Такие цепочки стихов соответствуют вообще поступательному движению эпического рассказа у многих народов: мы находим их в гекзаметрах гомеровского эпоса (со строгой метрической формой, но без рифмы), в эпосе древних германских народов (в соединении с аллитерацией), в русских былинах (с элементами параллелизма и эмбриональной грамматической рифмой [41]), в стихах французского и испанского героического эпоса (равносложных или близких к равносложности, объединенных сквозными ассонансами конечных гласных — так называемых «laisses monorimes») и т. д. Особенности языка и поэтической традиции определяют специфические национальные различия этой структурной формы эпического повествования.

5. Рифма в тюркском эпосе, как и в лирических четверостишиях, является непроизвольным результатом грамматического параллелизма окончаний и может в принципе стоять в разных местах стиха (начальная, срединная, конечная); первоначально она вообще не имеет обязательного, регулярного характера, лишь постепенно приобретая самостоятельное композиционное значение в конечной позиции.

Поскольку в основе этой грамматической рифмы лежит тождество аффиксов, она может, в соответствии с особенностями тюркских языков, объединять фонетически (и фонологически) разные гласные, связанные между собой сингармоническими отношениями: при сингармонизме палатальном *а — ä*, *ы — и*, *о — ö*, *у — ü*, при сингармонизме лабиальном (например, в киргизском языке) *а — о*, *е — ö*, *і — ü* и некот. др. Ср., например в киргизском «Манасе» («Бок Мурун», в записи В. Радлова, стр. 160 и сл.): *іністі*: *баласы*, *берінмір*: *қалынмыр*, *тасмандаі*: *кетмәндәі*, *келгәндәй* : *аітқанда* : *чыққанда*; или *кетпәгән* : *өтпөгөн*, *төкүтүн* : *салдырын*, *екәндәй* : *мінгәндәй* : *јүрөндө*, *салынмыр* : *болунтур* : *бүтүнтүр*: *қалынмыр*: *кетінмір* и др.; в казахском «Камбаре» (стр. 14 и сл.): *женелді*: *боялды*, *қандырын*: *секірнін*: *ырғытын*: *кергімін* : *үркімін*, *танындай*: *көзіндей* : *безіндей* и мн. др.; ср. также в турецкой версии «Кер-оглу» (строфическая форма) : *Erenler* : *yollar*, *išini* : *bašini*, *saldirir* : *dolduru*r: *öldürür* и др.[42]

Такую рифму можно, пользуясь русской терминологией, назвать с фонетической точки зрения «приблизительной». С точки зрения функциональной это будет рифма «фономорфологическая». Ближайшей аналогией к ней является традиционно принятое в русском стихе сочетание в рифме парных фонем *и* : *ы* под ударением: Ср. *забыли*:

---

[41] См.: В. Жирмунский, Рифма, ее история и теория. Пг., 1923, стр. 263—296.

[42] Riza Mollof, Köroğlu, Sofya, 1957, стр. 36 и сл. (записано у турков в Болгарии).

любили, *забыт*: *убит* (ср. также без грамматического параллелизма — *могила*: *забыла*, *любим* : *дым* и др.) [43].

Впрочем русский фонетический термин «приблизительная рифма» был бы неправильным в применении к тюркскому народному стиху, если считать такую приблизительную рифму «б е д н о й», не учитывая ее объема в целом [44]. В русском и западном литературном стихе, в особенности классическом, под рифмой традиционно понимают совпадение звуков в стихе начиная с последнего ударного гласного, соответственно с чем рифмы могут быть мужские (*воз* : *роз*), женские (*руки* : *звуки*) или дактилические (*назначенный* : *схваченный*). С этой европейской точки зрения, в тюркских стихах, где ударение нормальным образом лежит на последнем слоге, рифмы бывают только мужские. Следовательно, в цепочках стихов, объединенных аффиксом *-ды/-ды* или *-ып/-ып*, совпадение подобных аффиксов на конце стихотворных строчек было бы, при всей «бедности» созвучия, вполне достаточным (с европейской точки зрения) для точной рифмы. Подобные случаи действительно встречаются, например: *ініді*: *баласы*, *тöкїтїп*: *салдырып* в приведенных примерах из «Манаса», но они крайне редки. Поскольку, с одной стороны, ударение (тонический принцип) не играет в тюркском стихе определяющей роли, а, с другой стороны, рифма в народном стихе является результатом параллелизма, наблюдается общая тенденция к расширенной («глубокой») рифме, к тому, чтобы рифмовать не только последний («ударный) слог, а два или три слога, т. е. не один аффикс, а целую одинаковую цепочку аффиксов, в пределе — все последнее трехсложное слово (клаузулу). Такая рифма по принятой в русской метрике терминологии является г л у б о к о й, хотя может быть при этом в разной степени точной (сингармоническое варьирование гласных + несовпадение согласных). Ср. в приведенных примерах из «Манаса» — *мін* + *гäн* + *дä* : *jїр* + *гöн* + *дö*, *бер* + *ін* + *тір* : *қал* + *ып* + *тыр*; из «Камбара» — *тан* + *ын* + + *дай* : köз + *ін* + *дей*; с захватом корневого элемента: в «Манасе» — *кет* + *пä* + *ган*: *öт* + *пö* + *гöн*; *тер* + *іл* + *ін* : *тер* + *іг* + *ін*; в «Камбаре» — *köз* + *ін* + *дей*: *без* + *ін* + *дей* и др.

Как типологическую аналогию такому расширению рифмового созвучия в рамках клаузулы (обычно трехсложной), можно привести развитие эмбриональной рифмы в русских былинах [45].

Механизм этого развития в обоих случаях одинаковый и подсказывается принципом параллелизма. Учитывая двухударный характер «дактилической» (в редких случаях «гипердактилической») клаузулы в русском былинном стихе (*Молодóй Вольгá* ‖ *Святослáвгович*...), можно считать и здесь достаточным (с точки зрения требований к «мужской» рифме классической поэзии) тождество последнего ударного гласного: *Мýрожля*: *Карачáровà*, *мóлодцỳ*: *богáтырю*. Но обычно смысловой и ритмико-синтаксический параллелизм ведет к дальнейшему расширению созвучной части концовки. Ср. рифмы двусложные: *заколóделà*: *замурáвелà*, *хлеба кýшатù*: *пообéдатù*; с захватом опорной согласной: *обручáласù*: *поклонилáсù*. При трехсложности рифма становится точной в обычном смысле — *кýшаю*: *слýшаю*, *богáтая*: *проклятая*. Но обширный размер русских слов допускает и четырехсложную рифму, выходящую за границу клаузулы, обычно с одинаковым префиксом в рифмующихся словах (морфологический параллелизм), но с звуковыми отклонения мивнутри слова, как в со-

[43] См. В. Ж и р м у н с к и й, Рифма..., стр. 131—133.

[44] См.: З. А. А х м е т о в, Казахское стихосложение, стр. 131—140; е г о ж е, Рифма в казахской поэзии, стр. 9—17.

[45] В. Ж и р м у н с к и й, Рифма..., стр. 269—273.

ответствующих тюркских примерах: *призадýмалась*:*призаслýхалась*, *перескáкивáл*: *перемáхивáл*, *привéрничкú*: *приворóтничкú* [46].

6. При полном тождестве рифмующих между собою стиховых концовок (или соответствующих ритмических отрезков стиха) рифма обращается в лексический повтор.

Ритмико-синтаксический параллелизм как принцип композиционной структуры допускает такое словесное повторение как эквивалент рифмы слов, одинаковых по своей синтаксической функции и морфологической структуре (например, по уже указанному типу: «именное определение + + существительное-подлежащее + глагольное сказуемое»). При этом чем архаичнее поэтический стиль, тем чаще в нем такие повторения. Рифма есть как бы частный случай повторения и, вероятно, развилась из повторения. Соответственно этому и в качестве стиховой клаузулы повторения (вместо рифм) в таком архаическом стиле очень обычны. Ср., например, в отрывке из шорской богатырской сказки «Кан-Кес», цитированном ранее [47]:

Ст. 9 ...aq mal *turğan*
белый скот *стоял*
ст. 12. ...ałtïn örge *turğan*
...золотой дворец *стоял*
ст. 14 ....ałtïn šärčïn *turğan*
...золотая коновязь *стояла*
ст. 16 čegren at *turğan*
...игреневый конь *стоял*...

Очень часто такие повторения служат концовками в «Манасе», чередуясь с грамматическими рифмами или со стихами без конечной рифмы. Ср. «Рождение Манаса» в записи В. Радлова [48], ст. 23—38 (стиховые клаузулы):

Ст. 23... ј а р *болсо!* 24 .... курсагына, 25 ... б а р *болсо!* 26 ... б ӯ д ӯ р с а м! 27 ... т ӯ д ӯ р с а м! 28 ... *кӧк* кӧпӱ́ч 29 .... *јегӓнӧӓі*, 30 ... *кӧк* чапан 31 ... *јегӓнӧӓі*, 32 ... тешік там 33 ... *јегӓнӧӓі*, 34... кӯ наіза 35 ... *јегӓнӧӓі*, 36 ... ҫ о і б о ғ о н, 37 ... т о і б о ғ о н 38 ... *јегӓнӧӓі*. (Грамматические рифмы — см. ст. 26 : 27, 36: 37; повторения с предшествующей рифмой — ст. 23 : 25; повторение всей клаузулы — ст. 29, 31, 33, 38; синтаксический параллелизм с повторением первой части клаузулы — ст. 28, 30; без повторения — ст. 32.)

Среди этого разнообразия нерегулярных типов параллелизма, повторений и рифм в конце стихового ряда часто встречаются повторения некоторых служебных (в широком смысле) слов — глаголов, наречий, послелогов,— образующих вместе с предшествующим значащим словом, которое обычно (но не всегда) рифмуется, составную стиховую клаузулу. Ср. в приведенном примере из «Манаса»: *јар болсо* «другом будь»: *бар болсо* «здоровым будь». Часто в таком положении стоят формы глагола «стать, быть»: *болған*, *болды* «был», *болса* «был бы» и т. п. и других вспомогательных глаголов: *эди*, *экан*, *тур*, *келӧі*, *алып* и т. д.; модальные слова *бар* «имеется», *йоқ* (*жоқ*) «нет» («не имеется»), послелоги *соң* «после», *мінӓн* (*білӓн*) «вместе с» и ряд других. Ср. казах.: бай *болған* «баем

[46] Глубокие рифмы, частично неточные,— характерное явление новейшей поэзии. Наиболее известный пример в русской поэзии — стихи В. Маяковского.

[47] В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм.., стр. 19—20.

[48] В. В. Радлов, Образцы народной литературы северных тюркских племен, ч. V, стр. 2, строки 23—38. Здесь и ниже повторения мы выделяем курсивом, рифмы — разрядкой.

был»: *қан болған* «ханом был» (без рифмы), но также с рифмой — бай *болған*: сай *болған* «скот (у него) был»; кісі *жоқ* «человека нет»: ісі *жоқ* «дела нет» (ср. кирг. «Манас» чоро *јоқ* «соратника нет»: төрө *јоқ* «родича нет»); жасы *бар* «возраст его был»: басы *бар* «голова его была», білген *соң* «(когда) узнал после»: көрген *соң* «(когда) увидел после» и мн. др. Особенно часто в такой позиции употребляется глагол *деп* «сказав; подумав», *деді*, *деіт* «сказал; подумал», объединяющий целые цепочки стихов (речь героя или внутренний монолог). См. «Камбар», ст. 879—894 (стр. 31—32):

Ақ төс тазы мен, — дейді,
Белогрудая гончая — я,— молвил,
Қара тебет сен,— дейді,
Черный пес — ты,— молвил,
Таласқаныц қыз,— дейді,
Оспариваешь девушку,— молвил,
Он мыц лэшкер палуанға
Против десяти тысяч силачей-воинов
Бола алмассыц тең,— дейді,
Не выстоишь ты,— молвил.
Ақ суққар құс мен,— дейді,
Я — белый сокол,— молвил,
Қуладын құс сен,— дейді...
Ты — сизый ястреб — молвил...» и т. д. (всего 12 раз)

Можно обозначить составную рифму такого рода, состоящую из повторяющегося второго слова и рифмующего первого, термином классической арабско-персидской поэзии — «редиф». Однако в тюркской народной поэзии это явление автохтонное, развившееся спонтанно из того же общего принципа параллелизма и повторения. По сравнению с классическим редифом такая составная рифма в устной поэзии тюркских народов ограничена традиционным, относительно узким кругом «служебных» слов. То обстоятельство, что те же самые слова употребляются в одинаковой функции в эпическом стихе всех тюркских народов (в том числе киргизов, казахов, каракалпаков, узбеков), заставляет считать это явление относительно древним, вероятно — общим наследием этих народов. В более позднем романическом эпосе и народных романах редиф имеет совсем иной характер, подсказывающий мысль о его литературном происхождении. Таков, например, редиф в сочетании со строфической формой и одиннадцатисложным стихом в лирических партиях (песнях) героев в «Равшане» узбекского сказителя Эргаша Джуманбулбул-оглы — одном из наиболее поздних и стилистически «украшенных» дастанов цикла «Горoглы»:

Баримизни қўриб *ётир бир йигит.*
Всех нас видит *один джигит.*
Қолин гулга кириб *ётир бир йигит.*
Среди густых цветов спрятался *один джигит.*
Бир одам ётибди боғнинг ичида
Какой-то человек находится в саду,
Гулларингдан териб *ётир бир йигит.*
Цветы твои срывает *один джигит*[49].

7. Наличие словесных повторов в общих рамках ритмико-синтаксического параллелизма объясняет, по-видимому, и *происхождение* алли-

[49] Эргаш Джуманбулбул-оглы, Равшан, ред. и предисл. Х. Зарифова, Ташкент, 1941, стр. 89.

терации и, которая, как известно, является одним из отличительных признаков древнетюркского народного стиха, в частности эпического. Аллитерация может быть по своему расположению «вертикальной» или «горизонтальной»: она объединяет ряд последовательных стихов (в таких случаях чаще всего, но не всегда, она имеет анафорический характер начальной рифмы), либо она связывает между собою слова внутри стиха. Оба принципа нередко перекрещиваются. От аллитерации германской тюркская (как и монгольская) отличается своим нерегулярным характером. В древнегерманском акцентном стихе, имеющем четыре сильных ударения, по два на каждое полустишие, аллитерация обязательна: она связывает первое ударение второго полустишия с одним или обоими первого. Ср. «Песнь о Хильдебранте» (нем. VIII в.):

Híltibrant enti Hádubrant || untar hérium twēm
Хильдебрант и Хадубрант между двух дружин
Súnufátarungo || iro sáro rîhtun
Сын с отцом || свои панцири изготовили.

В тюркском и монгольском стихе аллитерация, даже массовидная, не прикреплена к определенному месту стиха и, следовательно, столь же необязательна, как рифма.

Аллитерация развивается из повторения слов на параллельных местах стиха, как это особенно очевидно в анафорической позиции, причем повторение может быть либо полным, либо с вариацией грамматической формы слова (так называемая figura etymologica, широко распространенная в архаическом стихе у многих народов как прием подхватывания с вариацией) [50]. Это положение подтверждается следующими двумя обстоятельствами:

1. Начальная аллитерация нередко чередуется с повторениями на параллельных местах стиха (как и рифма); широко распространена, как в этой позиции, так и при горизонтальной аллитерации «этимологическая фигура».

2. Аллитерирует обычно не только начальный согласный слова (как в германском стихе), но также последующий гласный или более обширный ряд согласных в пределах начального слога или слова — явление, в известной мере аналогичное «глубоким рифмам» в конце стиха, охватывающим конечное слово (клаузулу).

Связь между словесными повторениями и аллитерацией могут иллюстрировать следующие примеры.

1. Традиционный зачин шорской богатырской сказки «Кап Мерген» (ст. 1—9) [51]:

Purun, *purun pol*ğan *pol*tur — (8)
Давным-давно это было—
amdyğynuṇ ā ł y n d a, (7)
Нынешнего прежде,
*purun*ğunuṇ s ō n d a, (6)
Бывшего после,
q a ł a q - p a *čer* pȫ l ü p
Мешалкой земля (когда) разделена была,
q a m y š - p a suğ *pöl*er *šende*, (8)
ковшом вода разделена была когда,

[50] О стилистической роли «этимологической фигуры» в устной поэзии угро-финских народов см.: W. Steinitz, Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen, 2. Tl., Stockholm, 1941, стр. 41—46.

[51] Н. П. Дыренкова, Шорский фольклор, М.— Л., 1940, № 12, стр. 80—83.

čer п ü д ü š ü р, (4)
земля (когда) нагромоздилась,
*čer*sil qabašar *šende*, (7)
сквозь землю влага пробивалась когда,
čer čyrtyła, *ağaš öščatqan šende*, (11)
земля разрывалась, дерево вырастало когда,
ağaš čyrtəła, pür *öščatqan šende* (11). . . .
дерево расщеплялось, лист вырастал когда...

Повторяются *purun* (2), с этимологической вариацией *purun*gunuŋ; *pol*- с вариациями: *połğan*, *połtur*; *pölüp*, *põle*r; *čer* (3) с вариациями *čer*sil, *čyrtyła* (2); *ağaš* (2); *öščatqan* (2); *šende* (4). Встречаются нерегулярные грамматические рифмы: внешние — ā l y n d a : s ō n d a : š e n d e; p ö l ü p : p ü d ü š ü p; внутренние — q a ł a q - p a : q a m y š - p a.

2. Отрывок из «Манаса» («Приход Алмамбета», в записи В. Радлова, ст. 47—54):

Тарс еткён-мінён бір атқан,
Со звоном [из луков] стреляя,
*тарс*ы л д а т ы н қол j ў р с ў н!
Звеня войско пусть выступит!
кўрс еткён-мінён бір атқан,
С криком [из луков] стреляя,
кўрс ў л д ö т ў п *el* к ö ш с ў н!
Крича народ пусть двинется!
қызыл чоқтў Оіроттун
Красно-огненных Ойротов
el четінä б а р а л ы!
В пределы народа пусть мы двинемся!
*mil*di қармап а л а л ы,
«Языка» [лазутчика] пусть мы захватим,
*mil*дän *mil*ін с у р а й л ы!
От лазутчика слово [язык] пусть спросим!

В этом фрагменте, рядом с обычными повторениями на параллельных местах и более обильными конечными рифмами, наличествует большое число этимологических вариаций: *тарс* — *тарс*ылдатын, *кўрс* — *кўрс*ўлдöтўп, *mil*ді — *mil*дан — *mil*ін.

Таким образом, с точки зрения как генетической, так и функциональной з в у к о в о й п о в т о р (а л л и т е р а ц и я или р и ф м а) м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к э к в и в а л е н т или з а м е н а (своего рода р у д и м е н т) с л о в е с н о г о п о в т о р е н и я.

8. Объяснение широкого развития, которое принцип аллитерации получил в тюркском стихосложении, в особенности — в его архаических формах, представляет известные трудности.

Обычно аллитерация закрепляется как структурный элемент стиха в языках, где ударение падает на первый слог, т. е. где этот слог является фонетически сильным (в языках германских, древнеирландском, пралатинском, финно-угорских, монгольских). Если же сильное словесное ударение стоит внутри слова, то с первым слогом в динамическом отношении конкурирует ударный внутренний слог. Это обстоятельство препятствует, например, систематическому использованию аллитерации в русском стихе. Об этом наглядно свидетельствуют неудачные опыты К. Бальмонта:

Вечер. Взморье. Вздохи ветра
Величавый возглас волн...

Чтобы аллитерировали гласные в первом слоге, на который падало бы ударение, поэту пришлось написать стихотворение хореями, механически разрубленными по стопам словоразделами перед каждым ударным слогом. Многосложное слово *величáвый* при этом выпало из звуковой системы: по идее поэта оно должно аллитерировать на *в-*, между тем на самом деле стоящее внутри слова перед ударением *-ч-* является более сильным.

Высказывалось мнение, среди других — таким авторитетнейшим алтаистом как акад. Б. Я. Владимирцов, будто система аллитераций восходит в современных тюркских языках к «пратюркскому», когда, как подсказывает сопоставление с другими алтайскими языками (прежде всего с монгольскими), ударение, вероятно, падало на первый слог [52]. Однако объяснение это не убеждает. Если в историческую пору существования тюркских языков аллитерация была бы в них явлением только пережиточным, находящимся в противоречии с их современным фонетическим строем (т. е. с конечным ударением), она не могла бы удержаться в устном народном стихе и быстро сошла бы на нет, поскольку она не была связана ни с какой традиционной регулярной моделью, а употреблялась свободно и без всяких фиксированных правил, т. е. на слух.

Здесь не место и автор не считает себя достаточно компетентным ставить в связи с проблемой аллитерации сложный и дискуссионный вопрос о природе и месте ударения в тюркских языках, в частности — об ударности и фонетическом весе начального слога по сравнению с конечным, о вторичном или эмфатическом ударении на этом слоге. Споры по этим вопросам [53], вероятно, справедливо резюмирует А. М. Щербак, когда он пишет: «Высказывания тюркологов часто противоречивы... делаются прямо противоположные заключения. Очевидно, это объясняется тем, что ударение в тюркских языках является недостаточно выраженным и слабо централизующим. Не будет большим преувеличением, если мы скажем, что в слове столько же ударений, сколько слогов, и то, что одно из них более сильное, чем другие, не имеет существенного значения: перемещение более сильного ударения с одного слога на другой практически лишено смыслоразличительной функции» [54].

К этому определению, вполне соответствующему сказанному выше об особенностях силлабического стихосложения (стр. 25), следует прибавить два соображения, говорящие о выделенности первого слога слова в тюркских языках:

1. Отсутствие в этих языках префиксов, стоящих перед начальным (корневым) слогом. В германских языках развитие префиксации явилось одной из внутренних причин распада аллитерации: по правилам древнегерманского стихосложения в случае наличия префикса аллитерирует не начальная согласная, а опорная корневого (ударного) слога. Ср. в англосаксонской поэме «Беовульф»: ст. 775 «searoþoncum besmiþod ‖ þǣr fram sylle ābēag»; ст. 780: «listum tolūcan ‖ nymþe līges fæþm и др. Может быть, не случайно именно в скандинавских языках, где префикса-

[52] См.: Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика, Л., 1929, стр. 112.

[53] См. в особенности: K. Grønbech, Der Akzent im Türkischen und Mongolischen, ZDMG, 94 (der N. F. 19), 3, 1940; его же, Zur Frage des Wortakzentes im Osmanischen, «Keleti Szemle», 1911; St. Wurm, Über Akzent- und Tonverhältnisse im Özbekischen, UAJb, XXV, 3—4, 1953; С. К. Кенесбаев, К вопросу о закономерностях акцентуации в казахском языке, сб. «Вопросы казахской филологии», Алма-Ата, 1964; Ш. М. Абдуллаев, Место и природа словесного ударения в современном азербайджанском языке (В свете экспериментальных данных). Автореф. канд. диссерт., Баку, 1964.

[54] А. М. Щербак, Сравнительная фонетика тюркских языков (в печати).

ция почти отсутствовала, аллитерационный стих существовал дольше всего.

2. Морфологический вес первого слога как корневого, проявляющийся в законах сингармонизма, которые выделяют начальный слог как фономорфологическое ядро слова.

В недавнее время Г. Дерфер выступил с теорией, объясняющей происхождение аллитерации в тюркских языках влиянием языков монгольских [55]. Дерфер выдвигает два положения в защиту своей теории: 1) аллитерация будто бы появляется в поэзии тюркских народов только в эпоху монгольского завоевания; в домонгольской литературе, в частности — в орхонских надписях, в стихотворных строфах из словаря Махмуда Кашгарского, в «Кудатку Билик» она отсутствует; 2) в настоящее время аллитерация распространена только у тех тюркских народов, которые находились в течение продолжительного времени под монгольским владычеством и испытали сильное влияние монгольской культуры. Дерфер причисляет к этой группе тюрков южной Сибири, якутов, казахов и в меньшей степени казанских татар. Отсутствует аллитерация, по мнению автора, в поэзии османских турок и в новоуйгурской поэзии, т. е. у тех народов, которые не испытали на себе монгольского воздействия или благодаря влиянию мусульманства сохранили духовную независимость от культуры монголов.

Теория Дерфера представляется неубедительной как с фактической, так и с принципиальной стороны. Во-первых, аллитерация наличествует и в орхонских надписях: различным ее формам недавно уделила специальное внимание И. В. Стеблева [56], и если аллитерация не играет в них первостепенной роли, то только потому, что надписи эти, вопреки мнению И. В. Стеблевой, написаны не стихами, а прозой; о «Кудатку Билик» в этой связи говорить не приходится, так как это произведение книжной литературы, но строфы из «Словаря» Махмуда Кашгарского, даже цитируемые Дерфером, в ряде случаев аллитерацию имеют. Например:

Jelkin bolup barduqï
Könglüm ayar bağlaju.
Qaldïm ärinč qaðğuqa
išim uðu yïγlaju [57].

К этому можно было бы присоединить ранние уйгурские (манихейские) тексты, да и фольклорные материалы (пословицы) в Codex Comanicus вряд ли были созданы в тот день, когда они были записаны (в XIV в.).

Во-вторых, архаические по своему типу богатырские сказки алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и якутов (хотя они и были записаны начиная только с середины XIX в.) в сопоставлении с средневековым огузским героическим эпосом «Книги Коркута» позволяют нам восстановить ту архаическую стихотворную форму, в которой они существовали у тюркских народов, вероятно, задолго до монгольского завоевания XIII в. Патриарх романской филологии Р. Менендес Пидаль неоднократно справедливо

[55] См.: G. Dörfer, Die Literatur der Türken Südsibiriens, стр. 862—885; его же, [рец. на кн.:] М. К. Хамраев, Основы тюркского стихосложения, «Deutsche Literaturzeitung», 1, 1965, стлб. 18.

[56] См.: И. В. Стеблева, Поэзия тюрков VI—VIII веков, М., 1965, стр. 27—30.

[57] G. Dörfer, Die Literatur der Türken Südsibiriens, стр. 861. Добавлю, что стихи, цитируемые Махмудом Кашгарским, не производят впечатления архаичности, вследствие наличия в них довольно последовательного счета слогов, рифмы и строфического членения. Во всяком случае строфы героического содержания, приведенные в «Словаре», вряд ли являются отрывками народного эпоса. См. по этому вопросу: Pertev Naili Boratav, L'épopée et la «hikaye», «Philologiae Turcicae fundamenta», II, Wiesbaden, 1964, стр. 15.

указывал, что в отношении произведений устной народной словесности, записанных сравнительно поздно, мы всегда должны считаться с продолжительным периодом «латентного» (скрытого) развития (estado latente), и молчание письменных источников не может служить солидным основанием для датировки [58]. Между тем, у всех названных народов аллитерация является широко распространенной и органической особенностью их стиховой структуры. То же относится и к огузскому героическом эпосу XV—XVI вв., хотя, по классификации Дерфера, он создан был тюрками не монголизованными, а находившимися под сильнейшим воздействием ислама.

Последнее обстоятельство позволяет думать, что и на территории западной (огузской) группы тюркоязычных народов, подвергшихся наибольшему влиянию мусульманской культуры и поэтической литературы, исконная аллитерация была, по-видимому, вытеснена позднейшим воздействием арабско-персидских литературных форм. Однако достаточно перечитать записи османской версии эпоса «Кер-оглу», сделанные турецкими фольклористами, чтобы убедиться, что в устной народной поэзии аллитерация была вытеснена далеко не полностью. Сквозь новые формы рифмованных лирических строф еще проступают аллитерации как дополнительный художественный прием. См. среди многочисленных других примеров:

Bujurun ağalar bujurun Beyler
Çamlĭbelin yaylasĭna çĭkĭnca...
Gönder gelsin Gül güzeli... (припев)
Kilinç kabzasĭndan kani... и др. [59].

Сходным образом обстоит дело в народных романах азербайджанских ашугов («Аслы Керем»):

Фәләк мәни баға бағман еjледи,
Бағман ағлар, бағча ағлар, кӯл ағлар.
Дост бағына ахмаз олду суларым,
Сусән ағлар, сӯнбӯл ағлар, сел ағлар [60].

Развитие тюркского эпического стиха идет в сторону укрепления конечной рифмы, маркирующей границу стихового ряда как смыслового и ритмико-синтаксического единства, и все большего ограничения употребления рифмы внутренней и аллитерации в качестве приемов структурной организации стиха. Эти два процесса диалектически взаимосвязаны, как указал еще Т. Ковальский [61] и недавно убедительно обосновал А. М. Щербак [62].

Одновременно с развитием конечной рифмы как границы словесного ряда (стиха) происходит и выравнивание слогового объема этого ряда, дифференциация короткого и долгого стиха по форме и по жанровой функции и закрепление (в границах, допускающих некоторые колебания) постоянного числа слогов в том и в другом стихах. Слоговое выравнивание в конечном счете также является одним из результатов ритмико-синтаксического параллелизма: равенство числа слов в параллельных стихах ведет тем самым к приблизительному равенству числа слогов.

---

[58] R. Menéndez Pidal, La Chanson de Roland, стр. 78—80; Р. Менендес Пидаль, Избранные произведения, стр. 102—106.

[59] Pertev Naili, Köroğlu desteni, İstanbul, 1931, стр. 218—221 и сл.

[60] «Азәрбаjчан дастанлары», ред. М. Тахмасиб, Баку, 1966, стр. 30.

[61] T. Kowalski, Ze studiów nad formą poezji ludów tureckich, стр. 28—29 (резюме, стр. 160).

[62] А. М. Щербак, Соотношение аллитерации и рифмы в тюркском стихосложении, стр. 153.

9. Типологическая последовательность развития стиховой формы тюркского эпоса может быть реконструирована на основании анализа всего рассмотренного нами материала [63].

Наиболее архаическую ступень, как по содержанию, так и по художественной форме, представляют богатырские сказки народов южной Сибири, собранные в I, II и IV томах «Образцов» В. В. Радлова и в ряде современных записей [64]. В шорской богатырской сказке («Кан Кес» или «Кан Мерген» и др.) господствующим принципом организации стиха являются параллелизм и повторения; аллитерация чрезвычайно обильна и связана с словесными повторами и этимологическими фигурами; рифмы не обязательны, но возникают непроизвольно в результате параллелизмов как на конце, так и внутри стиха; они всегда имеют грамматический характер и часто являются простыми лексическими повторами. Число слогов в двух цитированных отрывках колеблется в одном от 6, в другом от 4 до 11 слогов, но в некоторых примерах имеются еще более значительные расхождения, в особенности в якутских «олонхо» [65].

В «Манасе» число слогов относительно выравнено с преобладанием семи-восьмисложных (тип короткого стиха — «жыр»), но с некоторыми единичными отступлениями от нормы; устанавливается трехсложная концовка; параллелизм и словесные повторения имеют еще очень существенное, но не исключительное значение; конечная рифма не обязательна, хотя встречается часто, как и нерегулярные внутренние рифмы. По-прежнему очень обильны аллитерации.

Дальнейший шаг на этом пути представляют казахские (и каракалпакские) героические былины («жыры»). Среди них также имеются более архаические и более новые по своему метрическому строю. Ритмико-синтаксический параллелизм стиховых рядов перестает играть в них главенствующую роль. В некоторых случаях здесь отмечаются рифмовые созвучия, захватывающие корень слова, т. е. выходящие за пределы механической созвучности параллельных окончаний — көз-індей : без-індей, жас-ы бар : бас-ы бар и т. п. В рамках однорифменной тирады иногда как будто наблюдается группировка рифм внутри цепочки по сингармоническим вариантам, т. е. по более строгому звуковому принципу. Ср. «Камбар» (стр. 17) — **талыңдай : таныңдай — көзіңдей : безіңдей : еріңдей** или (стр. 13) — **бекілді : жөнеілді — ақылды: бақырды : шақырды** и др. Или вся цепочка рифм состоит из гласных одного ряда, заднего или переднего, с глубоким охватом согласных, включающим и корневой слог. Например, там же, стр. 26: **жақтырды : тақтырды : шақтырды : бақтырды** и т. п.

З. Ахметов указал на сложные приемы композиции тирады: проходящая «сквозная рифма», образующая основной композиционный стержень такой тирады, объемлет отдельные строки без рифм или со вспомогательными рифмами, объединяющими два или три стиха внутри этой рамки [66]. Ср. цитированный в его работе отрывок из эпоса «Алпамыс-батыр», ст. 3161—3186 (клаузулы): Жөнеген кезде *тун еді*, ... қайрылып, ...*келеді*. ... сөзі жоқ, ... *тіледі*.... қыздырып, ... *жөндеді*, ... ағы-

---

[63] См. также: В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм..., стр. 7—21.

[64] Н. П. Дыренкова, Шорский фольклор; «Алтай баатырлал», 3 тт., ред. С. Суразаков, Горно-Алтайск, 1958—1960; «Алыптыг нымахтар», 4 тт., ред. В. К. Доможоков, Т. Г. Тачеева и др., Абакан, 1951—1959; «Тыыва Тоолдар», 3 тт., Кызыл, 1947—1955. См. также: «Образцы народной литературы якутов, издаваемые под редакцией Э. К. Пекарского», I—III, Пбг., 1907—1918.

[65] См.: Г. М. Васильев, Якутское стихосложение, стр. 37—38.

[66] З. А. Ахметов, Казахское стихосложение, стр. 272—274. Мы цитируем пример с уточнениями и без сокращения.

л ы п, ... т а р ы н ы п, ... ш а ғ ы л ы п, ... *береді*, ... а н ғ а́ р ы п, ... *біледи*, ... *дан(а) еді*, ... *хан еді*, ... *келеді*, ... сау қайт деп, ... *береді*, ... Шұбар ат, ... ауызға, ... *сүзеді*. ... ж и ғ а н ш а, ... т ы й ғ а н ш а, ... Шұбар ат. ... *білмеді*, ... *жөнеді*, ... *төгеді*... [67].

Особенно часто «сквозная рифма» представлена глаголом в прошедшем времени на *-ди/-ды*, в котором ведется повествование, тогда как внутренние группы с вспомогательными рифмами имеют форму деепричастий на *-ip/-ып* (подчиненных сказуемых), обозначающих обстоятельства действия.

Все это — явления спонтанного развития стиховой формы в сторону большей регулярности и независимости от ее первоначальной ритмико-синтаксической основы.

В узебекском «А л п а м ы ш е» в классической версии Фазыла Юлдашева параллелизм сведен до минимума, аллитерации и внутренние рифмы встречаются редко и из элемента композиционной структуры стали средством стилистическим, выразительным или украшающим. Ср. описание скачки героя через степь:

Dubulga bašda dubullab,
Шлем на голове (его) гудит,
Kark qubba qalqan qarqillab...
Носорожий выпуклый щит гремит... [68].

Конечная рифма за малыми исключениями стала обязательной; появляются рифмы морфологически разнородные, «аграмматические», свидетельствующие о том, что это средство связывать концы стихов приобрело самодовлеющее, независимое от параллелизма, звуковое и композиционное значение: рифмуются между собой аффиксы разных грамматических категорий (имен и глаголов), словообразовательные суффиксы и корневые морфемы, иноязычные заимствования, частью литературного происхождения, утратившие грамматическую членимость. См. стр. 66: gullar : bulbullar (мн. ч.): dilbar : intizar (заимствования): sənəmlar (мн. ч.): tulpar : : bar (корневая морфема) и т. д.; стр. 115: muštapar : aždahar (заимствования) : kanizlar (мн. ч.): kotarar (глагол); там же: qalamqaš : baš (корневые морфемы): aralaš (отглагольное имя) и др. В то же время традиционная метрическая трехсложная клаузула в ряде случаев расшатана. Господствует долгий одиннадцатисложный стих (как в казахском семейно-бытовом эпосе и в народных романах книжного происхождения); короткий семи-восьмисложный сохранился только в традиционных «общих местах» эпоса. Встречается строфическая форма, в виде вставных лирических песен, иногда и в речах героев, в последних случаях не всегда регулярная. Все эти обстоятельства, как и некоторые стилистические особенности, свидетельствуют о влиянии класссической поэзии через посредство героико-романического эпоса и народных романов («кысса»).

Для этих новых жанров узбекского эпоса, как и для произведений туркменских шаиров и азербайджанских ашугов, характерно развитие ритмизованной прозы как основной формы повествования и сохранение стихов преимущественно во вставных лирических партиях, выражающих эмоциональные переживания героев в песенной форме, разнообразных по своей строфической структуре, с широким использованием припева и редифов нового типа. Уже названный выше «Равшан» в исполнении сказителя Эргаша Джуманбулбул-оглы может дать наиболее наглядное представление об этом новом жанре [69].

---

[67] «Алпамыс-батыр», под редакцией М. О. Ауэзова и Н. С. Смирновой, Алма-Ата, 1961, стр. 76—77. (Объемлющие рифмы выделены курсивом, вспомогательные — разрядкой.)

[68] См.: Ф а з ы л Ю л д а ш, *Алпамыш*, Ташкент, стр. 104. Ср. «Алпомиш». Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли, III нашри, [Тошкент], 1958, стр. 86. (Цитирую по изданию 1939 г., так как оно точнее передает вокализм «кыпчакского» наречия Фазыла).

[69] См.: В. М. Ж и р м у н с к и й, Х. Т. З а р и ф о в, Узбекский народный героический эпос, М., 1947, стр. 270—276, 440—446.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. РЯСЯНЕН

ОБ УРАЛО-АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ РОДСТВЕ *

Одним из первых ученых, пытавшимся публично доказать, что финно-угорские (или «чудские», как он их называл) народы состоят в языковом родстве с народами Азии (маньчжурами, монголами и тюрками), был эстонский языковед Ф. И. Видеман [1]. Таким образом, обмен мнениями по рассматриваемой здесь теме продолжается уже более ста лет.

По мнению Видемана, наиболее характерные общие свойства указанных выше семей языков касаются — в отличие от черт, объединяющих индоевропейские языки,— главным образом синтаксиса, однако при перечислении на первом месте упоминается входящая в структуру языка гармония гласных: 1) гармония гласных (*tä-ssä paika-ssa* "в этом месте"); 2) отсутствие грамматического рода; 3) отсутствие артиклей; 4) склонение, производимое при помощи окончаний (агглютинация); 5) посессивное склонение имен по лицам (притяжательные суффиксы); 6) обилие производных глагольных форм (фреквентатив, однократный вид и т. д.); 7) послелоги (предлогов нет); 8) обычная позиция определения перед определяемым словом (т. е. "rectus" предшествует "regens" у); 9) отсутствие после числительных множественного или двойственного чисел имени исчисляемого объекта; 10) использование ablativus comparativus при сравнительной степени (*isä on poikaa* или *pojasta suurempi* "отец больше сына"); 11) употребление соответствия латинскому глаголу *esse* (*minulla on* "у меня есть») вместо соответствия глаголу *habere*; 12) существование в большинстве урало-алтайских языков особого отрицательного глагола (*e-n*, *e-t*, *ei*, эвенк. *ę-*; производное слово *ämä*, встречающееся в тюркских языках и выражающее невозможность, происходит, по мнению Г. И. Рамстедта, от отрицания *e-*); 13) вопросительная частица; 14) предпочтительное употребление так называемых «присоединительных» глагольных форм (причастных или деепричастных конструкций), а не союзов.

На соответствия уральских и алтайских языков в области синтаксиса обращали в наше время внимание главным образом венгерские ученые, например Д. Р. Фокош-Фукс и Ё. Беке. Фокош-Фукс уже в одной из своих первых работ сравнивал в 73 пунктах замеченные им синтаксиче-

---

* Из протоколов Финской Академии наук.

[1] F. J. Wiedemann, Ueber die früheren Sitze der tschudischen Völker und ihre Sprachverwandtschaft mit den Völkern Mittelhochasiens (было опубликовано в 1838 г. в программе открытия Ревельской гимназии — см. об этом: E. N. Setälä, Dem Andenken F. J. Wiedemann's, «Finnisch-ugrische Forschungen», V, 1905, примеч. 2 к стр. 3). Первым, кто высказал подобное мнение, был, насколько известно, В. Шотт (см.: W. Schott, Versuch über die tatarischen Sprachen, Berlin, 1836). М. А. Кастрен также придерживался подобного взгляда (см.: M. A. Castrén, Dissertatio Academica de affinitate declinationum in lingua Fennica, Esthonica et Lapponica, Helsingforsiae, [1839], примеч. 19 к стр. 26; его же, Nordiska resor och forskningar. II, 1845, стр. 91; III — 1846, стр. 154—156; его же, Nordische Reisen und Forschungen. V, St.-Petersburg 1849, стр. 107).

ские сходства финно-угорских и тюркских языков — те, которые или неизвестны индоевропейским языкам, или же представляют в них весьма редкие явления [2]. Так, в финно-угорских языках с глаголами *jäädä* "оставаться" и *jättää* "остаться" употребляется падеж вхождения (*jäädä* и *jättää johonkin*), то же самое видим для соответствующих глаголов в тюркских языках. Слова, означающие искание, собирание, нахождение, употребляются в финно-угорских языках с исходным падежом: *löysin aarteen maasta* (ср. нем. *ich fand in der Erde einen Schatz*); так же *ostaa jotakin jostakin*, эст. *ma ostsin sed turult* (но нем. *ich kaufte es auf dem Markt*); далее: *tuntea joku jostakin*. Напротив, падеж вхождения: *mies kuoli nälkään*, *veteen*, *tautiin* (ср. нем. *der Mann starb Hungers*, *im Wasser*, *an Krankheit*); *hän myi talonsa tuhanteen ruplaan* (ср. нем. *er verkaufte sein Haus für 1000 Rubel*). Падеж нахождения: *hän on kalassa*, *marjassa*, *heinässä*, нем. *er fängt Fische*, *pflückt Beeren*, *sammelt Heu* и т. д. В своей последней обобщающей монографии по общеязыковой философии, являющейся апологией семасиологических и синтаксических доказательств, Д. Р. Фокош-Фукс наибольшее внимание уделил проблемам урало-алтайского языкового родства [3].

В области морфологии уральских и алтайских языков вскрывается тоже удивительно много сходств, даже детальных, особенно в части местоимений, хотя следует признать, что сходства обнаруживаются и при сопоставлении этих языков с индоевропейскими, а также наличествуют в языках, занимающих более отдаленное географическое положение. Шведский финно-угровед Б. Коллиндер, пытавшийся в свое время при помощи данных морфологии показать первоначальное родство уральских языков с индоевропейскими и юкагирскими языками, именно на основании морфологических сходств пришел к выводу, что уральские (т. е. финно-угорские и самодийские) и алтайские языки могут состоять в первоначальном родстве [4]. Этим возможным сходствам уделялось внимание в моей работе о морфологии тюркских языков [5].

Приведу несколько примеров из результатов моих исследований. Кроме уже приведенных Б. Коллиндером личных местоимений 1 и 2-го лица *minu-*, *sinu-* < **tinu* (= монг. *minu*, *činu* < **tinu*), также и в 3-м лице имеется, по-моему, соответствие финно-угорскому в алтайских языках. Это до сих пор не объясненный притяжательный суффикс 3-го лица фин. и тюрк. *si* (якут. *tä* < **zä*), чередующийся с суффиксом *i* (в маньчжурском существует самостоятельное слово *i* "он", ср. монг. *inu*); чередование *-si* ~ *-i* является, по-видимому, влиянием синтаксической фонетики или ударения. С другой стороны, указательное местоимение тюркск. *ti-*(*gi*) "jener dort" также может быть соответствием финского местоимения *tä-*(*mä*), так же, как *tu*(*γγ*) "siehe dort" > "jener" соответствием местоимения фин. *tuo*. Вопросительные местоимения тюрк. *kim*, *kum*, монг. *ke-n-* могут быть соответствиями финского местоимения *ku-ka*, *ko-ska*, *ken*, *ke-*; монг. *ja-gu* — соответствием финского соотносительного местоимения *jo-ka*, чувашское вопросительное местоимение *mən* — соответствием финского вопросительного *mi* (*-kä*) (ср. также тюркские вопросительные суффиксы *mi*, *mo*, *mu*).

Из сопоставимых падежных форм коснемся здесь следующих: генитив-инструментал, имеющий в обеих группах языков окончание *-n*; локатив-

[2] D. R. Fuchs, Übereinstimmungen in der Syntax der finnisch-ugrischen und türkischen Sprachen, «Finno-ugrische Forschungen», XXIV, 1—3, 1937.

[3] D. R. Fokos-Fuchs, Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft mit besonderer Rücksicht auf das Problem der ural-altaischen Sprachverwandtschaft, Wiesbaden, 1962.

[4] B. Collinder, La parenté linguistique et le calcul des probabilités.

[5] M. Räsänen, Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen («Studia Orientalia», XXI), Helsinki, 1957.

аблатив — тюрк. *-da*, монг. *-du*, фин.-*ta* ~ *-δa*, который первоначально был исходным падежом, но из которого развился как в якутском, так и в финском языке частичный падеж неопределенного объекта; латив — тюрк. *-ka*, финно-угор. *-k*; транслатив — фин. *-ksi*, *-kse*, ср. редко встречающийся монг. латив *-gsi* (*taakse*, *taaksi*, *taas*, ср. монг. *činagsi*); в эвенкийском языке это окончание выступает в виде метатезы *-ski* [6].

Окончания порядковых числительных тюркских языков *-m*, *-m-si*, *-m-č*, *-m-t* имеют то же самое происхождение, что и *-mt-*, *-mč-* в финно-угорских языках [7].

Некоторые производные глагольные формы имеют соответствия в той и другой группах языков: тюркский каузативный суффикс *t* сопоставим с финно-угор. *kt*; финское рефлексивное *u*, *pu* имеется также в алтайских языках — ср. тюрк. *u*, монг. *bu*, эвенк. *wu*, *u*; финскую многократную форму *ele* (*astele-*, *kävele-*) можно сопоставить с тюрк. *ālä* (*ala*) и т. д.

При переходе к фонетической структуре следует прежде всего отметить довольно значительное число гласных и соответственно малое количество согласных, что свойственно всем уральским и алтайским языкам и, наоборот, не характерно для соседних семей языков. Сюда можно отнести также невозможность стечения нескольких согласных в начале слова; добавим, что сочетания согласных в конце слова редки, их избегают и в середине слова. Б. Коллиндер считает гармонию гласных первоначальным уральским явлением; она встречается также во всех алтайских языковых группах.

Важным критерием при изучении языкового родства следует считать те из общих словарных элементов, которые не входят в наслоения заимствованныхслов, вызванные поздними культурными влияниями. В этом отношении гипотеза Г. Вамбери о венгерско-тюркском родстве оказалась в том смысле вводящей в заблуждение, что бо́льшая часть сравниваемого им материала являлась результатом сравнительно поздних соприкосновений, относящихся к тому времени, когда венгры, по свидетельствам исторических источников, уже имели тесные контакты с различными тюркскими племенами. Общий же словарный фонд восходит ко времени за несколько тысяч лет тому назад — если даже со всеми предосторожностями допустить, что уральский языковой период закончился уже в первой половине четвертого тысячелетия, урало-алтайская эпоха отодвигается еще на несколько тысячелетий назад.

Обширнее всего урало-алтайская лексика представлена в диссертации О. Соважо; она касается истории некоторых звуков и содержит 214 попыток сближения слов финно-угорских языков, с одной стороны, и алтайских, с другой [8]. Собранный материал, имея почтенный объем, изложен без критики — это касается как уральской части, так и в особенности алтайских языков.

Со своей стороны, уже давно обратив и в этой области внимание на возможное первоначальное родство уральских и алтайских языков, я пришел в этом отношении к положительным выводам и возвратился, таким образом, преимущественно к точке зрения Кастрена. Соответствующие лексические сопоставления неоднократно публиковались мной в различных журналах. Излагаю ниже часть этих сопоставлений.

Уровень духовной культуры урало-алтайцев отражают, между прочим, некоторые относящиеся к общественной терминологии слова — такие,

---

[6] Ср. также: J. Németh, NyK, XLVII, 62.

[7] См. об этом: M. Räsänen, «Verba docent», Helsinki («Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia», 263), стр. 87—88.

[8] A. Sauvageot, Recherches sur la vocabulaire des langues ouralo-altaïques. Paris, 1930.

как фин. *kylä* "деревня", венг. *falu*, у обоих имеются хорошо обоснованные соответствия в алтайских языках. Возможно, фин. *käräjät*, *keräjät* "суд" сближается с монгольскими словами *gere* "свидетель; свидетельство", *gerijes* "завещание" с тюрк. *kär-ti*, *kär-čäk* "правда". В названиях, касающихся родства, соответствия имеют, по крайней мере, финские слова *käly* "невестка", *poika* "сын", *emä* "мать", венг. *öcs* "младший брат". На область шаманизма указывают слова *arpa* "жребий", венг. *orvos* "врач", фин. *kirota* „проклинать, ругаться" (ср. например, средневековотюрк. *kyryγa*, *karγa*, якут. *kyra*, монг. *kari-ja*), фин. *lumota* "зачаровывать" (тюрк. *jom*, монг. *dom* или эвенк. *nymŋa*, олча-эвенк. *ńiŋma*, эвенск. *nimkan*; в алтайских языках *l* в начале слова заменено другими согласными); фин. *saarna* "проповедь", карельское соответствие которого означает "сказка" (тюрк. *saryn* "песня", *sarna* "петь [в том числе и] причитания", "пировать"); фин. *kannus* "шаманский барабан", саам. *kobdes* (монг. *kobda* "колчан").

В лексике, касающейся материальной культуры, также многое сопоставимо. Фин. *kota*, узб. *kota* "дом, комната"; монг. *kota(n)* указывает, по-видимому, не на строение в виде палатки, а на огороженный двор ("Zaun, Einzäunung, alle Haustiere", даже "Stadt"), и заимствовано тюркскими языками в значении "хлев"; далее, возможно, сопоставимы *ovi* и *uksi* "дверь". Касаясь слова *kota*, можно отметить заслуживающие внимания параллели в названиях стран света, которые указывают на то, где находилась дверь шалаша или палатки. Уже в древнетюркских рунических надписях имеются доказательства того, что дверь находилась на восточной стороне, потому что "восток" = "передняя сторона", "запад" = "задняя сторона", "юг" = "правая", "север" = "левая". У финно-угров в этой части была такая же система обозначений, как у монголов, т. е. дверь *kota* помещалась на южной стороне: монг. *emün* означает и "передняя сторона" и "юг", монг. *aru* и тюрк. *jyrγaru* "задняя сторона" и "север". Так же финские слова *perä* "задняя часть" и *pohja* "дно" означают "Boden", "Norden," а саамское *boaššo* — "der Hinterteil des Zeltes". Напротив, в олча-эвенкийском языке соответствующее финскому *perä* слово *pəŋə-g* означает "Boden", *pəŋ-hi* "Westen", точнее: "der Hinterteil des Zeltes". Значит, в этом отношении олча-эвенкийский язык придерживается той же системы, что и древнетюркские языки; из современных тюркских языков, насколько известно, только якутский продолжает придерживаться этого способа обозначений: *ilin* "передняя сторона" и "восток"; *arγā* с первоначальным значением "спина", а как страна света — "запад"; *uŋa* "правый" и "юг"; *saŋas* "левый" и "север" [9]. Названия стран света во многих современных тюркских языках происходят от восхода и захода солнца, например в турецком языке "восток" = *doğu* "восход", "запад" = *baty* «заход». Так же страны света обозначаются и во многих других языках и языковых группах — в венгерском языке, в славянских языках и т. д. Сюда же относится, по-видимому, фин. *itä* "восток", производным которого является глагол *itää* "keimen; ausschlagen" (ср. тюрк. *it*, *üt* «stossen», якут. *üt* "толкать", чуваш. *jət* "heben" > венг. *üt* "schlagen, stechen").

Из названий транспортных средств мной указывались соответствия финского слова *suksi* "лыжа" и слов, означающих различные типы лыж в хантыйском и мансийском, а также слово *purilaat* "волокуша". Можно отметить также некоторые общие названия обуви. Искусство разводить огонь было общеизвестным, на что указывают фин. *nuotio* "костер" (эвенк. *noči* "зажигать"), *keittää* "варить", *kiehua* "кипеть"; венг. *fő* "кипеть" (эвенк. *puyu*, *huju*, "варить"). В алтайских языках имеются соответствия финскому сло-

[9] См. об этом, например: G. Räk, Das System des Raumeinteilung in den Behausungen der norduralischen Völker, II, Stockholm, 1951, стр. 26,

ву *äimä* "большая игла", а также словам фин. *kuroa*, самодийск. *kura-* "вязать сеть" (тюрк. *kura-* "связывать"), фин. *sitoa* "вязать" (монг. *side* "связывать"). Из оружия был известен, по крайней мере, лук со стрелами, возможно также саамский *bul'do*, *puldu* "тупой топор"; это слово Т. Итконен считает первоначальным названием каменного топора (тюрк., монг. *balta*, *baltu* "топор"). Из других слов, указывающих на примитивную технику, можно назвать финск. *kaivaa* "рыть" (соответствия которого как в уральских, так и в алтайских языках имеют также значение "лопата"), *kontti* "котомка" и *kansi* "крышка". Недавно были приведены несколько этимологий, которые показывают, что урало-алтайские народы в период их общности были не только искусными ловцами пушных зверей, но и умели обрабатывать меха [10]. На это указывает много общих слов. Прежде всего, в северных прибалтийско-финских языках встречается слово *turkki* "шуба" и его производное *turkis* "пушнина" (основа *turkikse-*), которое в эвенкийском языке тоже выступает как производное в форме *tǫrgǫ-ksǫ* "обработанная шкура оленя". Финский глагол *nylkeä* "сдирать кожу" имеет в тюркских языках соответствие *jül* в том же значении, а в эвенкийском производное *ňulu-vun* означает "инструмент для обработки шкуры". Далее, саамское *tsagge* "Spanner beim Ledertrocknen", от которого происходят фин. *sinka* в том же значении, *sinkua* "sich dehnen", хант. *šeŋkəta* то же самое ~ эвенк. *sunŋi*, *hunŋi* «Leder ausspannen». Финский глагол *muokata* "обрабатывать" имеет соответствие в эвенкийском: *moŋga* «Leder bearbeiten». Уже было указано также и то, что понятия "свой" и "имущество" (фин. *oma*, *omaisuus*) часто происходят у этих народов именно от "обработанной" "кожи", являвшейся для охотничьих народов лучшим имуществом, в то время как в кочевническую эпоху имуществом был скот; таким образом, эвенкийский глагол *umī-tīǫ j* "размягчать кожу", возможно, связан с фин. *oma* «свой».

Гипотезу о том, что собака была выведена из лисицы, подтверждает, по крайней мере, фин. *peni*(*kka*) «щенок» и его алтайское соответствие, означающее вообще детеныша дикого зверя и в монгольском языке лисицу, ср. также монг. *nokai* «собака», уральское соответствие которого является названием лисицы. По-видимому, к урало-алтайскому периоду относится одомашнение оленей. Доказательством этому являются многие восходящие к общей основе названия оленей; в более южных алтайских языках многие из этих названий стали, однако, означать верблюда. Упомянем здесь фин. *poro* «северный олень», саам. *poarro* (якут., караагасск. *bār* «олень-самец»), саам. *konte* «олень» (монг. *kandagaj* «лось», эвенк. *kandak*), саам. *boaco* «олень» (эвенк. *bucan*, *bocan*, также татарск. и башк. *pušy*); мордов. *śardo* «лось, олень», которому может соответствовать сев.-тюрк. *sardak*, *sartak*); фин. *teva*, *tevana* «лось-самец» (тюрк. *teve*, монг. *temege* «верблюд»). Саам. *kiev*, означающее вообще «самка», получило, по-видимому, позднее в ливском (*kēv*), а также в монгольском и эвенкийском значении «кобыла».

Из диких животных крупные звери, такие, как, например, медведь и волк, в связи с их почитанием и табу не раз получали новые имена (эвфемизмы), так что бесполезно искать их первоначальные наименования. Общие же названия более мелких животных часто сохраняются: фин. *ilves* «рысь» (ср. значащее то же самое уйг. *irbis*, но монг. *irbis* «леопард»; возможно, финское слово сопоставимо с якут. *ilbis* «коварный; дух кровожадности»); фин. *saarva*, вепс. *sagarm*, самодийск. *sārmik* «дикое животное, волк» (якут. *sārba* < *čagarma* «куница; соболь», эвенк. *šagau* «соболь») и венг. *hód* «бобр» (алт. *kumdus* в том же значении); фин. *hiiri* «мышь» ~ эвенк. *šiŋir* то же самое.

[10] M. Räsänen, Über die Lederbearbeitung der ural-altaischen Völker, UAJb, XXXI, 1959.

Названия птиц: фин. *kotka* «орел» (эвенк. *gus*, *gušata* то же самое, тюрк. *kuš* «птица», в некоторых тюркских языках — «орел»), далее *joutsen* «лебедь», *pyy* «рябчик», (*palo*) *kärki* «черный дятел», *kurki* «журавль», карельск. *kükša* «кукша»; *kaleva* «чайка» (тюрк. *kailak*, бурят. *kala*, эвенк. *kelae*), *tiira* (эвенк. *tȳraxī*). Названия птиц часто возникали как звукоподражательные (в соответствии с издаваемыми ими звуками), и поэтому они могли самостоятельно развиться в разных языках. Старинным общим словом может быть также фин. *muna* «яйцо».

Общих названий рыб имеется так мало и они настолько недостоверны, что возникает вопрос, занимался ли вообще древний урало-алтайский пранарод рыболовством, как это позднее делали уральские и финно-угорские народы. По-видимому, эти древние кочевые племена обращали основное внимание на ловлю пушных зверей и на оленеводство. Тем не менее, из названий рыб можно привлечь следующие: *särki* «плотва», *maima*, *toutain* (ср.? якут. *tūt* «лосось-нельма»), *seipi* (ср.? якут. *džajba* — какая-то озерная рыба). Сопоставимы названия некоторых пресмыкающихся и насекомых: *sisilisko* «ящерица» (эст. *sisalik*); *koi* «моль»; *paarma* «слепень», саам. *boaro* «слепень» (тюрк. *hāry*, *ary* «пчела», «оса» < **pāry*), марийск. *karmo* «муха», мордов. *śarko* «гнида»; фин. *täi* «вошь» (ср. эвенк. *ti*).

При изучении вопроса о первоначальном родстве языков особенный вес придают названиям частей тела, так как они реже заимствуются из одного языка в другой. В этой области в уральских и алтайских языках имеется много материала, используемого для сопоставлений. Прежде всего, фин. *pää* «голова» < **päyä*, тюрк. **bäŋ* или **bäŋi* бытует во всей тюркской языковой группе в значении «мозг», в якутском же его соответствие обычно означает «голова»; ср. также монг. (*h*)*eki* «голова», маньчж. *feki* «мозг». Далее, фин. *kalki* «волос»; фин. *sierain*, саам. *sieŋŋa* «ноздря»; фин. *kieli* «язык», *pii* «зуб», саам. *bâvsâ* «губа»; фин. *nikama* «позвонок», *kainalo* «подмышка» (якут. *xōjn* означает то же самое, но вместе с тем, как и в других тюркских языках, еще и «грудь»), фин. *koura* «горсть», *pivo* «горсть», *kynsi* «ноготь», *sydän* «сердце», *ydin* «мозг», *suoli* «кишка», *kuu* «сало», удм. *ńorod* «железа». Из частей тела животных: фин. *säkä* «загривок; холка» (ср. монг. *seger* «верхняя часть спины»), *tohlo* «мягкая сердцевина рогов и когтей» (ср. тюрк. *tugul*, *tokul*, калмыцк. *dugl* в том же значении) и т. д. В этой связи можно упомянуть названия выделений — фин. *sylki* «слюна» и *kyynel* «слеза», венг. *nyál* «слюна, слизь», а также названия явлений болезни — финск. *syylä* «бородавка», *sokea* «слепой», *märkä* «гной».

Для определения прародины часто используют названия растений. Следует, однако, принять во внимание, что, например, названия деревьев могут на новых местах жительства означать другие, родственные деревья, как и названия животных могут быть заменены другими названиями родственных или похожих животных, что было уже отмечено выше. Общих названий деревьев и других растений, важных с точки зрения натурального хозяйства, в уральских и алтайских языках имеется достаточное количество: фин. *kuusi* «ель», монг. *kuši* «карликовый кедр»; напротив, одно угорское название карликового кедра, хант. *teχöt* и т. д., было заимствовано в эвенкийский язык в форме *takty-kān*, а мансийское соответствие *tȳt* этого хантыйского слова широко распространилось в тюркских языках в той же форме, но получив значение «лиственница»; это слово встречается уже в уйгурских источниках и в глоссарии Махмуда Кашгарского. Далее, фин. *petäjä* «сосна», марийск. *pündžö* и т. д. (ср. якут. *bäs* то же самое, сойотск. *pöš* и т. д. «сибирский кедр»); также фин. *koivu* «береза», *tuomi* «черемуха», *pihlaja* «рябина», *kataja* «можжевельник», *paju* «верба, ива». Слова фин. *naava* «лишайник» и *jäkälä*

«ягель» (тюрк. *jägäŕä «мох») наводят на мысль о раннем одомашнении оленя. Части растений: фин. *kuori* «кора», *tyvi* «комель», несколько названий корня и удм. *tuj* «береста», а также *tymä* «растительный клей» (ср. якут. *tümädži* «камбий»).

К этому перечню можно было бы еще добавить лексический материал, в который входят, между прочим, названия небесных тел и явлений природы, а также топографические термины (из которых многие указывают на северный климат), прилагательные, первичные глаголы и т. д. Следует, однако, помнить, что многие слова бытуют только в одной определенной алтайской языковой группе, причем некоторые — на очень ограниченной территории. Тем не менее, настолько обильный лексический материал (за вычетом даже и возможно отбрасываемых слов) является все же важным фактором при установлении урало-алтайского языкового родства.

По приведенным сопоставлениям можно хотя бы отчасти судить об уровне древней урало-алтайской цивилизации. Напротив, вопрос, касающийся местонахождения общей прародины, приходится обсуждать в весьма широких рамках. Г. И. Рамстедт считал урало-алтайское первоначальное родство невозможным по географическим причинам (он помещал урало-алтайскую прародину приблизительно в район Южной Маньчжурии). Однако обсуждаемая здесь тема связана с гораздо более ранними временами. Кочевники того времени (которые не были рыбаками и мореходами) передвигались на собаках, оленях и на лыжах на огромных пространствах, отыскивая богатые дичью и пушниной местности по всей Северной Азии. Отсутствие археологического материала (т. е. находок селений и групповых могил), при том, что громадную территорию Северной Азии нельзя считать в этом аспекте уже картографированной, также не дает пока повода к сомнению относительно высказанной мною гипотезы об урало-алтайском языковом родстве: бытовой уклад людей мезолитического периода мог быть таким, что они не оставили последующим поколениям никаких археологических доказательств о своем существовании [11].

По сведениям К. Доннера, западные эвенки совершали в свое время охотничьи экспедиции далеко на запад, доходя даже до полуострова Канина. Возможно, они продвигались еще дальше к западу. Доказательством этого можно считать название находящегося на Кольском полуострове озера *Imandra*, которое, по-видимому, происходит от слова *imandra*, бытующего в говоре западных эвенков на реке Сым и означающего «снег» (у других эвенков *imanda*, *imanna*). Название водопада *Imatra* может иметь то же происхождение, т. е. означать «Снежный водопад», и дано водопаду из-за его белой пены. У этих же западных эвенков словам *dunna*, *dunda* «земля, лес», употребляемым другими эвенками, соответствует слово *dundra*, от которого через посредство русского языка получен термин *tundra*. Я думаю также, что входящие в топонимию Финляндии названия больших водных систем, которые не могут быть объяснены на основе лексики финских, саамских или индоевропейских языков, могут быть названиями, которые употребляли дошедшие сюда эвенки. Так, названия таких географически близких рек, как *Kemi* (*joki*) и *Simo*(*joki*), встречаются довольно часто на севере СССР. Возможно, эти гидронимы сопоставимы с древним тюркским названием Енисея — *Kem* и названием его крупного западного притока *Sym*, напоминающим *Simo*.

Перевел с финского *А. А. Щербаков*

[11] Показательным в этом отношении является, например, известие о погребальных обрядах, существовавших у якутов еще в прошлом столетии: труп считался в такой мере нечистым, что его относили в глубину леса, клали на сук дерева на растерзание диким зверям и поспешно убегали прочь.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

А. Ф. ЛОСЕВ

О ВОЗМОЖНОСТИ СБЛИЖЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ КЛАССИЧЕСКОЙ И ЛИНГВИСТИКИ СТРУКТУРАЛЬНОЙ

Классическая и структуральная лингвистика не только могут быть сближены, но их сближение уже фактически началось, как мы пытались показать в нашей статье «Логическая характеристика методов структуральной типологии»[1].

Расхождение обоих лингвистических методов основано на абстрактно-метафизическом разделении формы и содержания. Классическая лингвистика взывает к языковому содержанию, структуральная лингвистика — к языковой форме. Однако невозможность существования формы без содержания или содержания без формы не только давно доказана мировой диалектикой, и идеалистической и материалистической, но является необходимым достоянием общечеловеческого здравого смысла.

Структуралисты же, правильно выдвинувшие на первый план язык как систему отношений, тут же стали безмерно увлекаться этой идеей, отрывая языковые отношения от самого языка и мечтая построить какую-то внесмысловую науку о языке. Они забыли, что система языковых отношений еще не есть сам язык, что внесмысловая характеристика языка, проводимая некоторыми структуралистами, имеет своей единственной целью все же осознать не что иное, как именно естественные языки и что, понимая под морфемой, словом и предложением только формальное сочетание «каких угодно» звуков, они оказываются либо вне всякого языкознания, либо изучают именно язык, но с использованием отвергнутой ими же школьной грамматики.

Уступить должны обе стороны. Представителям классической лингвистики придется всерьез отнестись к более глубокому и последовательному оформлению своих категорий с точки зрения логики и всерьез учитывать то, что языка не существует вне языковых отношений. Но, пожалуй, не меньшие уступки должны сделать и стуктуралисты. Приведение науки о языке к математическому виду необходимо математикам и конструкторам различных языковых машинных автоматов. Но это не имеет никакого отношения к самой теории или истории языка. Не стоит упрекать структуралистов в том, что они для своих утверждений используют обозначительный аппарат математической логики и стремятся к нагромождению буквенных формул вместо ясных и простых словесных тезисов. В этом нет ничего плохого. Однако под этим упорством представить все в науке о языке в виде буквенных формул кроется вредное намерение построить науку о языке вне всякого содержания и заменить живую грамматику внесмысловыми таблицами. На это, конечно, никакой представитель классической лингвистики не пойдет. Но фактическая картина современного языкознания не внушает столь серьезных и безнадежных опасений. Скорее можно рассчитывать на сближение и примирение, т. е. на такое соединение двух методов, когда они являются либо двумя

[1] ВЯ, 1967, 1.

соподчиненными методами, либо двумя сторонами одного и того же метода, либо просто одним и тем же методом в разных аспектах.

Следует указать на некоторые явления в современной лингвистике, которые в этом смысле могут иметь положительное значение.

Можно указать на длинный ряд работ одного из тонких исследователей языковых структур, именно С. К. Шаумяна. Этот исследователь на первый взгляд представляется отравленным всеми ядами современного отвлеченного структурализма. Он любит бесконечные обозначения, имеющие только стенографический, но не математический смысл. Он мало и неохотно приводит примеры из естественных языков. И его лингвистическая теория вовсе даже и не имеет в виду изучать какие-нибудь естественные языки, а дает их чисто логическую теорию [2]. Наконец, его изложение настолько уснащено иностранными терминами, и настолько старается терминировать каждый малейший шаг мысли, и настолько не считается с обычными нормами общей лингвистики, что часто это доходит до смешного. Однако впечатление это от работ С. К. Шаумяна поверхностное. На самом деле в них содержится часто весьма тонкий анализ предмета, хотя применять этот анализ к изучению естественных языков С. К. Шаумян предоставляет другим и хотя работы его предварительно еще требуют своего перевода на русский язык. Наконец, никому другому, как именно С. К. Шаумяну, принадлежит попытка связать структурализм с основами марксистско-ленинской философии и доказать законность и необходимость структурных теорий именно с точки зрения марксистско-ленинского языкознания [3].

Относительно общеиндоевропейского языкознания здраво и спокойно рассуждает Э. А. Макаев, а также и другие [4]. Такие же тенденции можно наблюдать и в современной советской германистике, и в славистике [5].

М. И. Бурлакова, Т. М. Николаева, Д. М. Сегал, В. Н. Топоров [6] исходят из более сложного понятия типа, не сводя его ни к простой сумме признаков, ни к родовой общности, ни к результату классификации. Они пишут: «Речь идет о переходе старого "классификаторского" принципа определения научных понятий (в частности, типа) к новому типу „ступенчатого" (abstufbar) образования этих понятий. Последний заключается в том, что не просто классификационно описывается данное явление (например, тип), но указывается его место в „признаковом пространстве" (Merkmalraum), каждое измерение которого определяется градацией одного из признаков» [7]. Здесь дается несомненно более тонкое учение о типе, но указанные авторы, насколько можно судить, не отдают себе полного отчета во всех тех трудностях, которые возникают у исследователя в связи с таким понятием типа. Кроме того, эти авторы слишком резко противопоставляют типологический метод генетическому и ареальному, и даже

---

[2] Ср. особенно его работу «Структурная лингвистика как имманентная теория языка», М., 1958.

[3] С. К. Шаумян, Философские идеи В. И. Ленина и развитие современного языкознания, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», 1961, 31. В сравнении с этим докладом С. К. Шаумяна статья А. Граура «Структурализм и марксистская лингвистика» (ВЯ, 1958, 1) носит гораздо более общий характер.

[4] Э. А. Макаев, Проблемы и методы современного сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, ВЯ, 1965, 4; Г. С. Клычков, Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского праязыка, ВЯ, 1963, 3; В. Г. Адмони, Развитие структуры простого предложения в индоевропейских языках, ВЯ, 1960, 1.

[5] См., например: Э. А. Макаев, Структура и стратиграфия общегерманской лексики, ВЯ, 1965, 5; В. К. Журавлев, Генезис протезов в славянских языках, ВЯ, 1965, 4.

[6] В своей работе «Структурная типология и славянское языкознание» (сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962).

[7] Там же, стр. 7.

отказывают своему понятию изоморфизма в хронологическом моменте [8]. Негенетическая и нехронологическая, внелокальная типология нам непонятна. Примеры же, приводимые указанными авторами из области славянских языков, равно как и список обширной литературы, приводимой в их статье, свидетельствует пока о самых начальных попытках; а те намерения и планы, которые формулируются в их статье, либо рассчитаны на несколько десятилетий усиленной работы, если не на целое столетие, либо просто невыполнимы (особенно в связи с идеей общей грамматики) [9]. Трудности возникают также и в связи с определением модели у названных авторов. Понимая под математической моделью аксиоматическую конструкцию, авторы говорят о соответствии ее каким-то объектам, под которыми, очевидно, нельзя понимать сразу же физические объекты, поскольку отнюдь не всякое аксиоматически конструированное пространство обязательно должно соответствовать какому-нибудь реальному физическому пространству. Поэтому совершенно непонятно не только утверждение, что математические модели аппроксимируют отношения внутри системы реальных объектов, но уже совсем непонятно (а если с известной точки зрения и понятно, то уж вовсе невыполнимо) конструирование таких языковых моделей, которые были бы одновременно и аксиоматической дедукцией и объяснением бесчисленного числа языковых фактов [10]. В сравнении с этим является гораздо более реалистическим и весьма полезным пожелание И. И. Ревзина дополнить существующую типологию языков двумя другими принципами — однородности и неоднородности языка и полной или неполной трансформации [11].

В частности, та идея порождающей грамматики, которая принадлежит С. К. Шаумяну, в порядке делового обсуждения предмета иной раз сама собой начинает себя проявлять у тех исследователей, которые и не собирались специально говорить о такой грамматике. В другой своей статье [12] мы уже говорили о принципе вариативности, который выдвигается Б. А. Серебренниковым при обсуждении понятия языкового типа. Такова также, например, работа В. М. Жирмунского, доказавшего наличие в германских языках общей историко-фонетической закономерности, сводящейся к динамической направленности общегерманского силового ударения, с учетом местных оригинальных тенденций [13]. Такова характеристика структуры слова в древнейших рунических надписях, которую дает Э. А. Макаев [14] на основе типологического сравнения с древнеиндийскими языками, в связи с историей морфемной и полиморфемной акцентуации.

Специальной расшифровки требует работа «О возможности стуктурно-типологического изучения некоторых моделирующих семиотических систем» [15]. Если не входить в рассмотрение специфически-структуралисти-

---

[8] Там же, стр. 4, 5, 7.

[9] Там же, стр. 6, 9, 17.

[10] Там же, стр. 9.

[11] И. И. Ревзин, О понятиях однородного языка и языка с полной трансформацией (ЯПТ) и возможности их применения для структурной типологии, сб. «Структурно-типологические исследования». Даваемые здесь И. И. Ревзиным определения однородности и трансформации на этот раз являются вполне ясными, но только давать мы их предпочитаем в более простой форме.

[12] А. Ф. Лосев, Логическая характеристика методов структурной типологии, стр. 69.

[13] В. М. Жирмунский, Общие тенденции фонетического развития германских языков, ВЯ, 1965, 1, стр. 20—21.

[14] Э. А. Макаев, Язык древнейших рунических надписей, М., 1965, стр. 92—95.

[15] А. А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, сб. «Структурно-типо огические исследования».

ческой» и весьма нарочитой терминологии, которая здесь употребляется, и если обращаться не только к мифу, о формализации которого здесь идет речь, но также и к языку, на который авторы тоже постоянно ссылаются, то эту концепцию, кажется, можно выразить очень просто. Во-первых, требуется чисто теоретическое исследование того, что такое миф и язык и какие возможны теоретические их типы с точным указанием дифференциальных признаков, т. е. требуется «единая» максимально полная система, которая может реализоваться в отдельных мифах и языках. Во-вторых, должны быть изучены мифы и языки исторически, т. е. в виде отдельных периодов с нагромождением в них всех реальных существенных и несущественных признаков [при этом авторы не избегают логической ошибки circulus viciosus[16] (теорию они строят на истории, а историю на теории)]. В-третьих, история мифа и языка должна строиться так, чтобы каждый исторический период давал не картину во всей ее конкретности, но только систему царящих в ней отношений, т. е. структурно. И, наконец, в-четвертых, установленные исторические системы должны быть возводимы к системам все более и более общим, вплоть до предельного метамифа и метаязыка. В этой концепции необходимо положительно оценить такие принципы, как многомерность или многоярусность при описании мифов и языков, различные комбинации дифференциальных признаков для каждого отдельного типа, возможность далеко отстоящих друг от друга изоморфов, внутренняя реконструкция разных семиотических систем, статистическая обработка материалов, и наконец, понимание системы как активно моделирующего принципа. Все это чрезвычайно важно для языкознания, хотя указанная статья прямо-таки поражает полным отсутствием конкретных примеров из естественных мифологий и языков. Само понятие структурной типологии как теории моделирующих систем звучит у этих авторов богаче, чем в других работах на эту тему. Моделирующая система, насколько можно судить, ничем не отличается у них от порождающей грамматики С. К. Шаумяна.

Следует отметить также работу Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова «К реконструкции праславянского текста» [17]. Этим же авторам принадлежит книга «Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период)» (М., 1965). Последняя работа, посвященная реконструкции славянских мифов, производит гораздо более слабое впечатление, ввиду большой разбросанности материалов и ввиду отсутствия точно проводимого метода формализации. Особенно показательны в этом отношении две последние главы книги, в которых говорится о системе записи и приводятся примеры формализации текстов. По-видимому, авторы плохо отличают формализацию от условной регистрации и от стенографии. Если N есть имя или именная группа, а индексы этого N обозначают падежи, или *Pron* — местоимение, а *Prp* — предлог, то ясно, что это не формализация, а только стенография. Однако стенография текста есть чистая условность, не имеет никакого отношения к делу и ничего собою не формализует.

Примеров того, как проявляется в настоящее время тяга к взаимному сближению передовой традиционной и структуральной лингвистики, можно было бы привести множество. Из иностранных ученых, идущих в своей разработке сравнительной грамматики в направлении структурализма, можно было бы отметить Г. М. Хёнигсвальда и У. Ф. Лемана [18].

---

[16] Там же, стр. 135.

[17] «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов», М., 1963.

[18] H. M. Hoenigswald, Language change and linguistic reconstruction, Chicago, 1960; W. Lehmann, Historical linguistics, New York, 1962.

Постепенную сдачу первоначальных непримиримых позиций в направлении науки об естественных языках можно наблюдать также по многочисленным статьям и выступлениям Вяч. Вс. Иванова. В 1957 г. этот исследователь еще мог написать такую фразу: «... язык можно изучать как систему выражения математических категорий» [19]. Отсюда прямо вытекает, что язык является не чем иным, как системой чисто количественных операций. Правда, в дальнейшем в этой статье Вяч. Вс. Иванов признает необходимость также и вероятностного анализа естественного языка для сравнения этого последнего с языковой системой — кодом, который устанавливается только методами математической логики и теории множеств. Однако автор не приводит здесь ни одного примера ни на логически-математический, ни на теоретико-множественный, ни на вероятностный анализ теории языка, ни на взаимное сравнение всех этих областей, что, конечно, и невозможно сделать, а в 1957 г. это было просто фантастикой. Уже в 1958 г. Вяч. Вс. Иванов взывает к языку как к «целостной структуре» и протестует против тех традиционных лингвистов, которые продолжают ограничиваться отдельными разрозненными наблюдениями [20]. Но прослеживая дальнейшую эволюцию взглядов Вяч. Вс. Иванова [21], можно сказать, что в своей концепции 1966 г. [22] он занимает уже чрезвычайно мягкую позицию, во многих отношениях приемлемую даже для принципиальных противников структурной лингвистики. По мнению Вяч. Вс. Иванова, внутренняя реконструкция «по существу перекидывает мост между изучением структуры языка и реконструкцией его истории». Правда, противники структурной лингвистики тут же хотели бы поточнее знать, что такое внутренняя реконструкция, широко применяемая, по Вяч. Вс. Иванову, в современной лингвистике. Но автор и здесь допускает обычную для структуралистов логическую ошибку idem per idem: метод внутренней реконструкции есть метод, «основанный на внутреннем анализе системы одного языка».

Для внутренней реконструкции истории языка, сказано далее у Вяч. Вс. Иванова, очень важен метод порождающих грамматик, который тоже, по мнению автора, сближает структурный и исторический методы. Вероятно, это так и есть. Но что построение порождающих грамматик явилось «результатом развития методов структурного и математического описания языковой системы» — это уже сомнительно, так как порождающая грамматика имеет весьма мало общего с каким-нибудь отделом математики. Можно с удовлетворением принять попытки автора сблизить синхронное и диахронное описание, хотя соответствующие работы А. А. Зализняка и М. Халле вызывают очень много разных сомнений. Е. Курилович пытался не без успеха в своей последней монографии о словоизменительных индоевропейских категориях объединить сравнительно-историческое исследование с типологией; и хорошо, если Вяч. Вс. Иванову в дальней-

---

[19] Вяч. Вс. Иванов, Языкознание и математика, «Бюллетень объединения по проблемам машинного перевода», 1957, 5. Там же ср.: Вяч. Вс. Иванов, О некоторых понятиях сравнительно-исторического языкознания, стр. 53—54.

[20] Вяч. Вс. Иванов, Типология и сравнительно-историческое языкознание, ВЯ, 1958, 5, стр. 34.

[21] Ср.: Вяч. Вс. Иванов, Вопросы математической и прикладной лингвистики на VIII Международном лингвистическом конгрессе в Осло, «Бюллетень объединения по проблемам машинного перевода», 1958, 6; его же, Теория отношений между языковыми системами и основания сравнительно-исторического языкознания, «Тезисы совещания по математической лингвистике 15—19 апр. 1959 г.», Л., 1959; его же, Математическая лингвистика, «Аннотация пленарных докладов IV всесоюзного математического съезда», Л., 1961.

[22] Тезисы доклада «О соотношении между сравнительно-историческим языкознанием и структурным описанием языков» на расширенном заседании Бюро Отделения литературы и языка АН СССР 25 января 1966 г.

нием удастся применять этот синтетический метод. Нельзя не признать отходом от прежних несгибаемых позиций также допущение толковать индоевропейский «праязык» и как реальную историческую данность, и как только логическую структурную модель. Неожиданна также похвала у Вяч. Вс. Иванова по адресу нашей Казанской лингвистической школы, которая будто бы в чем-то совпадает с Блумфилдом и Лаунзбери, равно как и заявление о необходимости снять противопоставление синхронии и диахронии и, еще больше того, языка и речи и даже лингвистики и поэтики. Синтетизм теперешних взглядов Вяч. Вс. Иванова доходит до того, что языки в структурном отношении сближаются у него и со всеми другими науками, вроде антропологии или этнографии, так что структурно-изученный язык оказывается только моментом некоей общей социально-исторической структуры. Несмотря на фантастичность такого рода проектов, уже самый факт их планирования свидетельствует об отрадном для всякого лингвиста отказе структуралистов от своего абсолютизма, от непримиримой изоляции, а также от презрения к традиционным методам лингвистики и других гуманитарных наук.

Приведем еще ряд примеров, ярко свидетельствующих о том, как можно разрабатывать структурную лингвистику, не только не пользуясь математическими формулами, но даже и самим термином «структура». Первым таким примером может явиться воззрение одного из основателей самого же структурализма, а именно Н. С. Трубецкого, на индоевропейскую проблему. В своей талантливой работе на эту тему [23] Н. С. Трубецкой допускает прежде всего ряд логических промахов, на которые необходимо указать, хотя говорить мы сейчас собираемся о другом. Он начинает свою работу с фразы: «Индоевропейцы — это люди, родной язык которых принадлежит к индоевропейской семье языков». Но дело не в этой тавтологии. Дело в том, что соединив индоевропейский язык с индоевропейским народом, он тут же от этого народа отказывается и, уж тем более, от пранарода, а представляет себе индоевропейский язык в виде смешанных языков разных народов, когда эти языки пришли к единству путем «конвергенции» совершенно разных языков. Об этом у Н. С. Трубецкого целое рассуждение [24]. Далее этот автор указывает шесть признаков, которые он называет структурными, для языка индоевропейского семейства. Признаки эти относятся главным образом к сочетаемости и положению звуков и только один к положению подлежащего во фразе. Признаки эти — настолько внешние и поверхностные, что языковедам нетрудно было их опровергнуть [25]. Да и сам Н. С. Трубецкой тут же высказывает свою неуверенность в этом вопросе, считая свои заключения не столько необходимыми, сколько более или менее вероятными [26].

Но статья Н. С. Трубецкого приводится здесь не для этого. Дело в том, что Н. С. Трубецкой на основании многочисленных фактических данных довольно убедительно доказывает, что семейство индоевропейских языков постепенно продвигается от гипертрофированно-флективного типа северокавказских, или точнее, восточнокавказских языков к агглютинирующему типу угро-финских и алтайских языков. Н. С. Трубецкой считает предрассудком общераспространенное мнение о примитивном характере агглютинации. С его точки зрения, эта последняя указывает на более совершенный тип языка (небольшой инвентарь экономно используемых фонем, неиз-

---

[23] Н. С. Трубецкой, Мысли об индоевропейской проблеме, ВЯ, 1958, 1.
[24] Там же, стр. 65—70.
[25] Э. Бенвенист нашел эти же шесть признаков в явно неиндоевропейском языке такелма (штат Орегон, США) (см.: Э. Бенвенист, Классификация языков, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 48).
[26] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 74—75.

меняемые и стоящие в начале слова корни, отчетливо присоединяемые друг к другу и всегда вполне однозначные суффиксы и окончания) в сравнении с флективностью (где мы находим трудно уловимые, ввиду изменчивой огласовки, корни и расплывчатые префиксы и суффиксы, часто трудно отделяемые от корня и весьма многозначные). Рисуется тысячелетняя драматическая история индоевропейских языков, в которой весьма нетрудно рассмотреть многие категории современного структурализма, но совершенно без всякой его терминологии. Мне трудно судить о правильности всей этой исторической картины, потому что я не владею теми десятками и сотнями языков, которые были в горизонте Н. С. Трубецкого, и потому оценивать эту его концепцию я не берусь. Однако, если признать, что он действительно прав, то флективные языки можно назвать метаязыком для индоевропейских, а индоевропейские языки — метаязыком для угро-финских и урало-алтайских. Также можно сказать, что первые языки есть порождающая модель для вторых, а вторые — порождающая модель для третьих. Также можно сказать, наконец, и о том, что процессы преобразования первых языков во вторые и вторых в третьи есть процессы трансформации.

Таким образом, Н. С. Трубецкой, не пользуясь никакой специальной структуралистской терминологией, дал картину мирового развития языков в терминах обычного сравнительного языкознания. Приблизительно такого же рода воззрение формулирует у нас Б. А. Успенский, но уже используя весьма изысканный аппарат новейших терминов и обозначений. В порядке восходящей иерархии «метаязыка» Б. А. Успенский [27] формулирует ряд: языки аморфные, инкорпорирующие, агглютинативные, флективно-агглютинативные и просто флективные. Это порядок — обратный тому, который имеется у Н. С. Трубецкого. Однако разница этих двух представлений о метаязыках является по преимуществу терминологической. Если миновать детали и не гоняться за точностью изложения, то в общем можно сказать, что структурное отношение языка остается одним и тем же, излагать ли их иерархию в восходящем или нисходящем порядке. Важно только то, что во многом близкие одна к другой структурные картины могут излагаться и с помощью очень сложной структуралистской терминологии, соединенной к тому же с ненужными буквенными обозначениями, и с помощью обычной сравнительно-исторической терминологии без всяких буквенных обозначений и без всяких псевдоматематических операций.

Если какой-нибудь факт языка обозначить буквой A, другой — буквой B и третий — буквой C, а появление первого факта в разных видах — как $X_1, X_2 \ldots X_n$ и соответственно для B и C употребить латинские буквы y и z и, кроме того, придумать еще какие-нибудь знаки для выражения отношения между A, B, C, между x, y и z да еще между x_1, x_2 и т. д. и то же самое в области y и z, то в результате всей этой кабалистики можно нарисовать весьма замысловатую картину, которая будет иметь вполне математический вид, но которая не будет иметь никакого отношения к математике, поскольку она будет отражать отношения, царящие только в языке, но вовсе не какие-нибудь количественные отношения.

Следует коснуться некоторых общих вопросов индоевропейского языкознания. То, что синхронный структурализм причинил большой вред сравнительно-историческому индоевропейскому языкознанию и одно время даже требовал его отмены, это известно всем достаточно хорошо. Однако сравнительно-историческое индоевропейское языкознание еще со времен младограмматиков создало такую огромную и, несмотря на отдельные

[27] Б. А. Успенский, Принципы структурной типологии, М., 1962, стр. 26—36.

недочеты, несокрушимую научную дисциплину, что отрицание сравнительно-исторического метода производило, скорее, комическое, чем какое-нибудь серьезное научное впечатление. Поэтому голоса в защиту сравнительно-исторического метода никогда не прекращались, а в последнее время даже усилились, и так как сравнительно-историческим методом пользуются сейчас также и многие структуралисты, то это тоже необходимо считать признаком сближения классического и структурального языкознания.

Широкую картину современного индоевропейского языкознания, весьма далекую от самодержавного господства какой-нибудь одной теории, можно получить при рассмотрении некоторых новейших изданий [28]. Характеризуя особенности новейшей индоевропеистики, Э. А. Макаев считает необходимым привлечение целого комплекса соседних дисциплин — археологии, этнографии, антропологии, истории, сравнительной мифологии, религии, а также данных сравнительной и исторической грамматики и некоторых аспектов общего языкознания. «Отличительной чертой современного состояния индоевропейского языкознания является синтезирование различных приемов исследования, не рядоположное, а совместное, перекрестное рассмотрение языковых феноменов при посредстве вышеозначенных дисциплин. Так, некоторые особенности интерференции индоевропейских диалектов получают более содержательную интерпретацию. При привлечении данных структурной сравнительной мифологии, описание протоиндоевропейской фонологической и морфологической системы становится более рельефным на основе типологического анализа. Можно полагать, что одной из ближайших и важных задач индоевропеистики второй половины XX в. явится построение индоевропейского сравнительного языкознания на основе единых структурных приемов описания всего комплекса относящихся сюда дисциплин» [29]. Тому, кто знаком с основами индоевропейского языкознания начала XX в., подобная характеристика сразу покажет, насколько это языкознание в настоящее время ушло вперед и какую роль тут играет структуральная типология, служащая для сближения старой и новой лингвистики [30].

Собственно говоря, еще в 1957 г. в дискуссии в Институте языкознания АН СССР на тему о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка (подобного рода дискуссии были здесь и раньше) выяснилась потребность и необходимость совмещения синхронного и диахронного изучения языка, равно как и совмещение структурального и исторического метода. Просмотр докладов этой дискуссии ясно свидетельствует о том, что уже тогда никто не стоял на позиции полного разрыва обоих методов. Да и что касается зарубежного языкознания, то может быть только копенгагенская глоссематика и американская дескриптивная лингвистика резко отделяли себя от всякого историзма. Четыре основных доклада этой дискуссии — Б. В. Горнунга, А. А. Реформатского, В. Н. Ярцевой и Р. А. Будагова,— без больших усилий могут быть сведены в единое целое, как об этом говорили многие другие участники этой дискуссии. С. К. Шаумян даже просто высказывался только против метафизического понимания историзма и вовсе не отрицал его диалектического понимания [31].

---

[28] См., например, сб. «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Научная сессия. Тезисы докладов», М., 1964.

[29] Э. А. Макаев, Проблемы и методы современного сравнительно-исторического языкознания, указ. сб., стр. 5.

[30] Э. А. Макаев на стр. 8 своего доклада говорит о применении в индоевропейском языкознании также и математических методов.

[31] Об этой дискуссии можно кратко прочитать в ИАН ОЛЯ, 1957, 6, стр. 556—568.

Правильную борьбу диалектики с метафизикой, т. е. категорий, основанных на непрерывном становлении, и категорий, основанных на их дискретной разобщенности, мы находим и у других советских исследователей, например, у Б. В. Горнунга, и притом не только в указанном нами сейчас докладе 1957 г., но и, например, в докладе 1964 г., когда этот исследователь указывал на спутанность и смешение основообразования, словообразования и формообразования в индоевропейских языках [32], не говоря уже о текучести здесь прочих более мелких элементов. Тут же можно привести статью П. С. Кузнецова «О диахроническом соотношении форм словообразования и словоизменения в индоевропейских языках» [33]. После такого рода работ резко противопоставлять между собой словообразовательные и словоизменительные показатели, особенно в плане исторического исследования становится совершенно невозможно. Устойчивые соотношения здесь возникают лишь в результате огромных тысячелетних процессов, да и то однажды возникшая устойчивость всегда далека тут от какой-нибудь абсолютности. В связи с этим следует указать еще и на другие труды П. С. Кузнецова, важные для понимания морфологических показателей с точки зрения их становления: «Очерки по морфологии праславянского языка» (М., 1961), «К вопросу о расхождении в морфологических формах средневековых церковнославянских текстов, восходящих к общему протографу» [34]. «К вопросу об общеиндоевропейской форме родительного падежа» [35]. Живительная сила диалектического становления в подобного рода исследованиях стирает всякие метафизические грани между языковыми элементами и прежде всего между структурализмом и историзмом, как равно и между синхроническим и диахроническим методами, сохраняя в то же время и полную возможность отдельного изучения этих элементов, как и вообще непрерывность и прерывность в диалектике являются таким единством, которое оставляет нетронутым составляющие его противоположности.

К сожалению, современное индоевропейское языкознание отнюдь не всегда стоит на точке зрения такого диалектического становления. Последнее отнюдь не всегда да и то с большим трудом обнаруживается в сборнике под ред. В. Н. Топорова [36]. Зато другие издания весьма удачно выдерживают этот принцип языкового становления и тем весьма помогают диалектически сблизить классическое и структуральное языкознание. Таков, например, упомянутый выше сборник «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков». О статье Э. А. Макаева в этом сборнике уже говорилось выше. Также цитировался выше сделанный на этой сессии и впоследствии расширенный доклад Б. В. Горнунга. Интересно, далее, будет отметить, что на этой же сессии Н. С. Чемоданов рассматривает лингвистическое родство именно как процесс, а не как мертвую субстанцию [37].

А. А. Белецкий на основании известного исследования В. Лемана [38] дает интересную и четкую историю фонематических систем индоевропей-

---

[32] Б. В. Горнунг, К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?), М., 1964, стр. 29, 32 (ротапринт).

[33] «Вестник МГУ», Серия X. Филология, 1966, 1.

[34] Сб. «Проблемы современной филологии. К 70-летию акад. В. В. Виноградова», М., 1965.

[35] Сб. «Проблемы сравнительной филологии. К 70-летию чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунского», М.—Л., 1964.

[36] «Проблемы индоевропейского языкознания», М., 1964.

[37] Н. С. Чемоданов, Лингвистическое родство как процесс, «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков».

[38] W. P. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1952. Чтение книги В. Лемана производит прямо-таки эстетическое впечатление своей постоянной

ских языков с выводами для проблемы реконструкции доисторических систем. Здесь мы находим сначала доакцентную, а потом акцентную стадию доиндоевропейского языка, за которой следует потеря минимальным акцентом своей силлабичности и приобретение максимальным акцентом своей долготы. Далее следует период неразличительного акцента, когда аллофоны силлабичности становятся уже фонемами. Возникает различительная интонация с развитием из гласных с восходящим тоном определенных аллофонов. Эти аллофоны далее переходят в фонемы, тоже определенного качества и количества. Наконец, падение ларингальных — вопрос достаточно сложный, от подробного изложения которого мы здесь отказываемся,— приводит доиндоевропейскую систему к той, которую можно назвать уже протоиндоевропейской. А очень сложные дивергентные процессы приводят протоиндоевропейский язык и к диалектам, по которым можно судить уже о и конкретных индоевропейских языках. Эта, правда, слишком сложная история доиндоевропейского и протоиндоевропейского языка, вносит определенную диалектику в нашу традиционную индоевропейскую грамматику, так что становится не только возможным, но прямо необходимым уничтожение всяких непроходимых границ между классическими и структуральными методами.

Следует указать на Э. А. Макаева. В последние годы он сделал ряд публикаций, ценных для живого языка, не сводимого ни к неподвижным структурам, ни к иррациональной и непрерывной подвижности, недоступной для засвидетельствования даже при наличии надежных письменных памятников. Этот автор вводит в современное языкознание понятие давления системы языка, которое он отличает как от старых наблюдений с помощью методов аналогии, так и от самой системы языка. Систему языка Э. А. Макаев понимает как «взаимодействие и взаимообусловленность конститутивных единиц всех уровней языка на определенном этапе его развития, образующих в своей совокупности его структурную модель на одном из уровней». Поскольку система языка состоит из определенных инвариантов с обязательным сопровождением их теми или иными вариантами, поскольку вариативность является, согласно мнению автора, не только непременным признаком определенного уравня языка, но и самой языковой системы. Ясно, что языковой уровень, перегруженный сложной архитектоникой, меньше проявляет свою вариативность, а чем он проще, тем вариативность сильнее. Давление системы языка также нельзя рассматривать как абсолютный императив, поскольку бесконечное разнообразие данного уровня, а также и та или иная его структурная осложненность могут оказывать сильнейшее сопротивление этому давлению. Необходимо иметь в виду также и то, что давление системы убывает там, где возрастает степень информации, сообщаемой о единицах языка различных уровней и их конститутивных признаков, равно как и давление системы языка возрастает с убыванием степени информации соответствующих единиц языка. Ясно, что в сравнении с агглютинативными языками в фузионных (например, в индоевропейских) языках давление системы значительно ослабляется[39].

В 1964 г. Э. А. Макаев издает книгу под названием «Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики», где лингвист полностью преодолевает все метафизически неподвижные категории старого индоевропейского языкознания, поскольку выдвигаемые здесь понятия центральных

опорой на живую подвижность языка, в сравнении с чем старый индоевропейский праязык, которому нас обучали в первое десятилетие XX в., кажется какой-то безжизненной и неподвижной каменной глыбой.

[39] Э. А. Макаев, Понятие давления системы и иерархия языковых единиц, ВЯ, 1962, 5.

и маргинальных языков, западной и восточной общности, архаизма и инновации, критерий классификации индоевропейских языков, реконструкции различных особенностей, проблема самого индоевропейского языка и его диалектов теряют свою неподвижность, рассматриваются в их постоянном становлении, допускают самые разнообразные лингвистические комбинации и превращаются в волнующееся море языков и диалектов, то густо переплетенных между собою, а то и значительно удаленных друг от друга. Эта же идея становления проводится Э. А. Макаевым и в области индоевропейской этимологии [40]. В нашей науке обычно спорили о том, нужно ли реконструировать целое индоевропейское слово или только его корень. Автор показывает, что дело тут не в слове и не в корне, а в степени глубины проникновения в наиболее хронологически отдаленную от нас структуру основных этимологических единиц,— лексемы, корня, детерминативов, преформантов. Поэтому и определение индоевропейского этимона связано с разной степенью глубины структурно оформленного на соответствующем этимологическом уравне фономорфологического и семантического комплекса, объясняющего собою ту или иную лексему или группу производных образований того или иного индоевропейского языка. Хронологическое понимание таких соединений, как «корень плюс определенный набор детерминативов» или «преформант плюс корень плюс детерминатив» или «преформант плюс корень», каждый раз оказывается разным в зависимости от характера языкового материала. Реконструкция индоевропейского этимона осложняется еще и явлением семантической экстраполяции, требующей к себе самого строгого отношения. Наконец, как это ясно само собою, не только этимон, но и цельное индоевропейское слово должно получать у Э. А. Макаева тоже усложненную характеристику. Все это содержится в его докладе «Структура слова в общеиндоевропейском» [41]. Автор критикует взгляд А. Мейе на автономность индоевропейского слова, понимаемого лишь как отвлеченная совокупность словоформ. По мнению Э. А. Макаева, слово представляет собою нечто гораздо более гибкое, зависящее от языкового уровня, от акцентной организации, от тех или иных сандхи, от наличия проклизы и энклизы. «Представляется более целесообразным фонетические слова рассматривать как фразовые отрезки, содержащие в себе в качестве ядра полнозначное слово, ограниченное проклитиками и энклитиками, имеющие единую акцентную схему и одну акцентную вершину» [42].

Работы Э. А. Макаева стоят выше раскола между классической и структуральной лингвистикой. С этой точки зрения высокой оценки заслуживает также работа И. М. Тронского «Общеиндоевропейское языковое состояние» (Л., 1967), к тому же поучительным образом совмещающая в себе исследовательский элемент и популярную доступность.

Приведем также примеры критики противопоставления классической и структуральной лингвистики и в отдельных областях индоевропейской лингвистики. Если приводить примеры из области германского языкознания, можно сослаться еще на сессию по германскому языкознанию, проходившую в 1956 г. в Институте языкознания АН СССР. Достаточно отметить хотя бы доклад В. М. Жирмунского «Сравнительно-историческая грамматика и диалектология» [43], в котором отвергаются традиционные методы реконструкции германского праязы-

[40] Э. А. Макаев, Реконструкция индоевропейского этимона, ВЯ, 1967, 4.
[41] «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов», М., 1967.
[42] Э. А. Макаев, Структура слова в общеиндоевропейском, стр. 249.
[43] «Материалы первой научной сессии по вопросам германского языкознания», М., 1959.

ка на основании разнородных и мертвых памятников письменности. В. М. Жирмунский конструирует общенародный германский язык с привлечением говоров и диалектов живого народа, которые можно непосредственно слышать и оценивать; общегерманский язык трактуется у него не как мертвая и неподвижная субстанция, лишенная всяких подвижных тенденций и борьбы, но как становящаяся и исторически обусловленная общность.

Что касается романского языкознания, то можно указать на сборник «Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков» (М., 1966), производящий, к сожалению, впечатление абстрактных штудий, хотя один из редакторов этого сборника, М. С. Гурычева, достаточно ясно противопоставляет сравнительно-историческую грамматику романских языков и их типологию, а также пытается объединить генетическую теорию с теорией синхронного структурализма [44].

Укажем также на работу Р. А. Будагова «Проблемы изучения романских литературных языков», где, правда, идет речь не о народных, а о литературных языках, но зато используется то правильное соотношение этих языков, которого было лишено и старое языкознание, и старое литературоведение. Так, литературный язык характеризуется исторической подвижностью своей формы; а кроме того, и сама закрепленность литературной формы языка, согласно этому автору, весьма относительна и условна [45]. Поэтому у автора проводится правильная точка зрения, что не всякий письменный памятник демонстрирует собою литературную форму языка, а без этого нельзя и судить о возникновении литературного языка [46]. Осложненным и весьма подвижным является также и вообще взаимоотношение литературных и народных языков [47].

Пример совмещения синхронно-структурального и диахронно-исторического методов в области романского языкознания представляет также работа Ю. С. Степанова «Французская стилистика» (М., 1965).

В области славянского языкознания также начинают ярко фигурировать идеи подвижности и становления, противоположные мертвой неподвижности математической и структурной формулы. Так, С. Б. Бернштейн в цитированных материалах Межвузовской научной сессии 1964 г. по проблемам сравнительной грамматики индоевропейских языков в Москве исследует происхождение праславянского аблаута с точным учетом как праиндоевропейских процессов, так и процессов новых, уже чисто славянских [48]. Хотя вопрос о праславянской грамматике уже давно стоит в науке и даже имеются попытки ее конкретной реконструкции (Г. Ильинский, А. Мейе), однако различного рода фонетические и фонологические причины (позиция гласного, судьба индоевропейских слоговых сонантов, новые количественные закономерности) и другие причины приводят к более резкому разграничению редукции просто и нулевой редукции, к принципиальному неотличению чередования кратких (вернее сверхкратких) и долгих гласных в позднейшей редукции от количественных чередований на нормальной ступени и к признанию ранней утраты качественных чередований кратких монофтонгов в сравнении с продуктивными чередованиями кратких и долгих, к установлению того факта, что много-

---

[44] М. С. Гурычева, К вопросу о сравнительно-типологическом изучении романских языков, сб. «Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков».

[45] Р. А. Будагов, Проблемы изучения романских литературных языков, М., 1961, стр. 6.

[46] Там же, стр. 14.

[47] Там же, стр. 24.

[48] С. Б. Бернштейн, К истории праславянского аблаута (ступень редукции), «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков», стр. 78—79.

численные следы чередований кратких гласных *е/о* в современных славянских языках являются следами древнейших закономерностей праславянского аблаута. И вообще необходимо учитывать диалектную дробность уже самого праславянского языка, которую не так трудно учесть и в соответствующих реликтах позднейшего развития. Сам аблаут выступает с разной степенью интенсивности в разных диалектах и в разные периоды уже самого праславянского языка.

Вряд ли нужно приводить другие примеры исследований в области индоевропейского языкознания для подтверждения той истины, что антитеза неподвижного математического структурализма и подвижного историзма классического (но, конечно, прогрессирующего) языкознания бледнеет и почти теряет всякий свой смысл в сравнении с передовой наукой. Самое большее — это то, что структуральные и исторические методы могут иметь только чисто временные и весьма условные разграничения, но ни о какой их абсолютизации в настоящее время не может быть и речи. Для этого стихийного сближения обоих методов можно было бы привести огромную литературу.

В заключение, однако, необходимо сказать, что указанная стихия сближения двух методов ни в каком случае не может оставлять нас в полном покое, поскольку для цельного языкознания все же существует немало разного рода препятствий, бороться с которыми отнюдь не так просто.

Если указать на препятствия теоретического характера, то ради примера можно привести мнение Р. Добрушина, который обвиняет классическую лингвистику в том, что она не умеет создавать устройства для машинного перевода с одного языка на другой, что наши языковеды не знакомы с математикой и техникой, что существующие у нас организации, занимающиеся прикладной лингвистикой, немногочисленны и слабосильны и что нужно не просто внести какие-то поправки в современное языкознание, но нужно его все целиком переделать на математический и технический лад [49]. То, что известный процент математиков, техников и лингвистов должен создавать такую науку, которая помогла бы изобретать разного рода языковые машины (вроде машины для механического перевода с одного языка на другой), это едва ли вызовет у кого-либо сомнение. Ясно также и то, что чем больше будет такого рода машин и специалистов, тем лучше. Однако приравнивание лингвистики к математике и технике или вообще к естественным наукам, повелительный запрет языковедам заниматься языком и стремление приостановить огромный прогресс современного языкознания как науки об языке в жертву наук о математически-техническом воспроизведении языка, все это является такой теорией, которая, конечно, мешает сближению классической и структуральной лингвистики. Кроме того, если не будет хороших лингвистов, то не будет и хороших математически-технических работников в области практической лингвистики. И вообще советская наука строится на единстве теории и практики, и абсолютизирование какой-нибудь одной из этих областей всегда ведет только к регрессу этих областей.

Другая опасность, которая грозит слиянию классической и структуральной лингвистики, носит скорее практический характер (если под практикой понимать не построение машин и управление ими, но четкое овладение языковыми материалами и их систематическое изложение). К сожалению, приходится обращать внимание на тот факт, что структуралисты, углубляясь в чисто логические и математические рассуждения, часто слишком далеко отходят от естественных языков, иной раз не приводят даже никаких языковых примеров для своих теоретических построений, а иной

[49] Р. Добрушин, Лингвистика и практика, Изв. 28 II 1966.

раз даже обнаруживают отсутствие языковедческих навыков и умение обращаться с языковыми материалами. Здесь также не стоит перечислять все подобного рода случаи, имеющие место в нашей структуралистской литературе, а достаточно ограничиться только одним примером.

Со времен Кнауэра на русском языке нет достаточно подробного и систематического изложения грамматики санскрита. Однако сравнительно недавно появилось целое руководство по этому предмету, преследующее систематические цели и составленное как раз представителями структуральной лингвистики. Это — «Санскрит» Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова (М., 1960). Изложение санскрита поражает здесь огромным количеством неточностей, небрежностей и опечаток. На стр. 52—57 дается анализ фонологического состава санскрита на основе девяти элементарных корреляций. Из этих рассуждений многое звучит весьма теоретично и неубедительно, а, главное, не имеет прямой связи с резюмирующей фонологической таблицей № 4 на стр. 57. Здесь нужно было бы рассуждать и пространнее и убедительнее, чего можно было бы достигнуть только при помощи достаточного количества языковых примеров. Но так как ни одного конкретного примера на этих страницах из санскрита не приводится, то у языковеда на каждом шагу возникают сомнения, неуверенность и даже невольный отпор всему этому рассуждению. Кроме того, неизвестно, почему взяты именно эти девять корреляций, в то время как в науке их формулировалось гораздо больше. В дальнейшем приводятся другие толкования этих же корреляций и — опять без единого примера. На стр. 60 утверждается, что церебральное *ṇ* не может быть особой фонемой, так что его церебральность вообще не является фонологическим дифференциальным признаком. Однако это совершенно неверно. Куда же деть такие случаи, как *gaṇa*, *aṇu-*, *āṇaka*, *eṇa-*, *kaṇā*, *pāṇa-*, *vāṇa-* и т. д.? Между стр. 58—59 дается таблица № 5, в которой указываются возможные и невозможные для санскрита сочетания согласных. Если судить по этой таблице, то в санскрите невозможно, например сочетание *ikh*. Однако куда же деть санскритское *likh* («писать»)? Утверждается невозможность для санскрита сочетания *igh*. А куда авторы денут *stigh* («подниматься»?) Невозможно сочетание *r̄ṇ*. А *pitr̄ṇ* («отец» в вин. п. мн. ч.)? По-видимому, авторы считают невозможным для санскрита и сочетание *obh*. Однако что же делать с таким словом, как *manobhiḥ*? На стр. 62 приводится якобы санскритское слово *pitṛ*, но такого слова в санскрите не имеется. Вместо *nalo nāṃa* авторы пишут *namā*. Подобного рода ошибок в книге очень много [50].

Небрежность в оперировании с языковым материалом также служит препятствием для создания такой лингвистики, которая стояла бы выше никому ненужной антитезы классической и структуральной лингвистики.

Если подвести итог всему сказанному, то необходимо констатировать преодоление нашей советской наукой глубокого разногласия классической и структуральной лингвистики. По крайней мере, именно такое впечатление остается от внимательного изучения лингвистической литературы последнего десятилетия.

---

[50] В своей рецензии на эту книгу известный санскритолог А. Минар (A. Minard, BSLP, 58, 2, 1963, стр. 47—50), кроме указанных ошибок, приводит еще и много других.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

А. Я. ШАЙКЕВИЧ

ОПЫТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ

Стилистика до сих пор уделяла мало внимания проблеме выделения функциональных стилей и их классификации. Говоря о сущности функциональных стилей, лингвисты, конечно, не могли обойти молчанием теоретические основания, на которых должна покоиться классификация этих стилей. Однако в лингвистических трудах мы очень редко встретим перечисление функциональных стилей того или иного языка, претендующее на полноту. И уж нигде не найдем ответа на вопрос: что позволяет нам считать данный стиль действительно особым функциональным стилем (а не видом какого-то другого стиля), существует ли объективная процедура выделения стилей, на каком основании мы утверждаем, что в данном языке существует, например, пять стилей, а не шесть, десять или двадцать пять.

Задуматься над этой проблемой совершенно необходимо — не только для практического описания стилистики конкретного языка, но и для решения теоретических вопросов общей стилистики. При характеристике понятия «функциональный стиль» обычно указывается на два важнейших момента: на функцию данного стиля и на сумму лингвистических отличительных черт данного стиля. Понятие «функции» настолько туманно, что оно не может служить объективным инструментом выделения стилей. Действительно, как определить, где кончается одна функция и начинается другая? Но даже если мы ограничимся субъективным (интуитивно чувствуемым) понятием функции, мы столкнемся с непреодолимыми трудностями. В частности, мы не сможем от перечня функций, годных «для всех времен и народов», перейти к стилистическому своеобразию отдельных языков. Понятие функции не объяснит нам, почему ситуации общения [1] людей разного социального ранга сопровождаются минимальными стилистическими различиями в языках Европы и максимальными в языках Восточной и Юго-Восточной Азии. Понятие функции не объяснит нам кардинальных стилистических различий языка научной литературы в Европе, с одной стороны, и в древней Индии — с другой. Короче говоря, исходя из общего понятия функции, невозможно прийти к пониманию стиля как категории исторической, против чего как будто бы никто не возражает.

Более перспективным представляется обратный путь — от объективно наблюдаемых лингвистических признаков, конституирующих стиль, к функции. Ниже излагается один из возможных при этом путей.

Излагаемая далее процедура выделения функциональных стилей строилась «формальным» образом, т. е. без учета значения языковых единиц [2].

---

[1] Языковой стиль здесь понимается как вариант языка, связанный с типичной ситуацией общения. Языковой стиль здесь отличается от диалектов: один и тот же говорящий в различных ситуациях общения использует разные стили, в то же время он обычно замкнут в пределах одного диалекта (территориального, социального или идиолекта).

[2] Случаи отступления от формальной процедуры будут особо оговариваться.

Такая процедура должна быть пригодной и для неизвестного языка. Однако для первого опыта желательно взять известный язык, чтобы полученные результаты сопоставить с нашими интуитивными знаниями о стилях языка и проверить, насколько правдоподобны эти результаты. Таким языком послужил здесь английский язык XVI—XVII вв. (времен Елизаветы и первых Стюартов).

Общий план процедуры таков: используя статистический корреляционный анализ, попытаться разбить тексты выборки на более или менее автономные группы. Этим группам текстов и будут предположительно соответствовать отдельные стили.

Выборка производилась следующим образом. Было взято 307 разных текстов, из каждого текста путем механической выборки отбирились куски по 100 слов в каждом. Таким образом было выбрано 10 000 кусков, т. е. общий объем выборки — 1 миллион слов текста. Из каждого текста отбиралось по крайней мере 1000 слов.

Выборка включала: драматические произведения Гаскойна, Кида, Лили, Марло, Шекспира, Марстона, Бена Джонсона, Форда, Мэссинджера, Деккера, Бомонта, Флетчера, Вебстера (всего 161 текст, или 50% всего объема выборки); поэтические произведения Гаскойна, Сидни, Чэпмена, Даниеля, Марло, Спенсера, Шекспира, Рэли, Бена Джонсона, Дрейтона, Херберта, Крешо, Донна (76 текстов, или 20% объема выборки); Библия (8% объема выборки); прозаические романы Лили и Делони (5 текстов, или 4,5% объема выборки); произведения Бекона (11 текстов, или 6% объема выборки — научные сочинения, юридические, публицистические); описания путешествий (32 текста, или 4% объема выборки); проповеди Донна; частные письма (Уоттона и Вуда); королевские указы и т. д.

Вручную было бы очень трудно обработать статистически миллион слов текста, поэтому пришлось ограничиться только одним классом слов — атрибутивными словами, стоящими в препозиции к существительному, т. е. словами, которые могут занимать положение между артиклем и существительным. В основном — это прилагательные, но к ним присоединяются причастия и существительные [3]. Обращение к особому классу слов допустимо по следующему содержательному соображению: если стиль характеризуется разносторонними лингвистическими признаками, можно надеяться на то, что даже по части признаков удастся выделить этот стиль.

Всего в выборке оказалось 41 966 атрибутивных слов, которые и послужили материалом для всех статистических выкладок. На основе статистического словаря к этой выборке была составлена матрица, столбцами которой служат тексты (234 текста), а строками — «признаки» (30 «признаков»). «Признаками» называются отдельные слова (*good*, *great*, *fair* и т. п.), классы слов (слова, оканчивающиеся на *-ed*, *-ing*, *-ous* и т. д.) и классы классов — общий класс атрибутивных слов. При формальном подходе к анализу текстов в число признаков естественно включить самые частые слова или классы слов. Что касается числа этих признаков, то здесь нет никаких предварительных содержательных соображений. Числа на пересечении столбцов и строк указывают на относительную частоту данного признака в данном тексте. Для первого признака (общее число атрибутивных слов) относительная частота указывается в расчете на 1000 слов текста, для всех остальных признаков — в расчете на 200 атрибутивных слов текста. Приводим фрагмент этой матрицы (см. табл. 1).

---

[3] Это первое отступление от формальной методики. Для английского языка, однако, выделение подобных классов, вероятно, можно легко формализовать.

Таблица 1

Признаки	Текст 26 Шекспир «Ромео и Джульетта»	Текст 30 Шекспир «Ричард III»	Текст 52 Шекспир «Виндзорские кумушки»	Текст 147 Спенсер «Amoretti»	Текст 215 Бекон «Новая Атлантида»	Текст 224 Донн «Проповеди»
Все атрибутивные слова:	49	54	32	72	44	35
Сложные слова[1]	13	4	6	4	—	3
-ed	13	13	6	15	2	8
-y	19	31	16	24	3	10
-ing	20	14	9	11	3	8
-ous	6	18	4	10	8	10
-al	6	7	1	4	13	28
-ly	2	7	2	13	2	2
-nt	10	5	4	2	11	4
-ful	13	8	4	8	1	8
-an	—	—	1	1	1	3
-less	2	2	1	3	—	1
-ble	4	1	4	1	1	5
-ic	—	—	—	—	—	—
un-	1	3	1	2	1	2
good	13	12	41	1	3	10
great	1	2	6	4	20	6
fair	3	4	5	8	2	1
own	2	1	5	3	2	8
sweet	5	4	6	6	—	—
old	5	1	9	5	1	—
poor	3	5	—	2	1	—
noble	1	7	—	1	—	—
true	2	4	1	1	1	2
dear	2	1	—	4	—	—
little	1	1	2	2	5	1
fine	—	—	2	—	2	—
foul	1	1	—	1	—	—
holy	2	2	—	1	1	6
strange	1	—	—	1	1	1

[1] Строго говоря, включение этого признака есть известное отступление от последовательно формальной методики. Можно лишь полагать, что один этот признак мало повлиял на коэффициенты корреляции.

Для выявления связей между текстами необходимо перейти от этой матрицы к корреляционной матрице, где были бы представлены уже не относительные частоты, а отклонения от средней относительной частоты для данного признака. Эту исходную корреляционную матрицу желательно несколько модифицировать. Дело в том, что коэффициенты корреляции, полученные на основании этой матрицы, в очень большой степени определялись бы самыми частыми признаками, которые, таким образом, приобрели бы неоправданно большой вес. Уравнивание признаков производилось следующим образом. Среди всех положительных отклонений (т. е. случаев превышения средней данного признака) 5 самых больших отклонений принимались за +4, 10 следующих по величине — за + 3, 20 следующих — за + 2, 50 следующих — за + 1. Такие же индексы (но со знаком «минус») приписывались отрицательным отклонениям. Огрубление отклонений одновременно позволяло значительно облегчить вычислительную работу.

В табл. 2 совмещены фрагменты корреляционных матриц — исходной и «приведенной» (после указанной процедуры уравнивания признаков). Данные «приведенной» корреляционной таблицы приводятся в скобках.

Таблица 2

Признаки	Текст 26	Текст 30	Текст 52	Текст 147	Текст 215	Текст 224
Все атрибутивные слова	+3	+ 8 (+1)	—14 (—1)	+26 (+2)	— 2	—11 (—1)
Сложные слова	+8 (+3)	— 1	+ 1 (+1)	— 1	— 5 (—1)	— 2
-ed			— 7 (—1)	+ 2	—11 (—3)	—10 (—1)
-y	+5 (+1)	+17 (+3)	+ 2 (+1)	+10 (+2)	—11 (—3)	— 4
-ing	+9 (+2)	+ 3 (+1)	— 2		— 8 (—2)	— 3
-ous	—2	+10 (+3)	— 4 (—1)	+ 2 (+1)		+ 2 (+1)
-al		+ 1	— 5 (—2)	— 2 (—1)	+ 7 (+2)	+22 (+4)
-ly	—3 (—1)	+ 2 (+1)	— 3 (—1)	+ 8 (+2)	— 3 (—1)	— 3 (—1)
-nt	+5 (+2)		— 1	— 3 (—1)	+ 6 (+3)	— 1
-ful	+8 (+3)	+ 3 (+1)		+ 3 (+1)	— 3 (—1)	+ 3 (+1)
-an	—2	— 2	— 1	— 1	— 1	+ 1 (+1)
-less			— 1	+ 1	— 2 (—1)	— 1
-ble	+2 (+1)	— 1	+ 2 (+1)	— 1	— 1	+ 3 (+2)
-ic	—1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
un-	—2 (—1)		— 2 (—1)	— 1	— 2 (—1)	— 1
good	+4 (+1)	+ 3 (+1)	+32 (+4)	— 8 (—1)	— 6	+ 1
great	—6 (—2)	— 5 (—1)	— 1	— 3	+13 (+3)	— 1
fair	—1		+ 1 (+1)	+ 4 (+1)	— 2	— 3 (—1)
own	—2	—3 (—1)	+ 1 (+1)	— 1	— 2	+ 4 (+2)
sweet	+1		+ 2 (+1)	+ 2 (+1)	— 4 (—1)	— 4 (—1)
old	+2 (+1)	— 1	+ 6 (+3)	+ 2 (+1)	— 1	— 2 (—1)
poor		+ 2 (+1)	— 2 (—1)		— 1	— 2 (—1)
noble	—1	+ 5 (+2)	— 2	— 1	— 2	— 2
true		+ 2 (+2)	— 1	— 1	— 1	
dear		— 1	— 2	+ 2 (+1)	— 2	— 2
little	—1	— 1			+ 3 (+2)	— 1
fine	—1	— 1	+ 1 (+1)	— 1	+ 1 (+1)	— 1
foul			— 1		— 1	— 1
holy	+1 (+1)	+ 1 (+1)	— 1			— 5 (+3)
strange		— 1	— 1			

По данным корреляционных матриц производится расчет коэффициента корреляции для всех пар столбцов (текстов) согласно

$$r = \frac{\Sigma x_i y_i}{\sqrt{\Sigma x_i^2 \, \Sigma y_i^2}},$$

где x_i и y_i — отклонения в первом и во втором столбцах.

Для наших фрагментов результаты приведены в табл. 3.

Из табл. 3 можно сделать вывод о положительной корреляции между «Ричардом III» и «Amoretti», об отрицательной корреляции между «Ромео

Таблица 3[1]

	Текст 26	Текст 30	Текст 52	Текст 147	Текст 215	Текст 224
Текст 26	—	+0,31	+0,35	+0,04	—0,51	+0,20
Текст 30	+0,38	—	0	+0,48	—0,36	+0,05
Текст 52	+0,18	+0,06	—	0	—0,06	—0,14
Текст 147	+0,16	+0,54	—0,56	—	—0,44	—0,30
Текст 215	—0,51	—0,50	—0,14	—0,30	—	+0,25
Текст 224	—0,11	—0,18	—0,13	—0,48	+0,47	—

[1] В левой нижней части таблицы — результаты, полученные из исходной корреляционной матрицы, в правой верхней — результаты из «приведенной» матрицы.

и Джульеттой» и «Новой Атлантидой» и т. п. Весь дальнейший анализ основывался на данных «приведенной» корреляционной матрицы.

Расчет всех парных коэффициентов корреляции для всей матрицы требует больших вычислений (26 261 коэффициент), вычислительная работа значительно сокращается, поскольку в дальнейшем не будут рассматриваться случаи отрицательной и слабой положительной корреляции (менее +0,40).

Для каждого текста составлялся список всех текстов, положительно коррелирующих с ним ($r \geqslant +0{,}40$). Например, для «Ромео и Джульетты» см. табл. 4.

Таблица 4

№ п. п. (или «ранг»)	Текст	Величина коэффициента корреляции
1	«Комедия ошибок» Шекспира	+0,50
2	«Печальный пастух» Бена Джонсона	+0,48
3	«Генрих IV» (ч. 2) Шекспира	+0,45
4	«Укрощение строптивой» Шекспира	+0,42
5	«Ричард II» Шекспира	+0,42
6	«Венера и Адонис» Шекспира	+0,41

Для 233 текстов[4] было обнаружено 1124 связи такого рода (в среднем 9,6 связей на текст). Схематически эту картину можно изобразить в виде графа, где отдельный текст совпадает с одной из вершин графа, а положительная корреляция двух текстов представлена ребром графа. Если бы наш граф оказался несвязным, задача группировки такого текста была бы решена очень просто: каждый связный компонент нашего графа можно было бы считать замкнутой группой текстов. Но наш граф оказался связным (если пренебречь одним текстом, не обнаружившим связей с другими). Оставаясь в рамках «формальной» процедуры, необходимо указать правила выделения групп, обладающих тесными внутренними связями и сравнительно слабо связанных с другими. При этом желательно получать не слишком малочисленные группы.

Для этого вводится система расстояний между вершинами графа. Расстояние (L) между двумя вершинами графа (1 и 2) определяется так: $L = r'_{12} + R'_1 + R'_2$. Стоящие в этой формуле r' и R' следующим образом связаны с коэффициентом корреляции (r_{ij}) двух текстов и рангом данного коэффициента в упорядоченном по величине списке коэффициентов данного текста (R_i).

r_{ij}	r'_{ij}	R_i	R'_i
$\geqslant$0,80	0	1	0
0,70—79	1	2	1
0,60—69	2	3	2
0,50—59	3	4	4
0,40—49	4	$\geqslant$5	8

Определим, например, расстояние между «Ромео и Джульеттой» и некоторыми другими текстами. Расстояние между этим текстом и «Комедией ошибок» = 4. Действительно, коэффициент корреляции между ними

[4] Текст № 185 («Песни» Донна) не обнаружил достаточных положительных корреляций с другими текстами.

+ 0,50 ($r' = 3$). Этот коэффициент стоит на первом месте в списке всех коэффициентов «Ромео и Джульетты» ($R_1' = 0$), в списке же «Комедии ошибок» он окажется на втором месте ($R_2' = 1$). Аналогичным образом определяется расстояние между «Ромео и Джульеттой» и «Печальным пастухом»: $L = 4 + 1 + 2 = 7$. Таким образом ставится индекс расстояния при каждом ребре графа.

Правила группировки формулируются так: 1) группа есть множество элементарных циклов [5], 2) не рассматриваются элементарные циклы, общая длина которых превышает 70 (под длиной понимается сумма индексов расстояний при ребрах графа); 3) не рассматриваются элементарные циклы, включающие ребра длиною более 10; 4) два элементарных цикла объединяются в одну группу, если они имеют хотя бы одно общее ребро. К получившимся группам присоединяются новые элементарные циклы по этому же правилу.

Фрагмент нашего графа приводится на рис. 1. Двойной линией обозначены циклы, удовлетворяющие указанным правилам. Применение этих правил позволяет выделить 3 большие и 3 маленькие группы. Первая крупная группа (группа *A*) включает 52 текста (16% всей выборки); вторая группа (группа *B*) объединяет 45 текстов (18% выборки); в третью группу (группу *C*) входит 24 текста (11% выборки). Остальные группы включают по 3 текста.

После того как «формальная» процедура позволила выделить группы текстов, полезно рассмотреть полученные результаты с учетом наших предварительных знаний о текстах.

Группа *A* включает 34 текста, которые при интуитивной классификации были отнесены к поэзии, сюда же относятся 18 драматических текстов (3 текста Кида, 4 Марло, 7 Шекспира, 3 Марстона). Группа *B* включает драматические произведения, среди которых преобладают комедии. В эту же группу входят романы Лили «Эвфуес» и «Эвфуес и его Англия». В группу *C* входит большинство произведений Бекона, 6 описаний путешествий, письма Вуда, проповеди Донна, конституционные документы, из драматических произведений 3 текста — «Генрих VIII» Шекспира, «Томас Вайят» и «Процесс дьявола» Вебстера.

Из мелких групп отметим группу *D*, включающую «Ветхий завет», «Новый завет» и Комментарии графа де Вера о кампании во Фландрии (8% всей выборки).

Можно полагать, что полученная классификация текстов носит стилистический (или стилистико-жанровый) характер. Группа *A* — поэзия (собственно поэзия и высокая трагедия), группа *B* — отражение в письменной речи особенностей диалогической речи, группа *C* соответствует недифференцированному деловому стилю, наконец группа *D* — образец архаического английского языка Библии.

Наша стилистическая классификация оказалась, однако, слишком грубой. Во-первых, правила процедуры таковы, что они дают жесткую классификацию. Хотя теоретически здесь и возможны случаи, когда один текст входит сразу в две группы, но реально такие случаи не наблюдались. Во-вторых, в группах представлено 130 текстов, а не все 307 текстов, составивших выборку. (Правда, эти 130 текстов составляют 57% всего объема выборки.) Наконец, включение тех или иных текстов в группы может противоречить нашим интуитивным знаниям о стилях той эпохи.

Все это убеждает в том, что необходимо превратить эту классификацию в более гибкую, позволяющую количественно определять степень

---

[5] Элементарный цикл — замкнутая цепь, все вершины которой различны.

Рис. 1: 1 — Новый завет; 2 — Ветхий завет 3 — Деккер «Встретимся в Лондоне»; 4 — Лили «Эвфуес»; 5 — Лили «Эвфуес и его Англия»; 6 — Мэссинджер «Городская дама»; 7 — Бен Джонсон «Новая гостиница»; 8 — Лили «Кампаспе»; 9 — Лили «Матушка Бомби»; 10 — Деккер «Честная шлюха», ч. 2; 11 — Форд «Ведьма Эдмонтона»; 12 — Бомонт и Флетчер «Месть Купидона»; 13 — Шекспир «Как вам это понравится»; 14 — Флетчер «Капитан»; 15 — Флетчер «Сумасброды»; 16 — Бен Джонсон «Магнетическая дама»; 17 — Шекспир «Комедия ошибок»; 18 — Шекспир «Виндзорские кумушки»; 19 — Деккер «Праздник сапожника»; 20 — Мэссинджер «Роковое приданое»; 21 — Бомонт и Флетчер «Высокомерная леди»; 22 — Шекспир «Ромео и Джульетта»; 23 — Бомонт и Флетчер «Филастер»; 24 — Бен Джонсон «Печальный пастух»; 25 — Шекспир «Генрих IV», ч. 2; 26 — Деккер и Вебстер «Север»; 27 — Шекспир «Гамлет»; 28 — Деккер и Вебстер «Запад»; 29 — Шекспир «Тимон Афинский»; 30 — Шекспир «Антоний и Клеопатра»

принадлежности текста к тому или иному стилю, отражать иногда наблюдаемый сложный стилистический характер текста.

Наши корреляционные матрицы строились на основе 30 самых частых признаков, далеко не все из них статистически связаны с разными стилями. Стилистически нейтральными оказались, например, класс слов с суффиксом *-ous*, слова *strange*, *true*. Предварительная стилистическая классификация позволяет выделить наиболее яркие показатели стилей. Некоторые из этих диагностирующих признаков приводятся в табл. 5.

Таблица 5

Признаки	Вся выборка	Группа *A*	Группа *B*	Группа *C*	Группа *D*
Атрибутивные слова (на 1000 слов текста)	42	59	35	41	14
на 1000 атрибутивных слов:					
-y	70	96	69	35	72
-ing	52	74	46	25	43
-nt	24	19	26	41	21
-less	11	24	6	3	—
-ble	10	5	12	19	9
certain	4	1	1	10	21
fair	18	23	19	5	—
gentle	5	5	7	...	—
great	37	23	26	79	81
other	16	6	10	50	27
said	4	...	—	21	2
sweet	17	17	21	3	3

Суммирование самых ярких признаков группы позволяет вывести обобщенный числовой индекс данной группы. Коэффициенты, входящие в уравнения, подбирались в соответствии со следующими требованиями: 1) удельный вес отдельного признака должен быть пропорционален: $\lg \frac{(x-\bar{x})^2}{\sqrt{\bar{x}}}$, где x — относительная частота признака в данной группе, а $\bar{x}$ — то же для всей выборки (в промилле); 2) средняя из индексов для текстов, входящих в рассматриваемую группу, должна равняться $+100$, средняя же для всех текстов выборки должна равняться 0.

От каждой группы отбиралось 20 положительных признаков (x_i) — относительная частота в группе превышает среднюю для всей выборки, и 10 отрицательных признаков (y_i) — относительная частота в группе — меньше средней. Ниже приводятся формулы вычисления индексов.

$$\text{Индекс } A = \frac{0{,}73 \sum k_{x_i} f_{x_i} - 0{,}95 \sum k_{y_i} f_{y_i}}{A}$$

$$\text{Индекс } B = \frac{0{,}84 \sum k_{x_i} f_{x_i} - 1{,}05 \sum k_{y_i} f_{y_i}}{A}$$

$$\text{Индекс } C = \frac{0{,}57 \sum k_{x_i} f_{x_i} - 0{,}41 \sum k_{y_i} f_{y_i}}{A}$$

$$\text{Индекс } D = \frac{0{,}57 \sum k_{x_i} f_{x_i} - 0{,}44 \sum k_{y_i} f_{y_i}}{A}$$

В этих формулах: A — количество атрибутивных слов в тексте, k_i — коэффициент данного признака, f_i — абсолютная частота данного признака

Таблица 6

Индекс A		Индекс B		Индекс C		Индекс D	
признак	коэффициент	признак	коэффициент	признак	коэффициент	признак	коэффициент
			Положительные признаки (x_i)				
Attrib	1/3	*un-*	4	*in-*	5	*-y*	2
Deriv.	1/3	*-y*	2	*-al*	2	*-en*	4
		-nt	5				
-y	1	*-ing*	1	*-nt*	3	*certain*	6
-ed	1	*-ble*	6	*-ble*	4	*chief*	6
-ing	2	*dear*	4	*-te*	4	*false*	7
-ly	3	*excellent*	8	*-ry*	8	*great*	2
-ful	2	*fine*	6	*-ar*	8	*high*	4
-less	5	*gentle*	6	*ancient*	10	*holy*	4
bloody	12	*good*	4	*certain*	8	*just*	10
cruel	16	*honest*	15	*diverse*	9	*little*	5
deadly	18	*ill*	10	*divine*	13	*living*	10
fair	4	*mad*	22	*excellent*	10	*other*	3
foul	10	*noble*	8	*great*	2	*own*	3
goodly	12	*old*	9	*other*	3	*precious*	11
heavy	13	*own*	3	*particular*	15	*right*	5
lovely	10	*poor*	8	*present*	10	*same*	5
mighty	9	*pretty*	19	*said*	7	*whole*	6
proud	11	*sweet*	3	*same*	7	*wicked*	9
warlike	17	*young*	9	*small*	8	*wise*	7
weary	20			*whole*	7	*young*	5
			Отрицательные признаки (y_i)				
-nt	3	Attrib.	0,2	Deriv.	0,5	Attrib.	0,2
-ble	6	Deriv.	0,5	*-y*	2	Deriv.	0,3
good	4	*certain*	12	*-ed*	2	*-al*	2
great	4	*English*	16	*-ing*	2	*-less*	7
honest	16	*great*	4	*-less*	6	*brave*	14
old	6	*high*	11	*dear*	10	*fair*	7
other	8	*other*	7	*fair*	6	*gentle*	13
own	6	*said*	23	*gentle*	14	*noble*	10
said	19	*same*	10	*poor*	7	*poor*	7
whole	14	*small*	7	*sweet*	7	*sweet*	6

в тексте. Положительные и отрицательные признаки с их коэффициентами приводятся в табл. 6 [6].

В рамках формальной процедуры наши индексы можно обозначать только буквами или номерами. Очень условная содержательная интерпретация индексов выглядела бы так: A — индекс «поэтичности» [7], B — индекс диалогичности, разговорности, C — индекс делового стиля, D — индекс архаичного религиозного стиля.

Полученные индексы определенным образом соотносятся друг с другом. Связь эта отражена в корреляционной табл. 7.

---

[6] Среди признаков — отдельные слова, классы слов, характеризуемые определенным концом или началом, класс всех классов (Deriv.), все атрибутивные слова (Attrib.).

[7] Разумеется, индекс «поэтичности» указывает только на степень принадлежности данного текста к традиционному «поэтическому» стилю и ничего не говорит о степени поэтического совершенства текста.

Таблица 7

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*	Индекс *D*
Индекс *A*	—	+0,09	—0,66	—0,49
Индекс *B*		—	—0,58	—0,45
Индекс *C*			—	+0,61
Индекс *D*				—

Итак, из табл. 7 мы видим, что только индексы *A* и *B* независимы друг от друга, оба эти индекса связаны отрицательной корреляцией с индексами *C* и *D*, между которыми в свою очередь наблюдается ярко выраженная положительная корреляция. Это заставляет с осторожностью отнестись к индексу *D*. По-видимому, имеет смысл учитывать этот индекс только в тех случаях, когда он значительно отличается от индекса *C*. Если даже не перестраивать четырехчленную стилистическую систему, полученную на первом этапе работы, следует подчеркнуть значительную близость групп *C* и *D*.

Вычисленные индексы позволяют по-новому взглянуть на группировку текстов. Группа с преобладанием индекса *A* охватывает 82 текста (23 % всего объема выборки); сюда, например, относятся:

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*
Сидни «Сонеты»	+160	—30	—30
Марло «Геро и Леандр»	+70	+20	—60
«Тамерлан Великий» (ч. 1)	+140	—40	—40
«Дидона»	+110	+20	—40
Спенсер «Календарь пастуха»	+110	—10	—30
«Amoretti»	+180	—10	—40
«Царица фей»	+160	—10	—20
Шекспир «Венера и Адонис»	+140	+30	—60
«Ричард II»	+90	+20	—20
Дрейтон «Матильда»	+140	0	—40
«Поли-Ольбион»	+80	—30	—10
Даниель «Сонеты к Делии»	+160	+50	—60
Кид «Испанская трагедия»	+80	+30	—40
Лили «Женщина на луне»	+120	—20	—40
Форд «Любимец солнца»	+40	—20	—10
Флетчер «Верная пастушка»	+90	+30	—30
Вебстер «Фракийское чудо»	+60	+20	—30

Иногда тексты, входящие в эту группу, одновременно с высоким индексом *A* обнаруживают более или менее значительный другой индекс.

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*	Индекс *D*
Спенсер «Слезы муз»	+ 80	+40	—20	0
Массинджер «Герцог Миланский»	+ 30	—20	+20	—40
Лили «Речи»	+ 40	0	+20	—20
Сидни «Псалмы Давида»	+100	—30	—50	+20
Дрейтон «Гармония церкви»	+110	+50	—40	+50

Довольно часто высокими оказываются сразу два индекса — *A* и *B*, что позволяет говорить о существовании большой группы (27 текстов, 9 % всего объема выборки) стилистически сложных текстов.

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*
Дрейтон «Нимфида»	+90	+130	—70
Чэпмен «Тень ночи»	+30	+20	—20
Лили «Метаморфоза любви»	+50	+60	+20
Марло «Мальтийский еврей»	+30	+20	—40
«Эдуард II»	+50	+60	—50
Шекспир «Сон в летнюю ночь»	+50	+30	—40
«Ричард III»	+100	+70	—20
«Буря»	+30	+30	—20
«Троил и Крессида»	+70	+100	—10
«Тит Андроник»	+80	+90	—40
«Сонеты»	+60	+50	—50
«Макбет»	+20	+20	—30
Марстон «Месть Антонио»	+40	+40	—40
Бомонт и Флетчер «Рыцарь пламенеющего пестика»	+50	+110	—50
Флетчер и Мэссинджер «Мальтийский рыцарь»	+80	+90	—40

Самую большую группу образовали тексты с явным преобладанием индекса *B* (105 текстов — 34% всего объема выборки):

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*
Лили «Галатея»	+10	+50	—40
«Матушка Бомби»	—110	+160	0
Шекспир «Укрощение строптивой»	+20	+140	—10
«Ромео и Джульетта»	+20	+80	—20
«Двенадцатая ночь»	—20	+90	—10
«Антоний и Клеопатра»	—40	+100	0
«Венецианский купец»	—20	+120	—30
«Много шуму из ничего»	—100	+180	+10
«Виндзорские кумушки»	—150	+130	0
«Король Лир»	+10	+100	—30
«Гамлет»	—40	+70	0
Марстон «Что вам угодно»	—20	+70	—20
Бен Джонсон «Всяк о своем нраве»	—60	+130	+10
«Сказка о бочке»	—70	+60	—30
Форд «Ведьма Эдмонтона»	—80	+130	—30
«Разбитое сердце»	—10	+60	0
Мэссинджер «Новый способ платить старые долги»	—80	+70	—10
Деккер «Праздник сапожника»	—40	+230	—40
Бомонт, Флетчер «Женоненавистник»	—60	+140	—10
«Высокомерная леди»	—70	+170	—20
Флетчер «Капитан»	0	+120	—40
«Жена на месяц»	—100	+130	—20
Флетчер, Мэссинджер «Двойной брак»	—130	+90	+50
«Французский адвокатик»	0	+190	—20
«Испанский священник»	—60	+110	—20
Вебстер «Лекарство для рогоносца»	—100	+130	+10
«Аппий и Виргиния»	—60	+80	—10
Лили «Эвфуес»	—70	+90	+10[8]
Делони «Тонкое искусство»	—40	+70	0

Область пересечения групп *B* и *C* — очень невелика (всего 5 текстов), например:

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*
Гаскойн «История Гемета»	—50	+50	+70
Лили «Кампаспе»	—30	+40	+30
Вебстер «Процесс дьявола»	—40	+40	+30

[8] Индекс *D* у «Эвфуеса» Лили = +40.

Группа с преобладанием индекса *C* охватывает значительную часть выборки (61 текст, 16% всего объема выборки).

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*
Гаскойн «Барабан судного дня»	0	+10	+80
Герберт «Трактат о трезвости и умеренности»	—100	—70	+80
Хейвуд «Оправдание актеров»	—10	—100	+60
Бекон «История Генриха VII»	—80	—40	+50
«Максимы закона»	—110	—180	+140
«Новая Атлантида»	—70	—140	+130
Донн «Проповеди»	—50	—60	+70
Виллс «Об острове Япония»	—120	—290	+90
Рэли «Открытие Гвианы»	—160	—240	+90
Письма Томаса Вуда, пуританина	—100	—40	+60
де Вер — Комментарии	—100	—220	+50
Конституционные документы	—170	—250	+120

Невелика группа с преобладанием индекса *D* (8 текстов, 9,5% всего объема выборки).

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*	Индекс *D*
Ветхий завет	—40	—40	+20	+80
Новый завет	—90	—120	+60	+120
Бен Джонсон «Лес»	—50	—20	0	+30
Деккер «Чудо королевства»	—30	—20	—20	+20
Госсен «Школа поношения»	—110	+10	+30	+50
Бекон «Афоризмы»	—110	—80	+30	+70

Наконец, 16 текстов не обнаружили ни одного преобладающего индекса, что, по-видимому, свидетельствует об их большой стилистической сложности.

	Индекс *A*	Индекс *B*	Индекс *C*	Индекс *D*
Дрейтон «Элегии»	—10	—10	0	—20
Донн «Сатиры»	—10	0	0	0
Шекспир «Генрих VIII»	—20	0	+10	+10
Бен Джонсон «Сеян»	0	—20	0	—10
«Катилина»	—50	+20	0	0
Делони «Томас из Рединга»	—70	0	—10	+10

Применение индексов значительно продвинуло нас в классификации текстов. На первом этапе группы охватывали 43% текстов (57% всего объема выборки), индексы дали стилистическую характеристику всем текстам. Одновременно индексы позволили произвести некоторые изменения в группах. Так, например «Укрощение строптивой» и «Король Лир» на первом этапе оказались в группе *A*, на втором этапе — в группе *B*. Комментарии графа де Вера на первом этапе объединились с Библией (с интуитивной точки зрения — явно ошибочно), теперь ошибка исправлена, и они перешли в группу *C*. Наоборот, «Школа поношения» Госсена и «Афоризмы» Бекона (дидактические тексты) из группы *C* перешли в группу *D*. На первом этапе в группе *C* было три драматических текста, после применения индексов «Томас Вайят» перешел в группу *B*, «Процесс дьявола» оказался в переходной группе *B* — *C*, «Генрих VIII»—в стилистически неопределенной группе.

Изучение индексов позволяет высказать некоторые предположения относительно развития системы стилей английского письменного языка. В частности, можно определить расстояния, разделяющие три главных стиля, и их изменение со временем. Для этого рассматриваемый период был разбит на три отрезка: до 1590 г., 1590—1609 гг., от 1610 г. Для каждого из этих периодов отбиралось 24 текста (по 8 от каждой из главных групп), и производился расчет коэффициента ранговой корреляции между

индексами. Результаты таковы:

	до 1590 г.	1590—1609 гг.	с 1610 г.
$A—B$	+0,46	+0,16	+0,20
$A—C$	—0,89	—0,67	—0,47
$B—C$	—0,60	—0,59	—0,75

Эти коэффициенты хорошо отражают становление «диалогического» стиля, а в связи с этим и изменение иерархии противопоставлений между стилями. Приняв расстояние между стилями $L = 1 - r$, где r — коэффициент ранговой корреляции, получим схематическое изображение треугольника стилей для первого периода (до 1590 г.) (см. рис. 2).

Рис. 2

Рис. 3

Основным здесь является противопоставление A и C, зарождающийся стиль B еще очень близок к A, но обладает и чертами, сближающими его со стилем C.

Совсем по-другому выглядит тот же треугольник в последний период (с 1610 г.) (см. рис. 3).Стиль B уже четко противопоставлен стилю A и находится на максимальном расстоянии от стиля C. Выделение особого стиля B неизбежно привело к некоторому сокращению расстояния между A и C. (Пунктирной линией показаны связи стиля D, определенные таким же способом.)

Итак, статистическим путем удалось выделить четыре стиля английского литературного языка конца XVI — начала XVII в. Определены стилистические индексы для всех текстов, вошедших в выборку, и указан способ расчета таких индексов, который можно применять к другим текстам (см. табл. 6). Конечно, полученные результаты нельзя считать окончательными. Возможно, включение других классов слов (а не только атрибутивных слов) более или менее изменит картину. Однако и полученные результаты кажутся достаточно обнадеживающими. Во всяком случае они не противоречат основным интуитивным предположениям относительно литературы этого периода.

Полученные индексы важны не только для лингвистической стилистики. Опыт этого и многих других исследований показывает, что статистические показатели употребительности тех или иных лингвистических элементов намного больше варьируют в текстах разных стилей, чем в текстах, написанных разными авторами, но относящихся к одному и тому же стилю. Отсюда следует, что применению статистических методов изучения индивидуального стиля автора, установлению авторства текстов и т. п. должно предшествовать количественное изучение различий стилей. С помощью количественных индексов стиля (аналогичных тем, которые предлагаются в настоящей статье) можно будет снять, погасить влияние стиля и жанра на статистическую характеристику текстов. Только после этого будет оправдано статистическое исследование индивидуального стиля.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

Л. М. СКРЕЛИНА

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЯЗЫКОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

(К оценке количественных и качественных критериев в описании системы языка)

Противопоставление в диахронии речи и языка требует различения особенностей эволюции речи (синтагматика) и языка (парадигматика). Представляется, что изменения в речи носят количественный характер, т. е. характер возникновения и сосуществования синонимичных, дублетных форм, с постепенным вытеснением одной из них, в то время как изменения в языке носят качественный характер, т. е. характер смены одного качественного состояния системы другим.

Изменения в речи хорошо изучены представителями младограмматической школы. Еще Г. Пауль говорил о «положительных» и «отрицательных» процессах в развитии языка, подразумевая под положительными — «процессы возникновения нового», под отрицательными — «процессы отмирания старого» [1]. Эти процессы обычно представляются в виде: а) сосуществования старой и новообразованной форм при преобладающем (количественно) употреблении старой; б) сосуществования старой и новой форм при относительном (количественно) равновесии обеих; в) сосуществования старой и новой форм при преобладающем употреблении новой; г) вытеснения старой формы.

Немало примеров, иллюстрирующих указанные положения, можно встретить в текстах старофранцузского и среднефранцузского периодов истории французского языка. Однако количественное преобладание одной формы, как мы увидим, отнюдь не всегда является основанием для ее закрепления в системе.

Пример 1. Известно, что правила ассонансов точно выполнялись средневековыми поэтами; поэтому анализ ассонансов дает неоспоримые свидетельства живым явлениям в произношении французов того времени. Тирады 20, 60, 147, 155 и др. «Песни о Роланде» свидетельствуют о существовании дифтонга *ai* (ассонанс *ai* : *a*): *parastre* : *faire* : *repaire* (тир. 20), *Carle* : *aire* (тир. 60). В тирадах 127, 156, 166 и др. «Песни о Роланде» *ai* ассонирует с *e*, т. е. мы наблюдаем стяжение дифтонга *ai* $>$ *e* : *faire* : *quere* : *retraite* (тир. 127), *tere* : *estre* : *faire* (тир. 156), *tere* : *aire* : *afaire* : *uverte* (тир. 167). Очевидно, что два произношения сосуществуют, пока новое, отражающее монофтонгизацию *ai* $>$ *e*, не возобладает.

Пример 2. Указательные местоимения *celui* и *cestui* (*cettui*) различались значением в старофранцузском языке; в среднефранцузский период лексическое различие сменяется синтаксическим (*cettui* употребляется преимущественно в функции прилагательного, *celui* в функции существительного). Окончательное оформление указанных форм как место-

[1] Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 132; Г. Пауль выделял также «процессы замены, когда отмирание старого и появление нового совпадают в одном акте» (там же, стр. 132), относя эти процессы исключительно к звуковым изменениям.

имения (*celui*) и детерминатива (*ce, cet, cette, ces*) с исчезновением из употребления *cettui* происходит к XVII в. Тексты XVI в. содержат примеры, свидетельствующие о процессе конкуренции и постепенного вытеснения форм в несвойственных им функциях [2]: «A *celle* fin que la race future Juge du mal que je souffre en aymant» (Ronsard, Amours de 1552, 167); «Tellement que jamais ne fut exibée... Une plus noble fable que *ceste-cy*» (Bonaventure de Periers, Cymbalum mundi, II, стр. 315). В XVII в. старые употребления уже очень редки [3]: «*Cettui* me semble, à le voir, papimane» (La Fontaine, Contes, IV, 5, 20); «*Cettui-ci* dépêché, c'est de toi maintenant que j'aurai bon marché» (Corneille, Clitandre, I, 9, 227).

Пример 3. Глагол *être* имеет в старофранцузский период три формы будущего времени и две формы имперфекта [4]. Будущее время выражается: а) формами, образованными от латинской основы *er*, *-ier* : *ier* (*er*), *iers*, *iert*, *iermes* (*ermes*), *iertes*, *ierent*; б) формами, образованными по модели «инфинитив + вспомогательный глагол *aveir* в личных формах» (по этой модели образуют будущее время все французские глаголы): *estrai*, *estras*, *estrat*, *estrons*, *estrez*, *estront*; в) формами, образованными от романской основы *ser-* (лат. *essere*): *serai*, *seras*, *serat*, *serons*, *serez*, *seront*.

Будущее в прошедшем, или условное наклонение, употребляет формы *estreit* и *sereit*; являясь формой романского образования, conditionnel строится по общероманской модели.

Анализ текстов XII в., помещенных в «Книге для чтения» [5] (взяты следующие 14 текстов: Житие св. Алексея, Песня о Роланде, Хождение Карла Великого, Венчание на царство Людовика, Рауль де Камбрэ, Действо об Адаме, Роман о Трое, Роман о Ру, отрывок из Беруля, отрывок из романа Тома, лэ и басни Марии Французской, Роман о Ренаре, Роман об Александре, Ж. де Вильардуэн),свидетельствует о частом употреблении латинской формы (основа *er-*): в текстах Действа об Адаме, Романа о Ру, Романа о Ренаре, Романа об Александре, в отрывках из романа Тома мы встречаем только эту форму; в остальных текстах употребляется и латинская, и французская форма с корнем *ser-*, но преимущественно форма с *er-* (на 57 употреблений формы с *er-* приходится 22 употребления формы с *ser-*).

Формы второго типа образования (с *estr-*) в анализируемых текстах не встречались, если не считать форм условного наклонения. Условное наклонение строится на основе *estr-* или *ser-* (3-е лицо *estreit* или *sereit*), причем второе образование более употребительно: в перечисленных текстах обе формы встречаются в Песне о Роланде, Венчании на царство Людовика; в текстах Хождение Карла Великого, Роман о Трое употребляется только вторая форма (*sereit*); отрывок из романа Тома употребляет первую форму. Было проведено также тотальное обследование текста XII в. «Хроника нормандских герцогов» Бенуа [6], из которого были выписаны все употребления глагола *estre* (всего 4340 примеров). Значение будущего времени передается формами с *ser-* (258 примеров) или с *er-* (487 примеров);

---

[2] См.: G. Gougenheim, Grammaire de la langue français du seizième siècle, Lyon — Paris, стр. 76; Л. М. Скрелина, Развитие системы указательных местоимений во французском языке, «Уч. зап. [Горьковского ГПИИЯ]», VII, 1958.

[3] A. Haase, Syntaxe française du XVII-e siècle, Paris, 1925, стр. 43—44.

[4] См. парадигму спряжения глагола *estre* в кн.: Н. А. Катагощина, М. С. Гурычева, К. А. Аллендорф, История французского языка, М., 1963, стр. 434.

[5] В. Ф. Шишмарев, Книга для чтения по истории французского языка, М.—Л., 1955.

[6] «Chronique des Ducs de Normandie» par Benoit, publiée... par C. Fahlin, I, Lund, 1951 (длина «Хроники» — 21 932 стиха).

основа *estr-* практически не используется для выражения будущего времени; есть два примера, толкование которых спорно: «Tex chevalers ne *nestra* més» (B, 3936); «Ben *estera*, ce dit l'escrit» (B, 16 885); *nestra* может быть отрицательной формой глагола *estre* (*n'estra*) и формой будущего времени глагола *nestre* (*naître*); *estera* может быть формой глагола *ester* (< лат. *stare*). Контекст не уточняет значения приведенных форм. Формы conditionnel, использующие основу *estr-*, немногочисленны (8 примеров).

Итак, количественный анализ конкурирующих форм показывает, что к XII в. одна из возможных форм будущего времени глагола *estre* исчезла из употребления — это форма нового романского образования «инфинитив *estre* + личные формы вспомогательного глагола *aveir*».

Цифровые сравнения форм с *ser-* и *er-* явно не в пользу первых: тексты из «Книги для чтения» свидетельствуют о преимущественном употреблении этимологических форм (Действо об Адаме, Роман о Ру, отрывок из романа Тома, Роман о Ренаре и Роман об Александре содержат только латинскую форму; во всех остальных форма с *er-* встретилась 57 раз, форма с *-ser* 22 раза). Но conditionnel, как уже отмечалось, преимущественно строится на основе *ser-*. Следовательно, результат конкуренции обусловлен не частотностью употребления, а другими обстоятельствами. Первое касается системных отношений, складывающихся в языке. В системе форм будущего времени и будущего в прошедшем общей основой является основа *ser-*. Второе обстоятельство заключается в том, что формы будущего времени на *er-* часто совпадают фонетически и орфографически с формами имперфекта, ср.:

Формы будущего времени (этимологические)	Формы имперфекта (этимологические)
ед. число	
1-е лицо *ier* (лат. *ero*)	*ere, iere* (лат. *eram*)
2-е лицо *iers*	*eres, ieres*
3-е лицо *iert, ert*	*eret, ieret, ert*
мн. число	
1-е лицо *iermes, ermes*	*eriens*
2-е лицо *iertes, ertes*	*eriez*
3-е лицо *ierent*	*ierent, erent*

Приведенная парадигма [7] свидетельствует о том, что в будущем времени и имперфекте различаются формы 1 и 2-го лица ед. и мн. числа, самая же употребительная форма в повествовании, 3-е лицо, может выражаться одинаково в будущем времени и имперфекте. Для идентификации формы *ert* или *ierent* требуется большой контекст, а это противоречит принципу наименьшего усилия. Проблема омонимии решается в данном случае путем замены омонимичных форм другими: и будущее время, и имперфект имеют достаточное количество синонимов для выражения своего значения.

Прошедшее несовершенное время, имперфект, выражается в старофранцузский период в спряжении глагола *estre* двумя формами: латинской (см. выше) и французской: *esteie, esteies, esteit, estiens, estiez, esteient.*

[7] В парадигме даны формы, отмеченные в указанной работе Н. А. Катагощиной, М. С. Гурычевой, К. А. Аллендорф: будущее время *ier, iers, iert, iermes, iertes, ierent*; имперфект *ere, iere, eres, ieres, eret, ieret, erions, eriez, erent, ierent*, а также формы, указанные Ж. Англадом: будущее время *ier, iers, iert, ert, ermes, ertes, ierent*; имперфект *ere, iere, eres, eret, ieret, ert, eriens, eriez, erent, ierent* (J. Anglade, Grammaire élémentaire de l'ancien français, Paris, 1958, стр. 144). Все приведенные формы встречаются в анализируемых нами текстах.

В текстах из «Книги для чтения» только три (Песня о Роланде, Роман о Трое и произведения Марии Французской) употребляют обе формы. Остальные употребляют или только *esteit* (Роман о Ру, отрывок из романа Тома), или только *eret*, *ieret* (таковы Житие св. Алексея, Венчание на царство Людовика, отрывок из романа Беруля, Роман об Александре, Взятие Константинополя Ж. де Вильардуэна).

Выбор формы имперфекта для глагола *estre* обусловлен, по-видимому, тенденцией в речи к наименьшему усилию (см. выше об омонимии *ert* будущего времени и *ert* имперфекта) и тенденцией к наиболее экономной системе в языке. Экономия в системе проявляется в данном случае в том, что имперфект всех глаголов вырабатывает единообразное выражение: основа + окончание *-eie*, *-eies* и т. д.

Как видно из приведенных примеров, которые легко умножить, не всегда количественные характеристики могут служить основанием для выбора формы. Очевидно, что при определении закономерностей языковых изменений один количественный критерий недостаточен. Этот тезис является основным в споре Е. Куриловича с В. Манчаком по поводу закономерностей морфологического развития («законы изменения по аналогии») [8]. Изучая морфологические изменения по аналогии, В. Манчак приходит к выводу, что установление определенных закономерностей в изменениях по аналогии может быть осуществлено лишь путем точной проверки количественных характеристик употребляющихся форм. Старые оценки типа «более» или «менее» употребительная форма В. Манчак заменяет цифровыми сравнениями. Количественные сопоставления материала этимологических словарей и исторических грамматик романских, славянских и германских языков лежат в основе устанавливаемых В. Манчаком четырех основных законов развития по аналогии. Эти законы не совпадают с законами, определяемыми для изменений по аналогии Е. Куриловичем.

Е. Курилович формулирует свои «законы», исходя из положений о дихотомии языковой структуры, об отношениях оппозиции, поляризации, детерминации, существующих между элементами языковой структуры. Теория Е. Куриловича направлена на то, чтобы показать системный характер изменений в языке.

Таким образом, спор Е. Куриловича и В. Манчака [9] касается разных уровней наблюдения: Е. Курилович рассматривает изменение в системе языка, В. Манчак занят фактами речи. Нам представляется необходимым сопоставлять изменения в речи с изменениями в языке. Совершенно очевидно, что все изменения начинаются в речи, но не все изменения затрагивают систему языка. Изменения в речи могут получить цифровое выражение, но количественные показатели употребительности форм не всегда являются решающими в их судьбе.

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих положение о системных изменениях в языке.

---

[8] См.: W. Mańczak, Phonétique et morphologie historique du français, Warszawa—Łódź—Kraków, 1962; см. также: его же, Tendances générales du développement morphologique, «Lingua», XII, 1963; его же, Sur quelques régularités dans le développement de la conjugaison espagnole. «Revue de linguistique romane», XXVIII, 1963, 107—108. См., с другой стороны: J. Kuryłowicz, La nature des procès dits «analogiques», «Acta linguistica», V, 1—2, 1945—1949. См. также: его же, L'accentuation des langues indo-européennes, Wrocław — Kraków, 1958, его же, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956.

[9] Кроме указанных выше работ Е. Куриловича и В. Манчака, см. также: J. Kuryłowicz, Ogólne tendencje zmian analogicznych, BPTJ, XVII, 1958; W. Mańczak, Odpowiedź Prof. J. Kuryłowiczowi. BPTJ, XIX, 1960; J. Kuryłowicz. Odpowiedź językoznawstwa, BPTJ, XIX, 1960

1. А. Одрикур и А. Жюйян, основываясь на принципе экономии, сформулированном А. Мартине, предлагают следующее толкование изменения системы гласных в «протофранцузский» период:

ī(I)	*ū*(VII)	*ī*(I)	*ū*(VII)	*ī*(I)	*ū*(VII)
ē(II)	*ō*(VI)	——→ *ē*(II)	*ō*(VI)	——→ *ē*(II)	*ō*(VI)
ę̄(III)	*ǭ*(V)	*ę̄*(III)	*ǭ*(V)	*ę̄*(III)	*ǭ*(V)
ā(IV)	[*au*(VIII)]		*ao*(VIII)	*ae*(IV)	*ao*(VIII)
		ā(IV)			

Монофтонгизация *au* > *ao* вводит эту фонему в систему долгих гласных, что нарушает равновесие системы. Следует ожидать заполнения пустой клетки, что совершается в результате дифтонгизации, а затем монофтонгизации *ā* > *ae* > *e*. Таким образом, гласная заднего ряда *ao* > *o* получает коррелят в переднем ряду *ae* > *e*: это восстанавливает равновесие системы [10].

Рис. 1

2. Появление лабиализованных гласных фонем переднего ряда в системе можно попытаться объяснить также давлением системы, стремлением заполнить пустые клетки (рис. 1).

Рис. 1 отражает наличие противопоставления по закрытости и открытости, по верхнему и нижнему подъему, по передней и задней артикуляции, по лабиализованности и нелабиализованности. Появление в системе фонемы / у /, имеющей коррелят среди передних гласных фонем (*i*), позволяет ожидать заполнения пустой клетки в ряду фонем заднего ряда (*u* появляется к XIII в.). Пустые пересечения между *ę* и *ǫ*, *ę* и *ǫ* заполняются лабиализованными переднего ряда, сначала / ое / (XIII в.), затем / *ϕ* / (XIV—XV вв.).

Рис. 2: мужское склонение: тип I—*murs*, тип II — *pere*, тип III—*ber*; женское склонение: тип *floux*, тип *rose*, тип *suer*

Закон экономии фонологических изменений проявляется здесь в том, что при минимальном количестве ДII выражается максимальное количество фонем. Фонетические изменения начинаются в речи и приводят к появлению нового звука, который может стать комбинаторным вариантом фонемы и фонологизироваться (или фонологизируется новое противопоставление). Появление новой фонемы в системе вызывает ожидаемую реакцию системы: восстановление равновесия, т. е. или заполнение пустой клетки, или ликвидацию лишнего звена.

3. Падежная система имени в старофранцузском языке несимметрична в начале старофранцузского периода: т. е. показатель падежа (флексия *-s*) выражен только в I склонении (см. рис. 2).

[10] См.: A. G. Haudricourt, A. G. Juilland, Essai pour une histoire structurale du phonétisme français, Paris, 1949.

Расшифровка схемы в противопоставлениях мужского склонения представлена на рис. 3.

Передняя стенка рис. 3 показывает противопоставление прямого и косвенного падежа в ед. числе; задняя стенка показывает противопоставление падежей по мн. числу (склонение имен мужского рода). Вторая и третья группы склонения, как известно, этимологически не противопоставляют падежные флективные формы (*pere*, *ber*). Если к этому прибавить группу так называемых несклоняемых имен (тип *cors*) и группу имен женского рода, различающих число, но не различающих падеж, то отсутствие симметрии (равновесия) в системе становится очевидным: падежное противопоставление соблюдается только в одной группе существительных.

Рис. 3

Восстановление равновесия происходит путем заполнения «пустой клетки». В период, когда флексия была основным грамматическим показателем, тенденция к симметричной системе в языке и аналогия в речи приводят к появлению флексии *-s* в формах *pere(s)*, *ber(s)* и в именах женского рода (*raisons*, *santez* и др.), в группе несклоняемых существительных *-s* также становится показателем прямого падежа (*vers*, *cors*). Система двухпадежного склонения получает, таким образом, четкое флективное выражение в XII в., что отражено в письменных памятниках.

В речи, в устной ее форме, в это же время (конец старофранцузского периода) происходит интенсивное стирание падежных флективных различий, начавшееся, по-видимому, два или три столетия тому назад [11]. Это зафиксировано в старых текстах в виде смешения падежей: ряд диалектов, как, например, англо-нормандский, уже в XII в. содержит ошибки (и они попадают в тексты) на употребление падежных форм [12]. Изменения, которые претерпевают имена существительные в речи, приводят к системным изменениям, т. е. к разрушению склонения и к перестройке морфологической структуры имени.

К изменениям имен существительных в речи относятся: выпадение флексии *-s* в положении перед согласной следующего слова; более частое употребление предлогов, указывающих на имя-дополнение во фразе; фиксация места существительного во фразе. Все эти изменения являются изменениями синтаксического порядка и как таковые затрагивают категорию падежа. Очевидно, что затухание конечного *-s* не явилось фактором решающего значения в процессе разрушения флективного склонения, ибо *-s*, наряду с функцией различения падежей, выполняло функцию различения чисел; кроме того, непроизнесение конечного *-s* оказывается процессом длительным, продолжающимся до середины XVI в. [13]. Но падение конечно-

[11] См. об этом: L. Foulet, Petite syntaxe de l'ancien français, Paris, 1930, стр. 350—351; A. Dauzat, Tableau de la langue française, Origine, évolution, structure actuelle, Paris, 1939, стр. 163.

[12] P. Guiraud, Le moyen français, Paris, 1963, стр. 65.

[13] P. Guiraud, L'ancien français, Paris, 1963, стр. 94.

го *-s* явилось важным фактором в системном плане, свидетельствуя о системной перестройке формы имени: с исчезновением постпозитивных показателей грамматических значений происходит ревалоризация препозитивных показателей тех же значений (артикль, предлог).

Письменные памятники, которые единственно доступны нашему наблюдению, показывают исчезновение падежных различий к XIV—XV вв.; это происходит в связи с потерей формы прямого падежа. Форма прямого падежа, как форма, маркированная на парадигматической оси, менее частотна на синтагматической оси, т. е. в речи, чем и объясняется ее исчезновение.

Выравнивание именных форм происходит по немаркированному члену оппозиции (форма косвенного падежа ед. числа) за исключением тех имен, которые чаще употреблялись в форме прямого падежа: таковы имена собственные или имена лиц, для которых форма звательного прямого падежа была формой более употребительной, например *Charles*, *Jacques*, *Eve*, *Berthe* и т. д., *fils* «сын», *copain* «товарищ», *Sire* «господин» и др. Эти имена сохраняют иногда и форму косвенного падежа (*copain* «друг, товарищ», *compagnon* «компаньон»; *chantre* «певчий», *chanteur* «певец»; *pâtre* «пастух», *pasteur* «пастырь»; *gars* «парень», *garçon* «мальчик» и т. д.) при условии семантического, а иногда и грамматического расхождения (*on* — неопределенное местоимение, *homme* — существительное). Унификация форм имени проходит в соответствии с принципом экономии знака в оппозициях: потеря флексии, чередования основ, приводит к единообразной основе, несущей только лексическую информацию, грамматическая информация выражается препозитивно, служебными элементами.

4. Показательной является история развития системы числительных. Старофранцузскому известны три серии порядковых числительных: латинская *prins* (<*primus*), *altre*, (<*alter*), *tiers*, *quarz* и т.д., французская на *-ain*: *premerains*, *tierçains*, французская на *-iesme*, более поздняя по происхождению. Наиболее экономной оказывается система на *-iesme*, коррелирующаяся с системой количественных числительных: для выражения порядкового числительного, соотносимого с соответствующим количественным, более удобными оказываются формы, повторяющие основу количественного числительного, плюс единый знак, суффикс *-iesme* (*-ième*): *trois* — *troisième* и т. д.

5. Наконец, с точки зрения системных изменений можно рассмотреть изменение в структуре французского слова вообще. Флективное слово размещало лексическую и грамматическую информацию в такой последовательности:

лексическое значение	+	грамматическое значение

Эволюция фразы, словосочетания и слова во французском языке привела к установлению двух типов синтагмы [14]. Первый тип сохраняет следование морфемы флективного слова: «определяемое + определитель» (морфема, несущая лексическое значение, есть определяемое, морфема, несущая грамматическое значение, есть определитель). Второй тип использует обратный порядок следования элементов: «определитель + определяемое».

Первый тип порядка следования элементов синтагмы соответствует основной тенденции французского синтаксиса — тенденции к установлению

[14] Под синтагмой понимается любое сочетание двух значащих элементов, из которых один является определяемым (dètermine), другой— определителем (determinant).

прямого порядка слов. Эта тенденция способствует сохранению синтаксической автономии и лексической полнозначности слов в синтагмах, построенных по типу «определяемое + определитель», и грамматизации синтагм, построенных в обратном порядке, т. е. по типу «определитель + определяемое».

Определитель, находящийся в препозиции к ядру синтагмы, десемантизируется, теряет синтаксическую автономию (ударение и валентность) и превращается в грамматический элемент новообразованной аналитической формы. Члены синтагмы, определяющие ядро синтагмы (*ille homo*, *magis* (*plus*) *grandis* и т. д.) становятся грамматическими элементами, функции которых идентичны функциям морфем флективной формы слова при обратном порядке следования морфем: грамматическую информацию несет морфема, стоящая в препозиции к морфеме, несущей лексическую информацию. Образованная таким образом форма слова является аналитической формой[15], элементы которой выражают лексическое и грамматическое значение в такой последовательности:

грамматическое значение	+	лексическое значение

Такое строение французского слова является особенностью системного характера: не отдельные классы слов, но все, в системе, принимают структуру слова с грамматическим показателем в препозиции и лексическим в постпозиции. Разнобой в грамматическом оформлении разных классов слов противоречил бы принципу экономии.

*

Итак, наблюдения за языковыми изменениями позволяют заметить, что количественные характеристики элементов в речи не всегда могут иметь решающее значение для качественных системных изменений. Изменения системы нередко могут быть объяснены с точки зрения принципа, или закона экономии, сформулированного А. Мартине. Правда, объяснения языковых изменений, опирающиеся на принцип экономии, часто становятся объектом критики, относящей понятия «давления системы», «заполнения пустой клетки», «ликвидации лишнего звена» к понятиям телеологического свойства. Однако стремление уловить закономерности в системных изменениях и сформулировать их в терминах, относящихся именно к системе и отражающих движение в системе, не означает забвения или непонимания связи языка, через речь, с действительностью. В конечном итоге назначение языка служить средством общения и регулирует языковые изменения. Функционирование и развитие системы опосредованно отражают различные стороны человеческой деятельности; психология, социология, философия решат, возможно, когда-нибудь сложное взаимодействие всех факторов, определяющих всесторонне механизм языковых изменений. До тех пор пока это не будет осуществлено, любое диахроническое исследование будет неизбежно в какой-то степени односторонним.

[15] Об аналитической форме французского слова см., например, у М. А. Бородиной в статье «К вопросу об аналитической морфологии французского языка» (сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1963

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. И. ЛЫТКИН

ЛАБИАЛИЗОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ СРЕДНЕГО РЯДА В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ

В литературных языках пермских народов (удмуртов, коми-пермяков и коми-зырян), как и в русском литературном языке, имеются только две лабиализованные гласные, а именно: *u* — гласный заднего ряда верхнего подъема и *o* — гласный заднего ряда среднего подъема; по своей артикуляции и акустике они близки русским гласным *u* и *o* [1]. В литературных языках пермских народов лабиализованные гласные переднего ряда отсутствуют, хотя и предполагается существование таковых в финно-угорском языке-основе (например, *ü*). В пермских языках употребление гласных переднего ряда вообще ограничено — имеются только две переднерядные фонемы (*i*, *e*), между тем как во многих других современных финно-угорских языках (финском, венгерском, марийском и т. д.) наличествует большое количество гласных переднего ряда (*i*, *e*, *ö*, *ä*, *ü*). Это объясняется тем, что в пермских языках произошла веляризация многих финно-угорских гласных переднего ряда, т. е. артикуляция переднерядных гласных сместилась назад (прежний вид вокализма хорошо сохранился, например, в венгерском, финском, марийском и мордовском языках), ср. венг. *kell* (*käll*), коми *kolę* «надо»; фин. *lähteä*, коми *lokt-* «приходить»; фин. *sydän*, коми *s'ęlęm* «сердце»; марийск. *püž-*, коми *pęs'* «пот; жаркий»; марийск. *müktö*, коми *mįk* «уклейка» и т. д.

В отдельных диалектах (по большей части — в окраинных) пермских языков, кроме лабиализованных *o*, *u*, имеются еще две дополнительные лабиализованные гласные среднего ряда: *ȕ* (верхнего подъема) и *ȯ* (среднего подъема). Эти фонемы зафиксированы в работах многих языковедов, начиная с конца XIX в. Однако при этом не всегда давалась подробная характеристика артикуляции этих специфических гласных, употреблялись разные графические средства для их передачи; никто не пытался систематизировать сведения об этих фонемах, встречающихся в разных диалектах пермских языков. Эти фонемы смешивались с комбинаторными вариантами других фонем: в записях некоторых исследователей иногда употреблены одни и те же буквы для фонем *ȯ*, *ȕ* тех диалектов, в которых таковые имеются, и для комбинаторных вариантов фонем (*o*, *u*) тех диалектов, в которых нет среднерядных лабиализованных гласных фонем *ȯ*, *ȕ*. Все это понуждает нас специально рассмотреть вопрос о лабиализованных гласных среднего ряда.

Краткую характеристику артикуляции этих гласных впервые дали венгерский ученый Б. Мункачи и финский языковед А. Генец. А. Генец,

[1] См.: «Грамматика современного удмуртского языка», Ижевск, 1962, стр. 16—18; «Коми-пермяцкий язык», Кудымкар, 1962, стр. 68—69; «Современный коми язык», ч. 1 — Фонетика, лексика, морфология, Сыктывкар, 1955, стр. 25—26. См. также: Г. Г. Бараксанов, Формирование языковых норм коми литературного языка, Сыктывкар, 1964, стр. 23—24.

изучавший коми-язьвинский диалект (он называл его восточнопермским) [2] обозначил эти фонемы буквами *у* и *ö* и охарактеризовал их следующим образом: *ö* — довольно узкое *о* с губной артикуляцией и оттянутым назад языком, нечто среднее между *ɵ*[3] и *е*; *у* — с *і*-овой губной артикуляцией и положением языка между *и* и *і*. Артикуляция этих специфических гласных описывается им, исходя из финских переднерядных *ö* и *у*, поэтому при обозначении этих коми-язьвинских гласных буквами финского алфавита (тогда еще не было общепринятой финно-угорской транскрипции) делается специальная оговорка о том, что эти гласные отличаются от финских *ö* и *у*: в коми-язьвинском диалекте *ö* занимает промежуточное положение между заднерядным *ɵ* и переднерядным *е*, а *у* — между *и* и *і*. Иными словами, эти коми-язьвинские гласные являются среднерядными, хотя они и переданы буквами (*ö*, *у*), которыми обозначаются гласные переднего ряда.

Коми-язьвинский диалект изучался нами вместе с С. А. Поповым в 1949—1953 гг., при этом была сделана попытка уточнить артикуляцию рассматриваемых гласных (*ȯ*, *ü̇*), которые мы тогда обозначали русскими буквами *ȯ̊*, *ÿ*. Эти звуки получили следующую характеристику: фонема *ȯ̊* (*ȯ*) — это довольно сильно огубленный гласный среднего (точнее, средне-переднего) ряда, среднего подъема; при его произношении язык артикулирует несколько выше и ближе к передней части рта, чем при произношении коми-пермяцкого и коми-зырянского *ö* (*ę*); фонема *ÿ* (по финно-угорской транскрипции *ш* или *ü̇*) представляет собой огубленный гласный верхнего подъема средне-переднего ряда; этот звук напоминает собой лабиализованное *ы*, но более переднего образования, чем русское *ы* в словах *мыть*, *быть*, *высь*, или русское палатализованное *у* в словах типа *воюет* (*вайÿйыт*) [4].

Б. Мункачи в числе других удмуртских диалектов изучал юго-западный диалект, в котором имеются лабиализованные гласные среднего ряда *ȯ* и *ü̇* (Мункачи их обозначает соответственно буквами *ö̇* и *ö̈*) и который им назван мамадышским — по месту жительства его информатора, происходившего из дер. Улын-гурт (по-русски Нижняя Уча) [5] Мамадышского уезда Казанской губ. (теперь Кукморский р-н ТатАССР). Об артикуляции звука, обозначенного им буквой *ö̈* (= *ü̇*), Мункачи ничего не пишет, по-видимому, считая этот звук тождественным венгерскому *ö*. Звук *ö̇* (= *ȯ*) он трактует как средний звук между венгерским *ö* и *ü* — при произношении *ö̇* губы немного выдвигаются вперед, но не образуют напряженного искривления (такого, как, например, в венгерских *ö*, *ü*) [6].

Изучавший удмуртские диалекты финский языковед Ю. Вихман побывал на территории тех говоров, где имеются гласные *ȯ* и *ü̇* [7]. Эти гласные у него обозначены буквами *ö* и *ш*, и им дано следующее, недостаточно точное объяснение: *ö* — это вид *ö*-овых звуков, артикуляция которого отличается от финского *ö* тем, что при его произношении губы выдвигаются энергичнее

---

[2] A. Genetz, Ost-permische Studien, JSFOu, XV, 1. 1897.

[3] А. Генец описывает гласный *ɵ* так: «довольно открытый, напоминающий *а* задненебный гласный без губной артикуляции» (указ. соч., стр. 4).

[4] См.: В. И. Лыткин, Коми-язьвинский диалект, М., 1961, стр. 28 и 26.

[5] Munkácsi B., Votjak népköltészeti hagyományok, Budapest, 1887, стр. 32. Между прочим, позже, в 1915—1916 гг., Мункачи приводит то же название (Улын-гурт), однако, имея в виду совершенно другой населенный пункт (русск. Оштормо Юмья), находящийся в том же Кукморском районе.

[6] Munkácsi B., указ. соч., стр. XIII.

[7] Он был в дер. Большом Карлыгане Уржумского уезда Вятской губ. (теперь Хлебниковский р-н Марийской АССР) и в дер. Килмез Селты Малмыжского уезда Вятской губ. (ныне Малмыжский р-н Кировской обл.); этот говор им назван малмыжско-уржумским.

и язык выдвинут немного вперед; *ш* — это палатализованное *и*, которое акустически очень близко к финляндско-шведскому *u* (например, в слове *hus*) [8].

В 1957 г. этот диалект, распространенный в бассейне р. Шошмы (правого притока р. Вятки), изучался нами вместе с Т. И. Тепляшиной. При описании артикуляции рассматриваемых гласных отмечалось более зад-

Рис. 1

Рис. 2

нее образование удмуртского шошминского *ö* (по сравнению с немецким *ö*): «...шошминское *ö* можно определить как лабиализованный гласный среднего (вернее, передне-среднего) ряда среднего подъема»; в свою очередь «шошминский звук *ÿ* определяется как лабиализованный гласный переднего (точнее, передне-среднего) ряда верхнего подъема» [9] (он отличается от немецкого *ü* тем, что губы менее вытянуты вперед и значительно меньше округлены).

Рис. 3

Рис. 4

И. В. Тараканов, изучавший фонетику самого южного говора юго-западного наречия удмуртского языка, считает фонему *ó* «сильно лабиализованным согласным среднего ряда среднего подъема» и видит ее отличие от *ö* литературного языка и других диалектов в «несколько своеобразном положении губ (лабиализованности) и более передней артикуляции языка, благодаря чему акустически он [*ó*.— *В. Л.*] несколько напоминает немец-

---

[8] Y. Wichman, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Wotjakischen mit Rücksicht auf das Syrjänische, Helsinki, 1915 (MSFOu, XXXVI), стр. V.

[9] Т. И. Тепляшина, Из наблюдений над фонетическими особенностями шошминского диалекта удмуртского языка, «Вопросы языка, литературы и фольклора» («Труды Марийского НИИЯЛИ», XV), Йошкар-Ола, 1961, стр. 127—128.

кое *ö*» [10] (см. рис. 1, 2); бавлинский *ü* признается им акустически «очень близким к немецкому и эстонскому *ü*, хотя артикуляция его более задняя, чем у немецкого и эстонского *ü*» [11] (см. рис. 3, 4).

Рассматриваемые гласные зарегистрированы также в записях Мункачи, который в 1915—1916 гг. в Будапеште изучал удмуртский язык от военнопленных первой мировой войны [12], носителей диалектов деревень Улынгурт [русский вариант ее названия Мункачи приводит как Оштормо Юмья (см. примеч. 5)] Старо-Юмьинской волости Мамадышского уезда Казанской губ. (теперь Кумкорский р-н ТатАССР); Куркинья-гурт (русск. Куркино) той же волости; Улун-Кумор (русск. Нижний Кумор) той же волости; Тыло-гурт (русск. Верхняя Юмья) той же волости; Ушмы (русск. Верхняя Ушма) Балтасинской волости Казанской губ. и уезда (теперь Балтасинского р-на ТатАССР); Урсы-гурт (русск. Покровское Урустамак) Ивановской области Бугульминского уезда Самарской губ. (теперь Бавлинский р-н ТатАССР). В книге Мункачи — Фокша рассматриваемые звуки передаются буквами *ọ̈*, *ш* (= *ȯ*, *ụ̈*).

На территории коми-зырянского языка лабиализованные гласные среднего ряда встречаются в нуль-эловых говорах [13] и в говоре села Вочь верхневычегодского диалекта; в этих говорах гласный среднего ряда среднего подъема *ö* произносится с огублением — гораздо меньшим, чем при произношении гласного *о*; гласный среднего ряда верхнего подъема *ы* произносится тоже с огублением, которое здесь проявляется гораздо меньше, чем при произношении гласного *у* [14].

На лабиализованный характер гласных вишерского говора, обозначаемых в коми литературном языке буквами *ö* и *ы*, впервые обратил внимание П. А. Аристэ, который в Эстонии в 1941 г. наблюдал за произношением носителя вишерского говора родом из дер. Нившеры. П. А. Аристэ, установив лабиализованный характер этих гласных, отмечает, что здесь «лабиализованные *ö* и *ü* (собственно *ọ̈* и *ụ̈*) отличаются от лабиализованных гласных *ö* и *ü* (*y*) эстонского и финского языков. При образовании коми гласных спинка языка имеет более задний подъем, чем при образовании соответствующих прибалтийско-финских звуков» [15]; добавим еще, что эти звуки слабо лабиализованные: при произношении *ü* (*ш*) чуть-чуть выдвигаются вперед только края губ, а середина, образуя плоскую щель, пассивна. Таково же примерно участие губ и при произношении *ȯ*. Мы называем такие огубленные гласные краеволабиализованными.

В 1964 г. нами производились наблюдения над произношением этих звуков во многих деревнях бассейна р. Вишеры, а также над произношением 5—6 человек из села Мыелдина, проживающих в Усть-Куломе; на-

---

[10] И. В. Тараканов, Фонетические особенности бавлинского диалекта удмуртского языка (в свете экспериментальных данных). Канд. диссерт., Тарту, 1958, стр. 86—87 (*ȯ*, *ü* передаются здесь буквами *ö*, *ü*). Рис. 1—4 приводятся из диссертации И. В. Тараканова.

[11] Там же, стр. 92.

[12] «Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken aus dem Nachlasse von B. Munkácsi» hrsg. von D. R. Fuchs, Helsinki, 1952.

[13] Нуль-эловые говоры верхневычегодского диалекта разбиваются на два территориально разобщенных куста: северный — в бассейне р. Вишеры с притоками (Большелужский, Богородский и Нившерский сельсоветы Корткеросского р-на Коми АССР) и восточный (Усть-Куломский, Мыелдинский, Носимский, Усть-Немский и Донский сельсоветы Усть-Куломского р-на Коми АССР); диалект второго куста мы называем восточновычегодским. Говор села Вочь, расположенного к югу от территории восточновычегодского диалекта, относится к эловому диалекту.

[14] См. «Верхневычегодский диалект коми языка. Историко-филологический сборник», 10, Сыктывкар, 1966, стр. 7, 17.

[15] P. Ariste, Mõningaid märkmeid komi keele foneetika alalt, «Emakeele Seltsi aastaraamat», V, Tallinn, 1959, стр. 253—256.

блюдения подтвердили характеристику этих гласных, данную П. А. Аристэ. В 1966 г. мы сделали фотоснимок положения губ уроженки д. Ивановской (по-коми Джиан — первой деревни на Вишере со стороны р. Вычегды) Ю. А. Поповой, 70 лет. Произношение орфографических *ӧ* и *ы* жителей д. Вочь нами не изучалось. Мы не вполне уверены также в том, что во

Рис. 5

Рис. 6

всех населенных пунктах нуль-эловых говоров Верхней Вычегды имеются лабиализованные *о* и *ӥ*, хотя об этом и пишут авторы монографии «Верхневычегодский диалект» (см. выше) [16].

Рис. 7

Рис. 8

На Вишере лабиализованные гласные среднего ряда держатся крепко, лабиализация не утрачивается, хотя степень ее не у всех вишерцев одинакова. У Ю. А. Поповой (рис. 5, 6) губы довольно сильно выдвинуты вперед, тогда как у других объектов лабиализация значительно меньше (рис. 7, 8) — лишь края губ вытягиваются, и эти звуки по своей артикуляции стоят ближе к звукам юго-западных удмуртских диалектов.

Таким образом, лабиализованные гласные среднего ряда сохранились в следующих диалектах пермских языков: юго-западном диалекте удмуртского языка, коми-язьвинском диалекте и вишерском и восточновычегодском говорах коми-зырянского языка. Они встречаются только в первом

[16] В других коми-зырянских и коми-пермяцких диалектах вишерскому и восточновычегодскому *о* и *ӥ* соответствуют *ӧ* (*ᵉ*) и *ы* (*i*), представляющие собой нелабиализованные гласные среднего ряда среднего (*ӧ*) и верхнего (*ы*) подъема (см. подробную характеристику этих звуков: Г. Г. Бараксанов, указ. соч., стр. 21—23). Вишерский *о* совпадает с *о* в коми-язьвинском диалекте, а вишерскому *ӥ* в коми-язьвинском соответствует *ᵉ* (коми-язьвинский *ӥ* иного происхождения).

слоге (в единичных исключениях эти гласные появились в непервом слоге в силу разных фонетических процессов, имевших место в отдельной жизни этих диалектов). Почти абсолютное тождество артикуляций среднерядных лабиализованных гласных, встречающихся в разных диалектах, отделенных друг от друга пространством в несколько сот километров, свидетельствует о том, что эти звуки существовали в фонетической системе общепермского языка-основы и отнюдь не представляют собой инновацию, появившуюся на местах, территориально разобщенных. Между тем в финно-угорском праязыке гласные среднего ряда (в частности, лабиализованные среднерядные гласные) вообще отсутствовали: там имелись только гласные переднего и заднего ряда [17]. Возникает вопрос, как образовались эти специфические гласные в общепермском языке, какие звуки финно-угорского языка-основы послужили базой при формировании их и в силу каких причин произошло столь резкое изменение вокализма, которое наблюдается в общепермской системе гласных по сравнению с системой гласных финно-угорского языка-основы: в общепермском вокализме, кроме рассматриваемых лабиализованных среднего ряда (*ö* и *ü*), появились гласные верхне-среднего подъема (*ǫ*, *ǫ̈*, *ę*), которых не было в финно-угорском праязыке, произошло массовое сужение гласных и т. д. [18].

Для ответа на этот вопрос вспомним, что пермские народы примерно тысячу лет тому назад составляли известное единство и жили в бассейне р. Камы. Прапермяне отделились от остальных финно-угров не позднее первого тысячелетия до н. э.; с этого времени началась прапермская эпоха, которая длилась не менее полутора тысяч лет.

Известно, что в Прикамье в VII—III вв. до н. э. существовала ананьинская культура, носителями которой, как полагают археологи, были финно-угорские племена, в том числе и предки пермских народов; конкретные и достаточно многочисленные связи ананьинской культуры с современными удмуртами и коми-пермяками прослеживаются особенно ясно [19]. Археологи предполагают, что еще в самом начале прапермского периода обитатели Прикамья смешались с неким не-финно-угорским народом, выдвигается «гипотеза о каком-то толчке, полученном в VIII—VII вв. до н. э. камскими племенами из-за Урала, принудившим их, отчасти вместе с пришельцами, сместиться на запад и занять территорию Нижней Камы, Средней Волги и даже Ветлуги. В этих районах заметна резкая смена местных культур ананьинской культурой, которая принесла с собой и свежий, резко выраженный монголоидный тип. С этого времени вся огромная территория Прикамья и некоторые смежные районы объединяются как область обитания единокультурных, родственных ананьинских племен» [20].

Предки пермских народов отделились от остальных финно-угров, по-видимому, как раз в период ананьинской культуры (в первом тысячелетии до н. э.); к этому времени можно относить и формирование их языковой специфики. Смещение с народом, язык которого, по-видимому, значительно отличался от финно-угорского праязыка, привело к коренным изменениям речи прапермян, в частности их системы гласных. Лабиализованные гласные среднего ряда (*ö*, *ü*), сохранившиеся в ряде современных диалек-

---

[17] См.: E. Itkonen, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen, «Finnisch-ugrische Forschungen», XXXI, 3, 1953—1954, стр. 332.

[18] См.: В. И. Лыткин, Исторический вокализм пермских языков, М., 1964, стр. 218, 228. См. также: E. Itkonen, указ. соч., стр. 332—333 (у Итконена несколько иначе: у него в общепермском языке, например, вместо *ü* воспроизведен звук *i*).

[19] См.: О. Н. Бадер, В. А. Оборин, На заре истории Прикамья, Пермь, 1958, стр. 110.

[20] Там же, стр. 95.

тов пермских языков, несомненно, являются пережитками древней, общепермской системы гласных. Для того чтобы ответить на вопрос: к каким гласным общепермского языка они восходят, необходимо рассмотреть отдельно следующие гласные: гласный *ȯ* всех тех диалектов пермских языков, где он сохранился, и гласный *ӥ* (*ш*) по отдельности в коми-язьвинском диалекте, в юго-западном диалекте удмуртского языка, в разных говорах верхневычегодского диалекта коми языка.

1. В настоящее время можно считать установленным, что звук *ȯ* имелся уже в общепермском языке; он сохранился в прежнем виде в вышеперечисленных диалектах, в остальных же диалектах пермских языков делабиализовался (*ȯ* > *ę*). Выяснено также, что общепермский **ȯ* во многих случаях восходит к допермскому **ä* [21]. Правда, современный *ȯ* (*ę*) не всегда восходит к общепермскому **ȯ* — в отдельных словах он происходит от других звуков (**ǫ̇*, **ę*) [22].

2. Гласный *ӥ* (*ш*) коми-язьвинского диалекта в словах типа *l'ӥm* «черемуха» (вс. [23] *l'ę̈m*; юз., виш., восств. *l'ȯm*, бес. *l'em*, фин. *tuomi*) является рефлексом прапермского **ǫ̇* (по Итконену — долгого **ǫ̇*), который в других современных пермских диалектах изменился в *ę* (*ȯ*), *i*, *ɵ*, *e* и т. д. [24]. Данный звук восходит к допермскому долгому **ō*. Возможно, общепермский **ǫ̇* по своему качеству мало отличался от современного коми-язьвинского *ӥ* (*ш*).

3. Гласный звук юго-западных удмуртских диалектов в словах типа *lӥl* «душа» (вс. *lǫ̇l*, кя. *lu·l*, бес. *lɵl*, фин. *löyly*) мы возводили к общепермскому **ǫ̇* [25], чтобы показать, что здесь был гласный н е з а д н е г о ряда и не такой гласный, который реконструируется в словах типа кя. *l'ӥm* «черемуха» и типа вс. *kǫ̇d-* «который» (кя. *ku·d-*, юз., бес. *kud-*, фин. *ku-*). Этот звук *ӥ* юго-западного диалекта прежде мы возводили к общепермскому **ȯ* [26], но этот же прапермский звук реконструируется и в словах типа кя. *l'ӥm*, между тем в словах этих двух типов (кя. *lu·l* и кя. *l'ӥm*) наблюдаются совершенно разные звуковые соответствия (см. приведенные выше сопоставления). Поэтому мы вынуждены были возводить (весьма условно) гласный звук слов типа юз. *lӥl* к прапермскому **ǫ̇*. Э. Итконен нашел другой выход: гласные слов типа юз. *lӥl* он возводит к прапермскому краткому **ȯ*, а гласные слов типа кя. *l'ӥm* — к долгому **ǫ̇* [27]. Такое решение вопроса открывает дорогу к изъятию реконструированных нами лабиализованных гласных переднего ряда — не только **ǫ̇* (это в первую очередь), но и **ȯ* и **ӥ*.

Примеров на **ȯ* и **ӥ* с убедительной этимологией очень немного [28], и мы условно воспроизводили прапермские **ȯ* и **ӥ* только с той целью, что-

---

[21] В. И. Л ы т к и н, Исторический вокализм пермских языков, стр. 129.

[22] Там же, стр. 231—233.

[23] Здесь и далее используются сокращенные названия диалектов: бес. — бесермянский (удмуртский), вв. — верхневычегодский (коми), виш. — вишерский (коми), восств. — восточновычегодский (коми), вс. — верхнесысольский (коми), кя. — коми-язьвинский, юз. — юго-западный (удмуртский).

[24] Там же, стр. 148—149.

[25] Там же, стр. 75.

[26] V. L õ t k i n, *o*-hääliku ajaloo küsimusest komi keeles, «Emakeele Seltsi aastaraamat», VII, Tallinn, 1961, стр. 226.

[27] Э. И т к о н е н, [рец. на кн.:] В. И. Лыткин, Исторический вокализм..., ВЯ, 1967, 1, стр. 142.

[28] Э. Итконен отмечает (там же, стр. 144), что в числе соответствий для пермских слов, предполагаемых нами в других финно-угорских языках, имеется довольно много таких, которые вряд ли можно принять. Среди слов, приведенных нами в «Историческом вокализме пермских языков» (а их целая тысяча), имеются, бесспорно, неубедительные этимологии — хотя бы уже потому, что многие слова не имеют окончательной этимологии. Например, коми *ȩd* «жар» (удм. *ȩdi* «сила») до самого последнего вре-

бы обратить внимание, что в таких словах, как коми *s'ursa* «позвоночный столб» (юз. *s'ȕr-*, бес. *s'ɵr-*, марийск. *šör*) и коми (кя.) *s'ȯlɵm* «сердце» (удм. *s'ulem*, фин. *sydän*) были не заднерядные гласные. Весьма возможно, что гласный звук первого слога некоторых из тех слов, в которых мы реконструировали общепермское **ȯ* и **ȕ*, восходит к **ǫ̇*, как это предполагает Э. Итконен [29].

4. Особо стоит вопрос о происхождении гласного *ȕ* (*ш*), встречающегося в ряде верхневычегодных говоров. По нашему предположению, этот гласный представляет собой прапермское **ȕ*. Э. Итконен этот верхневычегодский звук *ȕ* (*ш*), которому соответствует в других диалектах пермских языков *i̯* (кя., юз., бес. *ɵ*), возводит к общепермскому **i̯* и считает, что в тех верхневычегодских говорах, где встречается *ȕ* (*ш*), произошла лабиализация *i̯* позже, в отдельной жизни этих говоров [30]. Представляется, что следующие обстоятельства говорят о том, что данный звук восходит к общепермскому **ȕ* (а не к **i̯*).

а) Гласный *ȕ* (*ш*) втречается в четырех разрозненных верхневычегодских говорах: вишерском, восточновычегодском, усть-куломском и вочевском, отделенных друг от друга большим пространством и заселенных в разное время (XV—XVII вв.) выходцами из разных территорий коми языка: в Вишеру они проникают со стороны Выми не позже конца XV в., в Усть-Кулом и восточную Вычегду (Усть-Немь, Мыелдин и т. д.) — с конца XVII в., а Вочь начинает заселяться в конце XVII в. со стороны Сысолы (говор населения Вочи эловый, как и сысольский). Трудно допустить, чтобы в этих исторически и территориально разрозненных диалектах *i̯* развился в одном направлении — его лабиализации.

б) Пожалуй, невозможно объяснить, почему в указанных верхневычегодских говорах произошла лабиализация *i̯* (*i̯* > *ȕ*) в условиях массовой делабиализации в диалектах пермских языков, ср. **ȯ* > *ɵ*, **ǫ̇* > *ɵ* (*i̯*).

в) Нельзя объяснить случайностью сохранение другого лабиализованного гласного (*ȯ*) в рассматриваемых верхневычегодских диалектах. Два лабиализованных гласных *ȕ*, *ȯ* являются составным элементом вокализма окраинных, архаичных диалектов пермских языков: коми — вишерского, усть-куломского, восточновычегодского, вочевского, коми-язьвинского, удмуртского юго-западного. Весьма примечательно совместное бытование этих двух лабиализованных гласных в шести диалектах (говорах) пермских языков, причем нет такого диалекта, где отсутствовала бы одна из этих фонем при наличии другой. Между тем эти шесть диалектов разбросаны на обширном пространстве: самый крайний северный пункт (с. Нившера) отделен от крайнего южного (Бавлинский р-н ТатАССР) пространством (по прямой линии) в 900 км, а самый восточный пункт (бассейн р. Язьвы) отстоит от самого западного пункта (восток МарАССР) в 400 км.

г) Г. Ф. Миллер в своих записях удмуртских слов, произведенных в 1733 г. в Казанской губ., удмуртское *ы* передает буквами *ü* (9 примеров), *ui* (4 примера), *i* (3 примера): *Lümü* «снег», *Nürr* «нос», *Puis* «мука» и т. д.[31]. В связи с такой передачей возник вопрос, «не произносился ли этот глас-

---

мени сопоставляли с фин. *into* «рвение, усердие» (T. E. U o t i l a, Syrjänische Chrestomathie, Helsinki, 1938; Y. H. T o i v o n e n, Suomen kielen etymologinen sanakirja, Helsinki, 1955; W. S t e i n i t z, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus, Berlin, 1964 и т. д.), а Э. Итконен пишет, что этим пермским словам в других финно-угорских языках не найдено соответствий (указ. соч., стр. 142).

[29] См.: Э. И т к о н е н, указ. соч., стр. 143. Итконен предполагает также краткие и долгие **ǫ̇* — **ǭ*, **i̯* — **ī̯* (там же).

[30] Там же, стр. 143.

[31] G. F. M i l l e r, Sammlung russischer Geschichte, II, SPb., 1758.

ный лабиализованно»[32]. Тот же принцип представлен в передаче Г. Ф. Миллером коми-пермяцких и коми-зырянских слов: *Tü* «озеро», *Kük* «два», *Puisan* «стол» и т. д. Обозначение звука *ы* буквой *ü* (*ui*) можно объяснить, конечно, и тем, что в распоряжении Миллера не было других средств для передачи этого специфического гласного. Но здесь нужно принять во внимание то, что в современных казанских диалектах (юз.) удмуртского языка нет звука *ы* (*ṵ*), *вместо него имеется нелабиализованный* гласный заднего ряда среднего подъема *ɵ* (а этот последний, если допустить, что он существовал и при Миллере, никак не мог быть передан буквой *ü*, а уж скорее буквой *a*). Более правдоподобным является предположение о существовании в казанском диалекте удмуртского языка середины XVIII в. лабиализованного гласного, вроде *ȳ* (может быть, *ü*), который впоследствии перешел в *ɵ*. Аналогичный процесс перехода **ü* > *ɵ* мы допускаем также и для бесермянского и коми-язьвинского диалектов. Не исключена возможность, что в этих трех диалектах переход **ü* > *ɵ* произошел под влиянием тюркских языков: представители юго-западного и бесермянского диалектов продолжают тесно контактировать с татарами, а коми-язьвинцы в прошлом были в близком соприкосновении с предками *башкир, а, может быть, и с другими тюркскими народами*[33].

д) Современному коми и удмуртскому *ṵ* (вв. *ü*, кя. бес. юз. *ɵ*) в других финно-угорских языках соответствуют лабиализованные гласные верхнего подъема (*u*, *ü*, *ū*) почти в 50 случаях, и в них предполагаются допермские **u*, **ū*, **ü*[34]. Непонятно, почему допермские лабиализованные гласные в общепермском языке должны были претерпеть процесс делабиализации — ведь в общепермском языке несомненно были такие лабиализованные гласные, как **ȯ*, **ǫ̇*, значит, лабиализованные гласные среднего ряда не были чужды системе общепермского языка. Правда, имеется несколько слов, в которых *ы* восходит не к допермским **u* (*ü*, *ū*), а к **ē* (**kēle-* «язык», **mēle-* «ум, настроение», **n'ēl-* «глотать»). Э. Итконен воспроизводит для таких слов общепермское долгое **ī*. Нам кажется, что скорее можно воспроизвести общепермское **ū̄*, которое развилось (лабиализовалось и отодвинулось назад) из допермского **ē* под влиянием соседних согласных.

е) Частое замещение общепермского лабиализованного **ǫ̇* звуком *ы* (наряду с *ȯ* < *ȯ*) в современных пермских языках (в особенности в удмуртском) тоже, по-видимому, говорит о том, что во время исчезновения этого прапермского звука **ǫ̇* гласный *ы* произносился еще лабиализованно; ср. общепермск. **ǫ̇* > удм. *ы*: *быж* «хвост», *бырйыны* «выбирать», *выйыны* «тонуть», *выр* «возвышенность», *вырзыны* «тронуться», *вырт* «ниченки (ткацк.)», *кыж-* «гравий», *кыз* «ель», *кизьыны* (из **кызьыны*) «сеять», *лыз* «синий», *мыд* «иной», *пыжыны* «печь», *сыскыны* «сосать», *ым* «рот», *вын* «брат», *ышыны* «потеряться»; общепермск. **ǫ̇* > коми *ы*: *пывсян* «баня», *вый* «масло», *кызпыд* «грипп», *быздыны* «сыпаться, распускаться», *ырсӧдлыны* «обманывать»[35].

ж) Массовое междиалектное чередование *u* ~ *i*, наблюдаемое в удмуртском языке (*kur* ~ *kir* «лубок», *kusk* ~ *kisk* «поясница», *uno* ~ *ino* «много» и др.), и полное отсутствие такого чередования в коми языке, возможно объяснять тем, что в отдельных диалектах удмуртского языка гласный *ṵ* сохранялся долгое время.

[32] Т. И. Тепляшина, Памятники удмуртской письменности XVIII в., вып. 1, М., 1965, стр. 33.

[33] См.: MSFOu, 125, стр. 230—231.

[34] См.: В. И. Лыткин, Исторический вокализм..., стр. 186—204; E. Itkonen, указ. соч., стр. 300—301.

[35] В. И. Лыткин, Исторический вокализм..., стр. 149.

з) Реконструированные гласные общепермского языка образуют стройную систему: все среднерядные и заднерядные гласные (кроме гласного нижнего подъема *а*) были лабиализованные, а гласные переднего ряда — нелабиализованные. Систему прапермских гласных можно представить в следующей таблице:

i	*ü*(*ǖ*)	*u*
e̞	*ö*(*ȫ*)	*o*(*ō*)
e	*o*	*o*
ɛ		*a*

В этой таблице для нелабиализованного *i̯* нет места.

Таким образом, историю звука *i̯* можно представить следующим образом:

Допермск. **u*(*ü*,*ü*) > общепермск.* *ü* → *ü* вв. говоры; → *ö* бес., юз., кн. (под влиянием тюркских языков); → *i̯* остальные диалекты (делабиализация)

Итак, в формировании гласных среднего ряда, являющихся специфической особенностью пермских языков, по всей вероятности, видную роль сыграл внешнелингвистический фактор (не-финно-угорский субстрат). Иноязычным влиянием можно объяснить и другие явления вокализма общепермского языка, например, массовое сужение широких гласных (допермск. **maksa* > общепермск. **musk-* «печень», допермск. **s'arve-* > общепермск. **s' ur-* «рог»), а также перестройку прежней системы противопоставления кратких гласных долгим, начавшуюся еще в прапермском языке и приведшую в конечном счете к утрате долгих гласных [36].

---

[36] Э. Итконен склонен думать, что в современном коми языке сохранились пережитки прежних долгих гласных (Э. Итконен, указ. соч., стр. 142). Известно, что гласные в определенном положении в фразе (например, перед паузой) могут произноситься *более длительно* (см. «Современный коми язык», стр. 27—28; «Грамматика современного удмуртского языка», стр. 10—11). Но сомнительно, чтобы они произносились в определенных словах длиннее, чем в других словах в одном и том же фонетическом положении, или чтобы в закрытом слоге перед звонкими согласными они *имели большую долготу, чем в других фонетических условиях* (см.: Э. Итконен, указ. соч.); это необходимо проверить экспериментальным путем.

Долгие гласные могут спорадически появляться в некоторых словах тех диалектов, где сохранились долгие гласные вторичного происхождения, например, в нуль-эловых диалектах (*рӣ* < *pul* «брусника»), т. е. там, где система гласных не противоречит употреблению долгих гласных. Так, например, в нуль-эловых говорах верхневычегодского диалекта имеются слова с долгими гласными: *коз̄з* «ель», *боо̄бэ* «бабочка», *гоогин* «скобель», *доо̄йа* «ушибленный» и др. (см. «Верхневычегодский диалект коми языка», стр. 20). Вероятно, во всех этих словах долгие гласные возникли позже по аналогии со словами *лоо* из **лол* «душа», *пуу* из **пул* «брусника» и т. д., хотя в слове *коз̄з* в прошлом (в общепермском и допермском языках) был действительно долгий гласный.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

Д. С. СТАНИШЕВА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСЕМНОГО АНАЛИЗА

Поводом к данной статье послужила книга А. М. Мухина «Функциональный анализ синтаксических элементов» (М.— Л., 1964), в которой решаются некоторые общие вопросы синтаксической теории, связанные с выведением понятия функциональной синтаксической единицы, синтаксемы, и анализом структурно-функциональных связей синтаксических единиц [1]. Связанные с ними специальные вопросы о синтаксическом значении и синтаксическом содержании падежа, об установлении синтагматических свойств синтаксических элементов и изучении их связей с другими синтаксическими единицами в плане парадигматики, что составляет сущность функционального анализа синтаксических элементов, нуждаются в дальнейшем рассмотрении. Мы остановимся здесь на некоторых теоретически и практически важных дискуссионных вопросах синтаксемного анализа.

Об определении оппозиций синтаксических единиц. Отмечая первостепенную роль парадигматического аспекта функционального анализа, «без учета которого не может быть определено самое содержание элемента» (стр. 32), А. М. Мухин определяет два рода отношений: оппозитивные и эквивалентные. Оппозитивные (противопоставительные) связи падежей устанавливаются на основе дифференциальных синтаксико-семантических признаков при учете объединяющих оба члена общих признаков. При определении сущности оппозитивной связи двух синтаксических единиц возникает вопрос об изучении условий функционирования членов изучаемой системы. В связи с этим А. М. Мухин вводит понятие лексической базы оппозиции, которое содержит требование учета лексического выражения ее членов. Для каждого из членов оппозиции допускается собственное лексическое наполнение. Ср. оппозицию РП [2] посессивного: РП идентифицирующего в синтагмах типа *Alexandres hors* «лошадь Александра» и *to Romes burh* «в город Рим» (стр. 79—81), а также РП посессивно-локативного: РП посессивно-темпорального типа *þæs tunes men* «люди этой деревни» и *ðæs ðæges weorc* «дела этого дня» (стр. 142—146). В других случаях лексическое выражение одного из членов оппозиции может включать лексические средства выражения другого члена, но не ограничиваться ими. Ср. оппозицию РП партитивно-объектного: ВП непартитивно-объектного типа *ðæs drences onfo* «этого зелья приму» и *oðres monnes wæpn... onfo* «оружие другого человека... возьмет» (стр. 159—162). Следствием такого понимания лексической базы оппозиции является отнесение к оппозиционно противопоставленным членам синтаксических единиц, выраженных одним и тем же падежом (ср. оппозицию РП : РП или ИП : ИП, стр. 106—108 и др.). С позиции морфологической

[1] Оценка книги и полемика с автором по ряду вопросов содержится в рецензии Э. А. Макаева (*ВЯ, 1966, 4*).

[2] Здесь и далее используются сокращения: РП — родительный падеж, ВП — винительный, ИП — именительный, ПП — предложный, ДП — дательный

инвариантности падежей (ср. известные труды Р. О. Якобсона [3]) РП посессивно-локативный и РП посессивно-темпоральный [4] — контекстно обусловленные варианты падежного инварианта. В связи с этим следует обратиться к вопросу о правомерности определения морфологического инварианта падежей (и его комбинаторных вариантов). А. М. Мухин высказывает точку зрения, что поиски морфологического инварианта неправомерно проводить на базе синтаксического содержания падежей: «Попытка свести их синтаксическое содержание к „морфологическому инварианту" означает не что иное, как игнорирование разнородности синтаксических и морфологических элементов, т. е. элементов двух разных уровней языковой структуры... проблема инвариантности может быть успешно решена, если поиски инвариантов и вариантов производятся в пределах одного уровня языковой структуры, т. е. при изучении однородных лингвистических элементов» (стр. 12).

По поводу этого следует заметить следующее. Нельзя согласиться, что в работе Р. Якобсона (1958 года) игнорируется разнородность синтаксических и морфологических элементов. Напротив, в ней специально отмечаются две операции анализа: регистрация комбинаторных (синтаксически или лексически обусловленных) значений каждого падежа и морфологический анализ падежных значений (стр. 8). Синтаксическое употребление падежей, с точки зрения Р. Якобсона, «не исчерпывает их интерпретации» (стр. 24). Русская падежная система, по теории Якобсона, основывается на выраженности или невыраженности трех падежных признаков (не являющихся частными, контекстно обусловленными) — направленности, объемности и периферийности. Наконец, в работе Р. Якобсона сформулирован «краеугольный вопрос»: «возможно ли установить изоморфность отношений между морфологическими категориями, с одной стороны, и их выражением, с другой?» (стр. 8). Другой вопрос, что инвариантные значения падежей определяются не всегда бесспорно, что объясняется в первую очередь недостаточной изученностью синтаксико-семантических возможностей каждого падежа. Некоторые недостатки работы Р. Якобсона в этом плане [5] были уже отмечены в лингвистической литературе [6]. Что касается «разнородности синтаксических и морфологических элементов», то этот вопрос требует специального рассмотрения. Однако очевидно, что изучение морфологических структур без учета их синтаксических функций невозможно.

Представляется, что существенного противоречия между концепцией падежей Р. О. Якобсона и функциональной теорией А. М. Мухина нет. Аспекты изучения падежей в них различны. Теория Якобсона основывается на мысли, что «каково бы ни было разнообразие семантических вариаций, зависящих от чисто синтаксических и лексических условий, все же единство падежа остается реальным и ненарушимым» (стр. 3). Отсюда — поиски единственного для данного падежа инвариантного (собственного) значения. А. М. Мухин исходит при определении понятия синтаксического инварианта (синтаксемы) из плана функционального использования

[3] R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, *TCLP*, 6, 1936; Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, 's-Gravenhage, [1958].

[4] Ср. также оппозиции у А. М. Мухина: РП посессивного и РП идентифицирующего; РП посессивного целого, РП партитивного целого и РП элективного целого; РП локативного и РП темпорального и др.

[5] Теория морфологического (семантического) инварианта была подвергнута критике и в других аспектах. Ср., например, замечания Ст. Каролака, который рассматривает теорию Р. О. Якобсона с точки зрения ее применения к анализу падежей славянских языков в «тексте». См.: St. Karolak, Próba analizy pozycyjnej konstrukcji przyimkowej, «Slavia occidentalis», X, 2, 1961, стр. 220—221.

[6] См.: Е. В. Чешко, К вопросу о падежных корреляциях, ВЯ, 1960, 2, стр. 52.

падежей. Отсюда — поиски синтаксических средств, функционально тождественных изучаемому падежу *или функционально противопоставленных* ему. Место падежа в морфологической падежной системе определяется на основе учета дискретных инвариантов значений падежа — падежных признаков. *Место падежа в синтаксической системе* падежей (или — в системе синтаксических средств вообще) определяется на основе учета синтаксико-семантических (существенных) признаков.

Возвращаясь к вопросу об интерпретации случаев употребления одного падежа в разных лексических условиях [7], следует сказать, что он решается в зависимости от определения факторов, обусловливающих их функционально-семантические различия. Согласно теории Р. О. Якобсона о морфологическом инварианте, эти различия определяются контекстуальными (в широком смысле) условиями употребления падежа. Поэтому разные случаи употребления одного падежа рассматриваются как контекстно обусловленные варианты морфологического инварианта. А. М. Мухин считает решающим фактором синтаксическую сущность, которая «подчиняет» себе лексическую и «предопределяет собой охват... падежом лексического материала» (стр. 145). Таким образом разграничиваются два рода взаимоотношений: лексическая сущность—синтаксическая сущность, определяемая суммой синтаксико-семантических признаков; лексическая сущность — синтаксическая модель. По поводу первого рода отношений следует заметить, что трудно согласиться с зависимостью лексической сущности от синтаксической. Определение синтаксической сущности, синтаксемы (которая может относиться к ряду синтаксических моделей) не может предшествовать проявлению лексической сущности [8]. Последовательность анализа синтаксических единиц, их синтаксической сущности и в связи с этим — их оппозитивных отношений может быть только одна: от определения наличия оппозитивных связей двух синтаксических единиц к установлению дифференциальных признаков оппозиции этих синтаксических единиц (см. об этом на стр. 76). Однако интерпретация конкретного материала в книге А. М. Мухина показывает, что описанная процедура анализа далеко не всегда соблюдается (ср., например, стр. 143).

Что касается соотношения лексической сущности и синтаксической единицы (в данном случае — падежа), то обусловленность («предопределенность» охвата) лексического материала синтаксической формой также представляется преувеличенной. Чтобы представить реальное соотношение лексической сущности и синтаксической модели, полезно обратиться к исследованиям исторической преемственности синтаксических конструкций. При этом оказывается, что судьба синтаксической конструкции находится в прямой зависимости от расширения или сужения (порой до полного исчезновения) состава лексических единиц, выражающих в данной форме определенные отношения. Напомним некоторые результаты наблюдения Н. Ю. Шведовой над случаями постепенного ограничения состава лексических единиц синтаксической модели: «Развитие лексико-семантических ограничений, как правило, приводит к такому сужению возможностей

[7] Вопрос этот не может быть сведен к вопросу о необходимости (или, наоборот, необязательности) совпадения единиц анализа в разных концепциях (подробнее см.: И. И. Ревзин, Основные единицы синтаксического анализа и установление отношений между ними, сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962, стр. 119).

[8] Существует мнение о прямом воздействии лексического материала на грамматическое значение синтаксической структуры. При этом разграничивается внутренняя и внешняя лексическая обусловленность. См.: Е. И. Шендельс, Взаимодействие между лексическими и грамматическими значениями, «Ин. яз. в шк.», 1962, 4, стр. 92 и сл.

словесного наполнения модели, которое по существу уничтожает ее как живую и продуктивную схему синтаксического построения... Модель в строгом смысле слова перестает существовать» [9].

Решение А. М. Мухиным вопроса о соотношении лексической значимости и синтаксической сущности синтаксических единиц лежит в основе его понимания лексической базы оппозиции. Если считать лексическую сущность обусловленной или зависимой от синтаксической сущности, то для определения синтаксических оппозитивных связей достаточен учет лишь синтаксико-семантических признаков. Возможно, это было бы допустимо, если бы мы располагали проверенным списком дифференциальных синтаксико-семантических признаков каждого из языков, на основе которого можно было бы, определив его синтаксемы, строить анализ [10]. Однако в области синтаксиса этот вопрос далек от разрешения. Поэтому при конкретном анализе синтаксических единиц следует разрешить вопрос о надежном критерии, который мог бы застраховать от произвольного определения дифференциальных синтаксико-семантических признаков, и в связи с этим — синтаксических оппозиций языка. В работе А. М. Мухина синтаксико-семантические признаки имеют большей частью семантический характер (ср. признаки *посессивный*, *партитивный*, *партитивно-объектный*, локативный, темпоральный, признак указания на объект и указания на целое и т. д.); их определение в значительной степени основано на интуиции.

Чтобы установить наличие оппозиции синтаксических единиц и определить характер противопоставления, следует попытаться устранить из анализа допустимое влияние их лексической сущности. Это возможно только путем сопоставления синтаксических единиц в тождественных лексических условиях. Отсюда следует и необходимость коррекции в определении лексической базы оппозиции синтаксических единиц, введенной А. М. Мухиным. Лексическую базу оппозиции, по нашему мнению, следует понимать как известную сумму лексических условий синтагмы, общих для обоих членов оппозиции, в которых один падеж по одному из дифференциальных синтаксико-семантических признаков противопоставлен другому падежу. Примером такой оппозиции могут служить отношения ВП и РП в русском языке типа *дать хлеб* : *дать хлеба*, которые противопоставлены по признаку партитивности, или отношения ВП : ПП в условиях сочетаемости с предлогом *по* в древнерусском языке типа *по три дни слышаше* («слышал в течение трех дней»): *по трех днех слышаше* («слышал по истечении трех дней»), составляющие оппозицию по признакам темпоральной протяженности : темпоральной исходной предельности [11]. При таком понимании лексической базы оппозиции при анализе исключаются лексико-семантические индивидуальные свойства ее членов: сопоставление синтаксических конструкций в равных условиях их бытования дает уверенность, что речь идет о их противопоставлении как системно связанных функционально-синтаксических единиц, синтаксико-семантические различия которых обусловливаются только различиями формальными. При этом, очевидно, выделение в качестве системно противо-

---

[9] Н. Ю. Шведова, Проблема лексических ограничений как одна из проблем изучения истории синтаксиса русского литературного языка XVIII — XIX вв., ВЯ, 1960, 6, стр. 22.

[10] Ср. опыт определения списка фонологических дифференциальных признаков в работе: R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956.

[11] См. другие примеры в кн.: Д. С. Станишева, Винительный падеж в восточнославянских языках. София, 1966, стр. 190—220.

поставленных членов форм одного падежа (или одной и той же предложной конструкции) исключается.

Стремление к совершенствованию метода приводит сторонников и других синтаксических теорий к мысли о необходимости уточнения процедур анализа. Поиски критериев определения семантического инварианта нескольких синтаксических конструкций при трансформационном методе также привели к выводу о необходимости введения в анализ принципа тождества лексем в исходной структуре и трансформе [12].

При определении оппозиций в монографии А. М. Мухина не поставлен вопрос о характере противопоставления (оппозитивные связи привативного или эквиполентного характера), что отражается в некоторых случаях на точности анализа и что могло бы свидетельствовать в пользу изоморфизма морфемного и синтаксического уровней. В частности, вызывает возражение определение признака ВП в оппозиции РП партитивно-объектного : ВП непартитивно-объектного (стр. 162—163). Скорее здесь можно говорить о невыраженности винительным падежом признака партитивности и в связи с этим — об определении оппозиции РП : ВП как привативной.

О «значимых» («оттеночных») вариантах синтаксемы. Понятие варианта в синтаксическом аспекте основывается на выведении А. М. Мухиным понятия синтаксического инварианта, синтаксемы. Сущность функциональной синтаксической единицы, синтаксемы, определяется совокупностью существенных синтаксико-семантических признаков, составляющих синтаксическое содержание конкретного элемента или множества конкретных элементов (вариантов синтаксемы). Понятие синтаксемы принадлежит к сфере абстрактных языковых элементов. Оно принципиально соответствует понятию фонемы в фонологии и морфемы в морфологии. В вариантах синтаксемы различаются факультативные варианты, комбинаторные и позиционные. Факультативные варианты характеризуются употреблением в одном и том же лексическом окружении. Для комбинаторных вариантов свойственно употребление в разных лексических или синтаксических условиях (о позиционных вариантах см. ниже). Помимо этих типов вариантов, А. М. Мухиным различаются «оттеночные» или «значимые» варианты, выбор одного из которых обусловлен различьем смысловых оттенков. Автор объединяет их с комбинаторными вариантами по признаку взаимной исключаемости в отличие от факультативных вариантов. Возникает вопрос об основаниях и целесообразности выделения «значимых» вариантов синтаксемы.

Выделение «значимых вариантов» в труде А. М. Мухина основано на разграничении (но одновременно — рассмотрении в рамках одной синтаксемы) однопорядковых синтаксических элементов типа обстоятельственных наречий места *dær* «там», *her* «здесь», *hwær* «где», *nahwær* «нигде» и др. (стр. 153 и сл.); различных форм той или иной грамматической категории, например форм посессивных местоимений 1 и 2-го лица *min* «мой», *þin* «твой», *ure* «наш», *eower* «ваш» (стр. 81 и сл.); а также падежных форм с разными предлогами, например ДП или ВП локативного с предлогом *under* «под» и *ofer* «над» типа *wæs... ofer westenne* «был ... над пустыней» и *ys... under heofenum* «существует под небесами» (стр. 150—152 и др.). Известен и другой опыт определения так называемых «значимых» вариан-

[12] См., например: З. С. Харрис, Совместная встречаемость и трансформация в языковой структуре, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 530 и сл.; Ю. Апресян, Метод непосредственно составляющих и трансформационный метод в структурной лингвистике, «Р. яз. в нац. шк.», 1962, 4, стр. 82. Выдвинут и другой критерий правильности трансформаций — учет денотатов. См.: Г. В. Колшанский, К вопросу о семантическом инварианте при трансформации предложений, ФН, 1965, 2, стр. 54 и сл.

тов, предпринятый Е. И. Шендельс [13]. Основой для их выделения является у Е. И. Шендельс различение существенных и несущественных признаков модели. «Значимые» варианты являются следствием изменения несущественных признаков модели, к которым относятся: порядок слов (при перестановке не глагольных компонентов немецкого предложения не создается новой модели, но происходят «внутримодельные преобразования»), интонационные свойства предложения, в некоторых случаях — изменения падежной формы модели (типа *работает ночами — работает по ночам*), число компонентов модели.

Если подойти к этому вопросу чисто теоретически (памятуя, что варианты — тождественные синтаксические элементы, реализующиеся на базе знаменательной части речи, объединенные совокупностью синтаксико-семантических, общих для всех вариантов признаков, сумма которых является содержанием абстрактной функциональной единицы, синтаксемы), введением понятия «значимые варианты» нарушается основной принцип их определения — их эквивалентность. Ибо «специфические оттенки» значимых вариантов не могут рассматриваться иначе как признак нарушения их полной тождественности. В таком случае возникает вопрос — как определить границу допустимого расхождения синтаксических вариантов, т. е. ту степень синтаксико-семантической специфики синтаксических конструкций, при которой еще нет оснований для выделения различающих их синтаксико-семантических признаков. Е. И. Шендельс полагает, что допустимая степень смыслового различия двух синтаксических структур-вариантов обусловливается «неопределимостью этого различия в грамматических терминах» [14]. Этот критерий, очевидно, расплывчат. С другой стороны, выделение «значимых вариантов» требует предварительного решения вопроса о разграничении синтаксических вариантов и синтаксических синонимов. Эта проблема до сих пор не может быть признана решенной, хотя в ряде работ [15] она прямо или косвенно поставлена [16]. С нашей точки зрения «тождественность» вариантов вряд ли может иметь иные проявления, чем или их взаимная исключаемость (не «заменяемость»), определяемая контекстуальными условиями лексического или синтаксического характера (лексико-комбинаторные и синтаксико-комбинаторные варианты), либо их свободное варьирование (варианты факультативные).

Что касается примеров «значимых» вариантов А. М. Мухина, то в каждом конкретном случае трудно признать их вариантами одной синтаксемы. В первом случае синтаксико-семантические признаки членов синтагмы подменяются их лексико-семантическими признаками как обстоятельственных наречий места. Во втором случае выбор одной из форм обусловлен лишь изменениями чисто морфологического порядка — для синтаксической модели этот выбор безразличен. Е. И. Шендельс определяет эти формы, напротив, как «незначимые варианты» или «синтаксические дублеты», в силу того, что они связаны лишь с колебаниями грамматической нормы [17]. Интерпретация указанных падежных конструкций (с разными пред-

---

[13] Е. И. Шендельс, Синтаксические варианты, ФН, 1962, 1.

[14] Там же, стр. 15.

[15] Е. И. Шендельс, Понятие грамматической синонимии, ФН, 1959, 1; И. И. Ковтунова, О синтаксической синонимике, сб. «Вопросы культуры речи», 1, М., 1955; В. А. Иванова, Предложные конструкции, выражавшие причинное значение, в древнерусском языке (К вопросу о синтаксической синонимике), «Вестник МГУ», 1957, 2, и др.

[16] В указанной статье И. И. Ковтуновой представляется продуктивной мысль об определении синтаксических синонимов на основе учета лексических условий употребления синтаксических конструкций.

[17] Е. И. Шендельс, Синтаксические варианты, стр. 18.

логами) как синтаксических вариантов также неубедительна. Исходя из учета синтаксической роли в языке падежей и предложно-падежных конструкций, справедливо признание их функциональной идентичности в синтаксической структуре [18].

О понятии «позиция» в функциональном анализе. Определение «позиции» синтаксического элемента относится к изучению синтагматических свойств падежа. Позиция вводится А. М. Мухиным для определения «позиционной структуры предложения», т. е. характера связи с опорным пунктом, иными словами — для введения понятия «членение предложения» в анализ. Определение позиции осуществляется в работе на основе учета основных типов синтаксической связи в структуре предложения, среди которых различаются: связь предикативная, соединяющая подлежащее и сказуемое (отсюда — позиции подлежащего и сказуемого), связь атрибутивная (отсюда — позиция определения), связь комплетивная (в связи с этим — позиция дополнения), «вводящая в предложение то, что в грамматиках обычно понимается под дополнением и обстоятельством» (стр. 39). Комплетивная и атрибутивная связи (односторонние) объединены в общем — субординативном (подчинительном) типе связи, противопоставленном предикативной связи (двусторонней). Третий тип синтаксической связи, определяемой А. М. Мухиным как координативная или копулятивная связь, выделяется по признаку однородности членов предложения. Далее употребление термина «позиция» расширяется: он употребляется и для дифференциации синтаксических единиц при различных частях речи (типа: позиция присубстантивного определения, приместоименного определения и т. д.). А. М. Мухин предлагает назвать эти позиции «субпозициями» в отличие от «типовых» позиций. Далее, в заключительной части работы, «позиция» синтаксической единицы служит основанием для выделения так называемых «позиционных вариантов» (стр. 264). Тем самым понятие «позиции» переносится в план изучения парадигматических связей падежа.

Мотивировка введения в функциональный анализ третьего синтагматического признака синтаксического элемента, его «позиции», противоречива (взаимно противоречивые утверждения на этот счет см. на стр. 28, 32, 39, 45, с одной стороны, и на стр. 53—54, с другой). Синтаксическое содержание конкретных элементов, как явствует из всего анализа падежей, определяется суммой синтаксико-семантических (существенных) признаков. Их структурная связь с другими синтаксическими единицами также устанавливается на основе учета синтаксико-семантических признаков (это неоднократно и убедительно подчеркивается в работе). Введение понятия «позиция синтаксического элемента» в анализ, с нашей точки зрения, не привносит ничего существенного к характеристике падежа как функциональной синтаксической единицы. Вопрос о позиционной структуре предложения правильнее определить как специальный, органически не входящий в задачи синтаксемного анализа. Трудно согласиться с выделением позиций по их связанности с разными частями речи тем более, что в самой работе А. М. Мухин решительно возражает против морфологического критерия определения позиции на том основании, что «части речи как

[18] Ср. рассмотрение Ст. Кароляком предложных конструкций и синтетичных падежей как членов одной функциональной категории. См.: St. Karolak, указ. соч., стр. 232. В книге А. М. Мухина они также признаются однопорядковыми лингвистическими элементами (стр. 24, 25), на практике же при сопоставлении предложно-падежных конструкций (с разными предлогами) на синтаксическом уровне игнорируется единство каждой из них как функционально самостоятельной синтаксической единицы, ее синтаксическая значимость расчленяется на значимость предлога и значимость падежа.

лексико-морфологические разряды слов не определяют собой синтаксической структуры предложений» (стр. 33). Неясным остается «важность» учета связи синтаксических элементов с разными частями речи и их «определенная роль» (стр. 53) в функциональном анализе до конца работы.

Впрочем, если даже признать известное место позиционного членения предложения в анализе синтагматических свойств падежа, то для дальнейшей, второй фазы анализа (в парадигматическом плане) «позиция», надо полагать, должна быть безразлична. Это косвенно признается в разных местах работы (стр. 31, 121, 257 и др.). Поэтому представляется немотивированным на основании «позиции» синтаксических элементов («типа или «подтипа» синтаксической связи или части речи, при которой употребляется тот или иной вариант синтаксемы) выделение третьего типа вариантов — «позиционных». В каждом конкретном случае «позиционный» вариант сводим к двум основным видам вариантов — синтаксико-комбинаторному или лексико-комбинаторному (см. стр. 264 и сл.). Комбинаторные варианты реализуются в разных контекстных условиях. Выбор одного из лексико-комбинаторных вариантов обусловлен лексическими условиями употребления падежа. Синтаксико-комбинаторные варианты определяются в работе на основе учета синтаксического контекста. Следовательно, специфика каждого из вариантов, названных в работе «позиционными», должна быть учтена уже при определении его как лексико-комбинаторного или синтаксико-комбинаторного. «Тип» или «подтип» синтаксической связи, кроме того, определен уже с точки зрения синтагматических свойств падежа (если считать имеющим основание включение в синтагматический анализ вопроса членения предложения).

Изложенное выше далеко не исчерпывает всего круга вопросов, возникающих при анализе синтаксических явлений методами синтаксемного анализа. Некоторые из них (например, задача определения дифференциальных синтаксико-семантических признаков, установления их возможных комбинаций в синтаксемах и др.) сформулированы на последних страницах книги А. М. Мухина. Их решение возможно лишь на основе детальных синтаксических исследований конкретного материала падежей и других синтаксических единиц.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

С. РОСПОНД

ЗНАЧЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ОНОМАСТИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ

(К этимологии топонима *Киев*)

Ономастические свидетельства «литературных» памятников требуют особого метода исследования как важные документы реконструируемого исторического прошлого. Авторы этих памятников были в известной мере «литераторами», которые излагали историю народа, опираясь подчас на своеобразную интерпретацию ономастического материала, либо собственную, либо заимствованную из устной народной традиции, либо, наконец, научно скомпилированную и обработанную. Геродот как историк-повествователь дает иной ономастический материал, нежели Птоломей, александрийский географ и математик. Польский хронист Галл-Аноним, приводящий, а иногда и «этимологизирующий» собственные имена (*Gniezno, Popiel, Piast, Wanda*), и Гнезненская булла 1196 г. — совершенно разные источники. Автор «Повести временных лет» дает ценный ономастический материал для истории древней Руси, однако этот материал так же неоднороден, как и все сочинение, на которое наложили отпечаток более ранние списки, трактаты, устная традиция, жесткие раннесредневековые стилистические и жанровые нормы и, наконец, собственное творчество автора как писателя, политика, переписчика.

Ономастика новгородских берестяных грамот непосредственно и потому почти идентично отражала живые, диалектные факты. Ономастика же «Слова о полку Игореве» или летописей является отражением не только живой речи того времени: при ее анализе необходимо считаться с «литературным» вмешательством, большей или меньшей фонетической и морфологической обработкой употребляемых nomina propria в зависимости от собственной интерпретации автора, бывшего литератором, а не канцеляристом, слепо копирующим услышанные названия.

Для древнерусской ономастики «литературные» свидетельства летописей являются доминирующим источником; вот почему так многочисленны фонетические и морфологические варианты, которые часто затрудняют интерпретацию и реконструкцию первоначального названия.

Таким образом, для ономастического материала, записанного славянским, а не латинским языком, важно учитывать Schriftform und Lautform [1]. Древнерусская ономастика благодаря особенностям славянского алфавита передавалась почти фонологически (*поляне, северяне*), но все же нередко записи подправлялись под влиянием книжного написания. Так возникали летописные варианты, которые требуют тщательного филологического и лингвистического (ономастического) анализа, позволяющего установить первое, второе, третье и т. д. чтение названия: Ср.: *Изѧславль — Заславль, *Sątěska — Сутескъ — Сутеискъ, Коростѣнь — Ивъкоростѣнь, Въздвижень — Звиждень, Бужескъ — Бозкъ, Божескъ, Витебскъ — Видбескъ, Збыражь — Збаражь* и т. п.

Еще большей осторожности требуют своеобразные этимологические представления летописца, который, например, безусловно исходя из политических и торговых славяно-нормандских контактов, был склонен к нордической интерпретации названия *Русь*, а также династических имен *Игорь, Олег, Ольга, Глеб*.

В этом смысле показательна прозрачная с первого взгляда этимология *Киев* < *Кий*. Простейшие и на первый взгляд очевидные этимологии при более глубоком, более тщательном и всестороннем формальном, микрофилологическом и прежде всего историческом анализе нередко оказываются сомнительными и ошибочными. Естественная формальная и семантическая эволюция топонимов обычно ведет к многостепенному расхождению начального и конечного звеньев. Так, *Katowice* происходят не от *kat* «палач» или собств. *Kat*; первоначальная форма *Kątowice* означала *kąty* «лесные хижины безземельных крестьян»[2]; *Gniezno* восходит не к *gniazdo* «гнездо, nidus», как

---

[1] См.: S. Rospond, Schriftformen und Lautformen in der slawischen Onomastik, «Proceedings of the VIII International congress of onomastic sciences», The Hague — Paris, 1966.

[2] S. Rospond, Ze studiów nad polską toponomastyką, XII, Kątowice = Katowice: kąty, JP, XLVI, 2, 1966; его же, Nazewnictwo okręgu Wielkich Katowic

это представлял уже Галл-Аноним, а будучи топографическим названием, тесно связанным с рельефом местности, содержит основу праслав. *gnězdo* «котлообразное углубление в почве, с топким дном» [3]; чеш. Bubeneč происходит не от *buben* «барабан», а от *Ovnec*: *оvьnъ* «баран» [4]. Был ли в действительности *Kraków* крепостью легендарного *Kraka*? Гораздо типичнее и безусловно древнее название вавельского замка в форме Wąwel [5].

Киев, др.-русск. *Кыевъ* и *Киевъ*, укр. *Київ* может быть интерпретирован как обычное название посессивного типа, т. е. «град Кия». Это толкование не подвергали сомнению А. И. Соболевский [6], М. Фасмер [7], Т. Лер-Сплавинский [8]. И только Т. Лозинский [9] на основании косвенных данных (арабских, византийских, немецких передач этого названия) признал исходной форму *Kujava*, которую он неправдоподобным способом связывал с пракритским *Kojava* «вор». Против этой новой этимологии резко выступил В. Манчак [10] и Т. Лер-Сплавинский, поддержав принятую еще со времен Нестора этимологию *Kyjevъ* < *Kyjъ*.

Имеется ряд оснований ставить под сомнение справедливость прежнего «opinio communis» *Kyjevъ* < *Kyjъ*:

1. Среди славянских топонимов — названий древнейших городов, и прежде всего на территориях, первоначально заселенных славянами (Пелопонес, Паннония, Австрия, северная Бавария, Тюрингия, Саксония, Мекленбург) и имеющих давние исторические и археологические свидетельства, в том числе и славянские, наиболее распространенными были следующие структурные типы: 1) первичные топографические названия (*Wąwel*, *Santok*, *Sątěska*) и вторичные образования на *-ьskъ*, *-ьn-* (*Gdańsk*, *Полотьскъ*, *Szczytno* → *Szczecin*, *Gniezno*, *Črъnъ*); 2) nomina possessiva на *-jь*: *Veligošt* (на Пелопонесе), **Bezprěm-jь* (в Паннонии, 1002 г.), **Ogostjь* (в Чехии, 631 г.) [11] и т. д. Nomina possessiva на *-ovъ*, *-inъ* гораздо менее древние. Топонимы этого типа вытеснили прежние названия на-*jь* и получили необычайную продуктивность только в историческую эпоху [12]. Из названий древних славянских городов с богатой археологической и исторической документацией можно привести только два: Краков и Киев. Первое из них имело конкурирующий с ним и, вероятно, более древний вариант *Wąwel*.

Древнерусские топонимы на *-ov*, *-'ev* требуют скрупулезного структурного анализа, ибо в некоторых из них легко обнаруживается морфо-топонимическая асимметрия: *Могилев* (на Днепре) не может восходить к собственному имени *Могила*: следовало бы ожидать формы *Могилин*. От слова *mogyla* известны многочисленные общеславянские топографические образования, однако не на *-'ev*: польск. *Mogiła*, *Mogilno*, *Mogilnica*, чеш. *Mohelno*, *Mohelnice* и т. п. С помощью же суффиксов *-ov*, *-'ev* топографические названия создавались [13], но не от существительного женского рода с твердой основой, поэтому формы *mogyl* >—< *ev* быть не могло. Топоним *Чернигов* труден для интерпретации, он также не вполне ясен как посессивная структура. К тому же Константин Багрянородный записал его в форме τζερνιγῶγαν.

---

a dzieje osadnictwa przemysłowego, 1. Czy Katowice pochodzą od kata?, «Zaranie Śląskie», XXIX, 2, 1966.

[3] S. Rospond, Ze studiów nad polską toponomastyką, IX. Gniezno, JP, XLI, 5, 1961; его же, Pochodzenie nazwy Gniezno, «Dzieje Gniezna», Warszawa, 1965.

[4] A. Profous, Místní jména v Čechách, I, Praha, 1964, I, стр. 217.

[5] W. Taszycki, Historia i znaczenia nazwy Wąwel, «Onomastica», I, 1955,

[6] А. Соболевский, Русские местные названия и язык скифов и сарматов, РВФ, LXIV, 1910, 3—4, стр. 188—189.

[7] М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1957, стр. 230; его же, Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas, 1. Die Ostgrenze der baltischen Stämme, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse, XXIV, Berlin, 1932.

[8] Т. Лер-Сплавинский, Еще раз о названии города Киев, сб. «Проблемы современной филологии», М., 1965.

[9] Th. Zoziński, L'origine prakrite du nom de la ville Kiev — l'implication des données historiques des sources arabes, «Études slaves et est-européennes», VIII, 1963.

[10] W. Mańczak, A propos d'une nouvelle étymologie de *Kiev*, «Revue internationale d'onomastique», XVII, 1965, 1.

[11] S. Rospond, Stratygrafia toponimiczna, сб. «Z polskich studiów slawistycznych», Warszawa, 1958; его же, Próbny atlas toponomastyczny Słowiańszczyzny, сб. «Z polskich studiów slawistycznych», ser. 2, [1] (Prace na V Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii. Językoznawstwo), Warszawa, 1963.

[12] Польским топонимам этого типа посвящена завершаемая докторская диссертация Ф. Нецкули.

[13] W. Taszycki, Rzekomo dzierżawcze nazwy miejscowe. Znaczenie przyr. *-ów*, *-owa*, *-owo* oraz *-in*, *-ina*, *-ino*, JP, XXII, 4, 1937.

Существуют и явно посессивные названия на *-'ev*: *Васильев*, *Юрьев*, но они образованы от христианских имен *Василий*, *Юрий* и датируются значительно более поздней эпохой. Эти названия, а также некоторые другие, хотя и не вполне ясные (*Витичевъ* или *Вытечевъ*, у Константина Багрянородного — βιτετζέβι; *Каневъ* или *Кановъ*), показывают, насколько продуктивным был суффикс *-ev* на территории Киевской Руси. Экспансия этого суффикса, так же как и суффикса *-ov*, на восточнославянской территории очевидна. Это подтверждается ареалом южнорусских топонимов на *-ov* и живучестью патронимического типа антропонимов на *-ov*.

2. Микрофилологический метод в ономастике особое значение придает характеру источника. В этом аспекте надо обратить внимание на отличие летописного свидетельства от более ранних византийского, арабского и немецкого.

3. Настораживает многообразие названий этого города, отсутствие стабильного, единого названия и его последовательного развития. У Птоломея (II в. н. э.) упоминается Μητρόπολις на Днепре (Borysthenes), который отождествляется с Киевом [14]. У Константина Багрянородного на первом месте приводится σαμβατάς как вариант κιοάβα. Существовали также и другие, готские (*Danparstadir*) и скандинавские (*Kœnugardr*) [15].

Отсутствие единого названия как будто указывает на возможное вмешательство, обработку со стороны летописца, делавшего явную уступку стилистической условности так называемой «Dreibrüdersystem» и вводившего трех мифических основателей Киева: *Кий*, *Щекъ*, *Хоривъ*, прибавив к ним еще сестру *Лыбедь*. У древнепольских хронистов подобный тройственный лейтмотив сказался в принятии легенды о трех братьях — *Lech'a*, *Czech'a* и *Rus'a*, признаваемых старшими князьями киевских полян. Эта легенда была распространена также и на три града Киева. Она была широко известна на Руси и за ее пределами; в VIII в. ее записал армянский историк Зеноб Глакский [16].

Исходя из приведенных контраргументов, попытаемся вновь рассмотреть этимологию топонима Киев.

Древнерусский исторический материал для облегчения дальнейших выводов приведем в широком контексте Повести временных лет:

„[и] бяша г. братьꙗ· единомꙋ имѧ Кий. а другомꙋ Щекъ. а третьемꙋ Хоривъ || [и] сестра ихъ Лѣбедь. сѣдѧще Кий на горѣ· гдѣже нынѣ оувозъ Бориничѣ· а Щекъ сѣдѧше на горѣ· гдѣже нынѣ зовется Щековица · а Хоривъ на третьеи горѣ · ѿ негоже произлѧсѧ Хоревица. и створиша градъ во имѧ брата своего старѣишаго и нарекоша имѧ ему Киевъ· [и] бѧше около града сѣсъ и веръ великъ. и бѧху лежаща звѣрь бѧху мужи мꙋдри и смысленеи [и] нарицахꙋсѧ Полане. ѿ нихъже есть Полане в Киевѣ и до сего дне. . .“ [17].

Следующий далее текст также повествует о Кие и его граде Киеве:

„Ини же не сѣдѧщие рекоша· ꙗко Кий есть перевозникъ былъ· оу Кіева бо бѧше перевозъ тогда с оноѩ сторонъ Днѣпр. тѣмь глꙋ не перевозъ на Киевъ. ѧще бо бы перевозник Кий· то не бы ходилъ Царюгороду но се Кий княжаше в роде своемь. [и] приходившю ему ко црю. ꙗкоже сказаютъ. ꙗко великꙋ честь приѧлъ [есть] ѿ црѧ. при которомъ приходивъ црн. идꙋщю же ему оттꙋдꙋ приде къ Дꙋнаеви. [и] възлюби мѣсто и сруби градокъ малъ [и] хотѧше сѣсти с родомъ своимъ и не даша ему тꙋ блізь живꙋщии. еже и донынѣ нарѣчютъ Дꙋнци городище Киевець. Киевѣ же пришедшю въ свои градъ Киевъ тꙋ животъ свои скончѧ. а братъ его Щекъ и Хоривъ и сестра ихъ Лѣбедь тꙋ скончашасѧ“ [18]. Форма *Киевъ* или *Кыевъ* постоянно повторяется и в других летописных сводах. Следует отметить этноним *Киане* = *Киевляне*, несколько раз приводимый Нестором.

Иная форма представлена в иноязычных источниках: араб. *Kūyāba*, *Kuyava* (аль-Идриси, XII в.; аль-Истахри, X в.; Ибн Хаукал, X в., Димахки). *Khyiav* (Казвини); *Kājafhan* (Казвини); визант. Κιοάβα, Κίαβον, Κιόβα (Константин Багрянородный,

---

[14] А. И. Соболевский, указ. соч.

[15] Ср.: Ф. К. Брун, О разных названиях Киева в прежнее время, «Труды третьего Археологического съезда в России», I, Киев, 1878, стр. 290; В. М. Бейліс, Про назву Києва в арабських географів X ст., «Український історичний журнал», 1960, 1. Ср. также: T. Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle «Księgi Rogera», I — Kraków, 1945, II — Warszawa, 1954; его же, Świat słowiański w oczach pisarzy arabskich, «Slavia antiqua», II, 1949/1950; его же, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, I, Wrocław — Kraków, 1956.

[16] М. К. Каргер, Дофеодальный период истории Киева по археологическим данным, «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях М. И. М. К.», I, М.—Л., 1939; его же, Древний Киев, I, М.—Л., 1958, стр. 14, 63—65 и др.

[17] «Полное собрание русских летописей, издаваемое Постоянною историко-археографической комиссиею Академии наук СССР», I — Лаврентьевская летопись, 1 — Повесть временных лет, 2-е изд., Л., 1926, стр. 9.

[18] Там же, стр. 9—10.

X в.)[19]; нем. *Cuieva* (Титмар, XI в.)[20]; *Kitava* вместо *Kuava* (смешение знаков *it-u*).

Для всех исследователей топонима *Киев* Нестор был альфой и омегой как для определения дублетности форм *Кыевъ* и *Киевъ*, так и для интерпретации названия. Записи же арабские, византийские и немецкие упоминались только вскользь, как второстепенные и не авторитетные. Не обращалось должного внимания на соотношение «первичной» формы *Кыевъ* и «вторичных» вариантов с первым слогом *ku-* и конечным — *-va*. Откуда возникло это различие, столь существенное для реконструкции первоначального звучания названия? Почему *y/i* было замещено через *u*? В византийском источнике встречается даже *-o-*, *-α-* вместо *y*. Почему конечное *-v*, поддерживаемое славянской морфемой мужского рода *-evъ*, было заменено посредством *-ava*? Т. Лер-Сплавинский попытался объяснить это расхождение, отталкиваясь от lectio prima *Kyjevъ*: слав. *y* было задним звуком, близким к *u*. В положении перед *j* славянское *y* могло быть отождествлено с арабским *u*. Конечное *-a* Т. Лер-Сплавинский считал только значком, «alif otiosum», как правило, не произносившимся.

Таким образом, Т. Лер-Сплавинский считал, что араб. *Kujava* полностью соответствует слав. *Кыевъ* и не дает основания побуквенной реконструкции *Kujava*. В немецкой передаче Титмара *Cuieva* он усмотрел латинизированное *-a* по типу *Cracovia*, *Sandomiria*, однако здесь представлено *-va* вместо ожидаемого *-via*. Формы, зафиксированные Константином Багрянородным, — Κιόβα, Κιόβα, Κίαβον, т. е. имеющие *-ιο* в соответствии со слав. *-y-*, Т. Лер-Сплавинский тоже подробно не объяснил, удовлетворившись лишь верным утверждением о чередовании в среднегреч. *v* с *b* (знак β).

Ономастические субституции трудны для анализа, особенно в случае взаимодействия совершенно различных графических и фонетических систем, как, например, славянская — арабская, славянская — среднегреческая, славянская — средненемецкая. Эти субституции не случайны. Труднее всего слависту ориентироваться в арабских передачах, хотя и существуют серьезные работы, исследующие славянскую ономастику в арабских источниках[21]. При слоговом арабском письме славянские гласные могли передаваться по-разному, но все же не беспорядочно: ср. *Praga* — араб. *Frâga* или *Barâga*; *Sątěska* — араб. *Sutāska*; *Kraków* — *Ikrākū*; *Wrocław* (*Vratislavia*)— *Ratislaba*; *Szczytno* (*Szczecin*) — *Sītnū*. Арабист, однако, должен точно выяснить, отражает ли данный вариант непосредственное восприятие путешественника, или он восходит к какому-то письменному источнику. Во всяком случае арабск. *Kū* могло одинаково передавать как слав. *Ku-*, так и *Ky-*[22]. Точно так же конечное *-a* могло соответствовать славянскому *-a*, ср. *Praga* — *Frâga* и др. (*Sutěska* — *Sutāska*). Вовсе не обязательно искать здесь выступающее в других позициях факультативное *-a* (alif otiosum), которое в отдельных случаях может быть обусловлено иной, промежуточной графической системой (византизированные или германизированные формы, например *Barâga*).

Свободней ориентируется славист в греческих передачах славянской ономастики благодаря фундаментальному труду М. Фасмера[23]. Прежде всего следует обратить внимание на факультативное греч. ι в соответствии с его отсутствием в славянском: γιαβάνι = *gavranъ*; ср. также Οὐνιάδος = *Odra*[24]. Сюда относятся и формы Κιόβα, Κιόβα, Κίαβον = Κοάβα и т. д.

Греч. ω передавало не только слав. *o*, но также часто и *u*: Στρώμνη = *Strumenъ*, Ῥῶς = *Rusь*, Σωχός = *Sucho*, *Sucha*. Обычно слав. *u* передавалось через ου. В то же время слав. *y* могло записываться как ου, но не как *o*, α, а *o* — *a* могли заменять друг друга: ζάκανον = *zakonъ*, γαρα δδοειδήρ = *gorazdъ*[25]. Следовательно, запись Константина Багрянородного Κίαβον, Κίοβα ближе к форме *Kujava*, чем к форме *Kyjevъ* или *Kijevъ*. У Константина *y* передается через η в названии днепровского порога *Nejęsyts* = νεασήτ[26]. Ср. также Βουσεγραδέ = *Vyšgorod*, Βιτετξέβι = *Vytečev*. Последняя форма важна также с точки зрения передачи русск. *-ev*.

---

[19] См. «De administrando imperio», rec. E. Bekker, Bonnae, 1840; см. также отрывки, касающиеся славян, в «Monumenta Poloniae Historica», wyd. A. Bielowski, I, Lwów, 1864, стр. 15—50.

[20] См. «Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon», rec. Holzmann, Berlin, 1935. Об арабских источниках см.: T. Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w swietle «Księgi Rogera»; T. Lewicki, Swiat słowiański w oczach pisarzy arabskich.

[21] См. выше; см. также: T. Kowalski, Relacja Ibrāhīma ibn Jakūba z podróży do krajów słowiańskich, Kraków, 1946.

[22] Там же.

[23] M. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin, 1941.

[24] S. Rospond, Odra — Οὐιάδος, «Onomastica Slavogermanica», II, Wrocław, 1966.

[25] M. Vasmer, Die Slaven..., стр. 238, 267.

[26] K.-O. Falk, Dneprforsarnas namn i kejsar Konstantin VII Porfyrogennetos' «De administrando imperio», Lund, 1951, стр. 252.

Нет необходимости также немецкую передачу Титмара *Cuieva* (*Kitava* = *Kuava*) считать транспозицией, т. е. замещением слав. *Ку* через нем. *Ки-*. В той же морфеме *Куj-* и других морфемах *Ку-* или *Ki-* нормально передавалось через *Ki-*, *Ку-*, *Kywen* 1311 г., *Kiue* 1289 г. = слав *Kujev(o)* [27]. В более поздних хрониках (Адам Бременский и Анналиста Саксо) представлена новая форма — возможно, по образцу Нестора и других летописей: *Chive*, *Chiwe* = *Kijev* (*ch* = *k*) [28].

Таким образом, иноязычный материал не исключает реконструкции *Kujava*, более того, в этимологическом смысле она столь же убедительна и правдоподобна, как и летописная *Киевъ*: *Кии*. Известен географический, точнее физиографический, термин *kujava*: *kuj*ъ, *kuja* «вихрь»: польск. диал. *kujać* «шуметь», хорв. *kujatu* «murren», укр. *kujaty* «säumen», словен. *kujati* «schmollen». Ср. диалектн. *kujawa* «песчаный холм, Sanddüne, Waldblösse» [29]. К. Мошинский приводит исходное значение *kujava* «место, поросшее травой, камышом» [30].

Существенно сделать несколько замечаний о топографии древнего Киева. Столица Руси с X — XII в. находилась на правом берегу Днепра, ниже впадения Десны, занимала выгодное географическое положение и состояла из двух главных частей: Горы, или городища, и Подола. Уже в VIII — X вв. сложился раннефеодальный город, о чем свидетельствуют археологические находки, которые позволяют говорить собственно о трех городах, расположенных на Киевской (Андреевской) Горе, на Киселевке и у церкви Иордана. Первый из них был главенствующим и центральным на территории киевских полян и послужил Нестору мотивом в легенде о трех братьях. Обозначение возвышенной, травянистой наддненровской местности словом *kujava* весьма правдоподобно.

Как в связи с этим объяснить несторовскую форму *Киевъ* — *Кии*, которая в лингвистическом отношении также дает вполне осмысленную этимологию — «город *Кия*»? Нестор, как это уже отмечали многие его интерпретаторы, был хронистом-писателем, который, составляя свою «Повесть временных лет», пользовался древними летописями и документами, устной народной фольклорной традицией, а также прибегал к собственной обработке, которая была и «ученой» в духе своего времени, и соответствующим образом стилизованной. Приводимые им nomina propria, столь ценные, если учесть время их записи (XI — XII вв.) требуют все же осторожной и тонкой лингвистической, филологической и даже «литературной» в широком смысле слова интерпретации.

Многие имена оказываются весьма типичными и достоверными (имена богов *Стрибогъ*, *Сварогъ* и т. д.; названия племен, зафиксированные почти фонологически,— *полане*, *северяне* и т. д.). Есть, однако, и «загадочные» записи, вероятнее всего каким-то образом субституированные (имена богов *Волосъ* или *Велесъ*, *Хорсъ*, *Перунъ* и др.). Есть заслуживающие детального объяснения династические имена, считающиеся, благодаря комментарию автора, нордическими (*Игорь*, *Олегъ*, *Ольга*, *Глебъ*). И наконец, доказательством того, что Нестор, как и польские хронисты, комбинировал, своеобразно этимологизировал и в соответствии с этим «подправлял» историю в интересах правящей династии, служат имена *Щекъ*, *Хоривъ* и *Лыбедь*, несомненно, вымышленные и образованные из топографических названий частей Киева (*Щековица* к *Щек* — ср. польск. *Szczecno*, *Хоривица* образовано при помощи обычного в топонимах суффикса *-ica*, *Лыбедь* произведено от названия притока Днепра вблизи Киева). Нестор переделал некоторые имена по типу lectio difficilior → facilior: мазовецкий *Masław* (типичное образование «корень + nomen») стал у него *Moislav* (*Моиславъ*, одно из распространенных древнерусских имен), древний волынский город *Sątěska*, русск. *Сутѣска* подпал под необычайно продуктивный тип древнерусских топонимов на *-ьскъ*: *на Сутеиску* (стр. 159), *заимъ Сутѣску* (стр. 180). Идя по пути ономастических псевдоэтимологий, Нестор мог подвергнуть подобной обработке и географическое название какой-то части Киева, т. е. переделать *Kujava* на *Kijevъ*, чтобы таким образом установить племенного предка полян *Кия*. В контексте отчетливо прослеживается вмешательство летописца; по народной легенде *Кии* должен был быть перевозчиком на Днепре, а для летописца, критически оценивающего этот народный мотив, он был княжеским наместником и основателем небольшого города на Дунае (*Киевець*). Некоторые исследователи устанавливали ошибочную генетическую связь

---

[27] R. Trautmann, Die slavischen Ortsnamen Mecklenburgs und Holsteins, Berlin, 1950, стр. 75.

[28] См.: L. Niederle, Slovanské starožitnosti, IV, 1, Praha, 1924, стр. 180—181, примеч. 9,1.

[29] См.: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 1927, стр. 280; E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1908, стр. 638; М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, II, стр. 439.

[30] K. Moszyński, Uwagi o słowiańskiej terminologji topograficznej i fizjograficznej, oparte przeważnie na materiale białorusko-poleskim, Lwów — Warszawa, 1921, стр. 14.

между повторяющимися топонимами *Киевъ - Киевець*, *Переславъ* русский и *Preslav* к югу от Дуная [31].

Константин Багрянородный исходил из греческой записи σαμβατάς, формы, которую пытались объяснять по-разному: из финского («граница равнины») [32], из скандинавского (*sanbakki* «Sandbank») [33], из армянского (ср. имя армянского вождя *Smbat*, I в. н. э. [34]). В XVIII в. отмечена народная этимология этого названия: *Sambat* «самое место лодок (ботов)» или «сама мать», «сия есть мать» [35]). Сорабист А. Мука предлагал славянскую этимологию: Κιόάβα Σαμβατάς = *Kyjevъ zǫbatyjь*, т. е. город с зубчатым ограждением [36]. В. А. Никонов [37] принимает реконструкцию слав. *Sǫbota*: *sǫbota*, т. е. топоним типа *Sroda*, *Sobôtka* (в эти дни недели происходили торги). Однако названия такого рода были значительно более поздними, уже средневековыми.

Весьма правдоподобно славянское происхождение византинизированной формы σαμβατάς, если исходить из более правильной транскрипции *Samvatas*, а точнее *Samvadas* = **Sǫvodъ* при передаче *v* через β (у Константина Багрянородного βερούτζη, βουλνηπράς, ὀστροβουνιπραχ, βουσεγραδέ = *Verutzi*, т. е. *Vručijь*, *Vulniprach*, т. е. **Vlъnьnyjь pragъ*, *Ostrovuniprach*, т. е. **Ostrovьnyjь pragъ*, *Vyš(e)gradъ*). Передача носового заднего ряда *ǫ* через *an*, *am* вполне возможна при древнейших славянско-греческих субституциях: Κανδρέβα: слав. *kǫdrь* (в Аркадии), Σανδοβίτσα = *Sǫdovica* (в Эпире) и т. д. Деназализация праслав. *ę*, *ǫ* окончательно завершилась только к концу X в. У Константина она отражена в названиях днепровских порогов *Verutzi*, *Ussupi* вместо Уступи: **sǫp-*, *Neasit* = *Неясыть*. Название *Samvadas* = **Sǫvodъ* было записано еще с сохранившимся носовым, поскольку византийский автор ориентировался при передаче названия данного города, славянского с древнейших времен, на какой-то более ранний источник. Вообще передачи Константина не последовательны в фонетическом отношении.

Слав. *o* часто передавалось греч. α: ζάκανον (у Константина) = *законъ*; а слав. *a* = греч. α: Γρατηνή = **Gradьna* и т. д. Греч. окончание -ας — того же типа, что и в Νεμογαρδάς = *Новгородъ*.

Славянские первичные или вторичные топографические термины с префиксом *sǫ*-«cum» весьма многочисленны: русск. *суводъ* «Wasserwirbel», др.-русск. *суводивыи* «водянистый» (т. е. *sǫ* + *voda*), *суземъ* «Schwarzerde mit Beimischung von Sand» [38], праслав. *sǫtěska* «vallis», серб. *suvrat* «praeceps». В топонимии таких названий сохранилось еще больше: серб. *Sudolišče*, польск. *Sǫtop*, *Sǫtok* (*Santok*), *Sangródz*, *Sambród*, *Sǫspowski* Potok: **sǫsep*, *Sǫpolna* и т. д. Ср. также название реки *Suprasl*ь < **Sǫpręslь*: **prǫd-*. Следовательно, *Sǫvodъ* должно означать то же, что *Sǫtok*. Образования такого типа иногда подвергались переоформлению: ср. в Силезии нем. *Sandewalde* ← **Sǫvъlь* (Wąwel ← **vǫvlь*), в настоящее время *Sǫdowel* (?).

Скандинавы называли Киев *Kœnugarðr* (что является народной этимологией вместо *Kyjanovgorodъ*, ср. норд. *kœna* «лодка» [39]), готы — *Danparstadir* «город на Днепре» [40].

---

[31] Так поступал Д. С. Лихачев («Повесть временных лет», II, М.—Л., 1950, Комментарии, стр. 222) вслед за Б. А. Рыбаковым (см. Б. Рыбаков, Ранняя культура восточных славян, «Исторический журнал», 1943, 11—12, стр. 78).

[32] См.: Вяч. Егоров, Два финских имени, «Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову», Пб., 1922, стр. 14.

[33] W. Thomsen, Der Ursprung des Russischen Staates, Gotha, 1879, стр. 72; его же, Det russiske riges grundlaeggelse ved Nordboerne samt bemaerkinger til varaegerspörgsmålet, «Samlede Afhandlinger», I, København, 1919, стр. 293, 314 и сл., 424 и сл.

[34] В. Миллер, Осетинские этюды, III, М., 1887, стр. 25, 40. Ср.: L. Zgusta, Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, Praha, 1955, стр. 321—323, где приводятся собственные имена Σαμβατιων, Σαμβατις, Σαμβατιος и др. Были попытки связать эти формы с древнееврейским названием субботы (греч. σάββατον), однако, несомненно сфера их применения значительно шире.

[35] См. литературу в кн.: В. А. Никонов, Краткий топонимический словарь, М., 1966, стр. 189—190.

[36] См.: Л. Нидерле, указ. соч., стр. 97, примеч. 6.

[37] В. А. Никонов, Этимологические западни, «Lingua Posnaniensis», IX, 1963, стр. 113.

[38] M. Vasmer, Russisches etymologische Wörterbuch, III, Heidelberg, 1958, стр. 38, 41; И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, III, СПб., 1903, стр. 593. Реконструкцию *Sambatas* = *Sǫvodъ* предложил уже сорок лет тому назад Г. А. Ильинский (Г. Ильинский, Σαμβατάς Константина Багрянородного, «Ювілейний збірник на пошану акад. М. С. Грушевського», II, Київ, 1928).

[39] I. I. Mikkola, Om några ortnamn i Gardarike, «Arkiv för nordisk filologi», XXIII, 1907, стр. 279; K. O. Falk, указ. соч., стр. 37—38.

[40] См.: L. Niederle, указ. соч., стр. 65.

Подобная вариативность названия, вероятно, свидетельствует о том, что древнейшее античное определение μητρόπολις = «главный город» (очень распространенный способ наименования центральных городов) адаптировалось различным образом (ср. греч. πόλις = праслав. *gordъ).

Ни название *Sǫvodъ, ни *Kujava* в раннем средневековье не утвердились за пределами Древней Руси, так как они, вероятнее всего, относились только к отдельным частям Киева, и потому иноземные авторы пользовались описательным общим названием *magna civitas, metropolis*; ср. у Галла-анонима I, 7: «Boleslaus civitatem magnam et opulentem ingrediens et evaginato gladio in aurea porta percutiens»; *в хронике* «Gesta Danorum» Анналиста Саксо («Monumenta Germaniae Historica», VI, стр. 631, 665, 674) называет Киев «*magna civitas*, clarissimum decus Grecie». В несторовском «мати градомь русскимь» как бы пародируется древнейшее греческое определение μητρόπολις (греч. μάτηρ «мать»).

Можно привести еще одну деталь в пользу первичности *Kujava*. У Нестора встречается форма *Кыяне* или *Кыане*, которая не может быть прямым дериватом от *Киевъ* (ср. *киевлянин*). С помощью суффикса *-janinъ* образовывались древнейшие этнонимы, производные от названий рек или местности: *пинане*: *Пина*, *полочане*: *Полота*, *бужане*: *Бугъ*, *дрючане*: *Дрють* и т. п. (приводятся Нестором). *Лучане* были названы по топониму *Лука*, а не по городу *Луч-ьскъ*. В названиях же жителей городов сохранялся топонимический суффикс: *торопчанин* от *Торопец*, *любчанин* — *Любечь*. Наиболее типичным суффиксом более поздних названий жителей городов в противоположность исконным племенным этнонимам был *-ьсі*: *черниговьци*, *Юрьевци*. В соответствии с этим должна оцениваться в форме *Кыане* (*Кыяне*). Для настоящего времени форма *киянин*, кажется, не отмечена[41]; ср.: *харкив'янин*: *Харків*, *ростовчанин*: *Ростов*. Ср. также белорусск. *магілеўчанін*: *Магілеў*. Не следует ли, таким образом, *Кыане*, *Кыяне* связывать с первичным географическим определением частей Киева, т. е. *Kujava*//*Kujь*, *Kuja*? В персидских источниках встречается *Kujane*. Изменение *Kuj* в *Kij*, благодаря близости артикуляции *u* ↔ *y*, произошло так же, как *Kujava* → *Kyjev*, *Kijev*.

Высказанные этимологические соображения о различных древних названиях Киева существенны для истории Древней Руси, поскольку реконструкция продуктивных славянских топографических образований первичного типа (*kujava*, *sǫvodъ*) подкрепляет вывод о древнейшей славянской колонизации на территории государства *Rōs* (греч. Ῥῶς). Топографические названия апеллятивного происхождения составляют один из древнейших топонимических слоев; ср. чеш. *Praga*: *praga* «каменистое возвышенное место»; польск. *Wąwel*: **vǫvьlь* «холм над поймой реки», *Sątok* (*Santok* на Одре), **Sąwel* (ныне *Sądowel* в Силезии), *Wisła* (ныне *Wiślica*, в X в. *vъ Vislě*)[42], *Sątěska* (древний город на Волыни) и т. д.

Археологи установили древнейшую родословную дославянского и славянского Киева (сначала антского, племенного, затем раннефеодального — языческого и христианского периода). У днепровских и днестровских антов был вождь *Boz* (слав. *Босъ* или *Божь* ← **Bodjь*), который, по Иордану, вступил в битву с готским королем Винитаром и погиб (375 г.); память о нем сохранилась в былинах и оттуда — в «Слове о полку Игореве». Антские вожди с явно славянскими именами (*Dobrogost*, *Mežměr*, *Chwalibud*) были засвидетельствованы в VI в. н. э. античными авторами (Прокопий, Агафий).

Существование названий *Kujava* (для всей территории Киева, ср. арабские источники) и *Sǫvodъ* можно предположительно относить к периоду формирования раннефеодального города в VIII—X вв. Помимо славянского, там было и иное население (варяги, армянские купцы), однако славянский элемент, имевший опору в приднепровском массиве, был сильнейшим. «Географ Баварский» (866—890 гг.) отметил племя *Unlizi* ← **-ǫgliči*: *ǫglъ* «угол» или **ǫglь* «уголь». У Нестора — *уличи* или *улучи*. Названию *Kujava* идентично и др.-польск. *Kujawa* (позже *Kujawy*, 1136 г. *Cuiauia*, у Кадлубка *Cuiavia*) — восточная ветвь великопольских полян, занимавших также плодородные и равнинные области вдоль Вислы, у озера Гопла. Определение *Polanie*, так же, как и соседнее *Kujawa*, следует понимать в связи с топографическими особенностями местности (у Вислы и у Днепра обширная плодородная прибрежная равнина, открытая всем ветрам).

Теоретическая посессивное название *Киевъ* < *Кии* было бы вполне приемлемым (ср. многочисленные славянские топонимы типа польск. *Kijewo*, *Kijów*, чеш. *Kyjov*, *Kyje*, *Kyjevice*), если бы не приведенные контраргументы.

---

[41] См.: А. А. Дементьев, Суффиксы *-ец-* и *-анин* (*-янин*), «Р. яз. в шк.», 1946, 5—6; B. Lindert, Formanty *-ěninъ* i *-janinъ* (*-aninъ*) w słowiańskich nazwach mieszkańców, «Rozprawy Komisji językowej [Wrocławskiego t-wa naukowego]», VI, 1966.

[42] S. Rospond, Wiślica — prastary gród Wiślan, «Księga pamiątkowa W. Taszyckiego» (в печати).

Миф о трех братьях (ср. также в армянской передаче *Kuar*, *Mentej*, *Cherean*), отвечавший живой устной традиции о межплеменных отношениях, может быть своего рода дальней реминисценцией трех основных восточнославянских племен, соответствующих трем языковым единствам (русский, украинский и белорусский). Нестор неоднократно «антропонимизировал» историю явно топографических названий. Поиск «покровителей» — основателей городов (Русь называли *Gardariki* «страна городов»), курганов, урочищ был модным и чуть ли не обязательным стилистическим приемом летописцев. Отсюда возникали различные несоответствия и даже иногда критические замечания летописцев. Летописец полемизировал с мифом о перевозчике Кие, превратив его в князя, наместника в Царь-граде и основателя Киевца на Дунае. Относительно Олега тоже были разные версии (князь или воевода Игоря, пребывавший в Новгороде или в Ладоге, умер в Киеве или в Ладоге).

Топографию Киева времен княгини Ольги (X в.) летописец реконструировал в 70-х годах XI в. на основании собственных наблюдений и рассказов «старожилов». Недалеко от Киевской горы был горный спуск под названием *Боричевъ* (*Боричь* — собств. имя; однако, согласно более поздней Радзивилловской рукописи, *Birič*: *birič* «сборщик податей»). «Гора», называвшаяся *Киевъ*, была заселенной, на ней был расположен город, локализованный хронистом в том месте, где в его время находился двор *Гордютинъ* и *Никифоровъ*. Сам княжеский двор помещался в городе, на месте двора *Воротиславля* и *Чюдина*. Об этих вельможах древнего Киева (*Гордюта*, *Никифоръ*, *Воротиславъ*, *Чюдинъ*) можно получить сведения и из других древнерусских источников. Все это, за исключением антропонима Никифоръ ← греч. Νικηφόρος, имена славянского происхождения: *Горд-юта* от праслав. *gr_0d-, *Воротиславъ*: *voroti* + *slav*, *Чюдинъ* : *čud*-. «Теремной двор», остатки которого наблюдал хронист, был центром княжеского Киева и помнил еще языческие времена.

Достоверность топонимических и антропонимических данных представляется, в свете современных археологических находок, весьма значительной. В этом контексте только название города *Киевъ* и горы *Киевской* («въздолѣ горы Киевьскыя») были переделкой первоначального определения *Kujava*. Склон этой горы назывался «увозъ *Боричевъ*», суффикс *-ava* был по аналогии заменен на *-ev*: *Kujava* → *Kyjava*↔ ↔*Boričev* → *Kyjev*. Для народного мифологического представления, так же как и для хрониста, топографические названия были не столь адекватными и менее ценными, чем антропонимические названия, отражающие генеалогию. Потому и народный «ономастический» узус, и летописец нередко «антропонимизировал» топографические названия.

Методологическая осторожность исследователя ономастики требует многостороннего контекстного анализа каждого сомнительного названия, ибо прозрачные с первого взгляда топонимы в действительности оказываются вторичными, переиначенными.

Перевела с польского *С. М. Толстая*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

И. К. БЕЛОДЕД

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ П. И. ЖИТЕЦКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ

В начале 1967 г. исполнилось 130 лет со дня рождения (4 I 1837) и 55 лет со дня смерти (18 III 1911) виднейшего украинского лингвиста широкого филологического профиля, выдающегося представителя русского и общеславянского языкознания второй половины XIX в. Павла Игнатьевича Житецкого, имя которого в истории культуры украинского народа стоит наряду с именами А. А. Потебни и К. П. Михальчука и занимает почетное место в отечественной и славянской филологической науке.

Филологическое образование П. И. Житецкий получил на историко-филологическом факультете Киевского университета, куда он перешел, оставив, после трех лет обучения, Киевскую духовную академию, в которую поступил после окончания Полтавской семинарии. Его научные взгляды формировались прежде всего на основе лекций и работ профессоров Киевского университета А. И. Селина, известного слависта А. А. Котляревского и др., а также на научных достижениях отечественного и славянского языкознания. Важное значение для научного пути П. И. Житецкого имело его общение с И. И. Срезневским.

Идейная направленность его научного творчества складывалась на традициях и передовых взглядах того течения славянофильства, которое составляло важную часть программы Кирилло-Мефодиевского братства и как отзвук недалекого прошлого еще витало в стенах Киевского университета. Это проявилось в глубоком интересе к проблемам славяноведения, в поддержке борьбы славян за свою независимость и свободу, за равноправие славянских народов, в упорной работе по развитию их культур и языков, пропаганде братства и единения славянских народов, взаимосвязи их культур. Это определяло историко-культурный — на либерально-просветительной основе — подход к научным исследованиям проблем гуманитарных наук, в частности — в области развития языков славянских народов.

Излюбленным объектом творческих исследований П. И. Житецкого был прежде всего украинский язык, его история в связи с историей и судьбой украинского народа — от давних времен до современности, связи украинского языка с братскими русским и белорусским. Язык для него был одним из важнейших компонентов истории народа, его духовного существа, его культуры. Еще в студенческие годы в статье «Русский патриотизм» (журн. «Основа», 1862, март) П. И. Житецкий выступил, в частности, против великодержавного принижения украинского языка, особенно против того утверждения, что он якобы является лишь орудием элементарной мысли; П. И. Житецкий отстаивал положение, что украинский язык как самостоятельный национальный язык способен к прогрессу во всех сферах жизни, в частности способен при благоприятных условиях стать языком науки. Эти мысли Житецкого в известном смысле были созвучны высказываниям Н. Г. Чернышевского (статья «Национальная бестактность», написанная по этому же поводу).

После окончания в 1864 г. Киевского университета П. И. Житецкий до 1867 г. работает преподавателем русской словесности в Каменец-Подольской гимназии; по возвращении в Киев он также работает в средних учебных заведениях — в Коллегии П. Галагана, военно-учебном заведении и др. С 1880 по 1882 г. П. И. Житецкий читал (как приват-доцент) курс истории русской словесности в Петербургском университете. По возвращении в Киев он снова преподает в средних учебных заведениях и занимается, наряду с интенсивной научной работой, вопросами методики преподавания, созданием учебных пособий по теории словесности для средней школы. Попытки П. И. Житецкого войти в состав преподавателей Киевского университета оказались тщетными: реакционные элементы воспрепятствовали этому. В 1898 г. за выдающиеся заслуги перед филологической наукой Российская Академия наук избрала его своим членом-корреспондентом. От этой же Академии он неоднократно получал почетные премии за свои научные труды. В 1908 г. Киевский университет присудил ему ученую степень доктора наук honoris causa.

В научном наследии П. И. Житецкого следует выделить, по нашему мнению, такие основные проблемы филологической науки:

I. Историческая фонетика украинского языка («Описание Пересопницкой рукописи XVI в.», Киев, 1876; «Очерк звуковой истории малорусского наречия», Киев, 1876, и др.).

II. История украинского литературного языка [«Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в.», Киев, 1899; «Начерк історії літературної української мови. До Івана Котляревського» (совместно с Богумилом), 1914; «Нарис історії української мови в 17 віці», Львів, 1941, с предисловием акад. А. А. Булаховского; «О переводах евангелии на малорусский язык», ИОРЯС, X, 4, 1905 и др.].

III. История русского литературного языка («Старинные воззрения русских людей на русский язык», «Киевская старина», 1882, октябрь; «К истории литературной русской речи в XVIII в.», ИОРЯС, VIII, 2, 1903).

IV. История украинской литературы [«„Энеида" Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века», Киев, 1900; «О литературной деятельности Иоанна Вишенского», «Киевская старина», 1890, июнь — в этих двух работах содержатся сведения и по истории украинского литературного языка; «Памяти Георгия Конисского (1717—1795)», Киев, 1895; «Острозька трагедія», «Зап. Науков. товар. ім. Шевченка», LI, Львов, 1903; «Малорусский вертеп Гр. П. Галагана, с предисловием П. И. Житецкого», «Киевская старина», 1882, октябрь].

V. Украинский фольклор («Мысли о народных малорусских думах», Киев, 1893, на укр. яз. — «Про українські народні думи», Киев, 1919; «Заметки о разных методах изучения народных малорусских дум», «Этнографическое обозрение», № 4, кн. 27, 1895; Рец. на кн.: В. Перетц, Историко-литературные исследования и материалы, т. I, ч. 1 и 2, СПб., 1903; «Die Niederlage B. Chmelnicki's bei Beresteczko am Flusse Styr 1651, in gleichzeitiger poetischer Bearbeitung», «Archiv für slavische Philologie», II, B, 1877; «Über das altrussische Lied von Igors Heereszug», там же, IV, B, 1877).

VI. Теория словесности, поэтика, методика словесности («Теория поэзии», Киев, 1898, 6-е изд. — Киев, 1908; «Очерки по истории поэзии», Киев, 1898, 6-е изд. — 1913; «Теория сочинения», Киев, 1895, 6-е изд. — Киев, 1907).

VII. Общее («философское») языкознание («В. Гумбольдт в истории философского языкознания», «Вопросы философии и психологии», кн. 1, 1900; «Диалог Платона „Кратил"», ЖМНП, 12, 1890 [1]).

Архив П. И. Житецкого [хранится в Центральной научной библиотеке (ЦНБ) АН УССР], содержащий его неопубликованные работы, планы-проспекты, заметки, выписки для работ по лексикографии (терминологии), правописанию, истории восточнославянского языкознания, общего языкознания и др., показывает П. И. Житецкого как слависта, который, в частности, интересовался творчеством Вука Караджича, вопросами сербскохорватского языка и грамматикой сербского языка; в Архиве хранится большая переписка П. И. Житецкого, имеющая самостоятельное научное значение.

Многогранное научное наследие ученого освещено в ряде обзоров и рецензий разного времени. Разбор его трудов в свое время делали А. А. Потебня, В. Ягич, В. Перетц и другие видные филологи. В советское время этому наследию посвятили свои работы В. С. Ващенко, О. И. Брицына, Г. П. Ижакевич и др.

Если обратиться к некоторым главным моментам научного творчества П. И. Житецкого и прежде всего к его работам в области исторической фонетики украинского языка, то следует в первую очередь остановиться на рецензии А. А. Потебни на книгу «Очерки звуковой истории малорусского наречия». А. А. Потебня, блестящий и ортодоксальный представитель сравнительно-исторического языкознания, не мог принять замечания П. Житецкого о методе лингвистических исследований. «Нередко предпочитали у нас, цитирует он автора „Очерков", — исторической почве общесравнительную почву параллелей и сближений мр. наречия с другими славянскими. Мы думаем, что в современном состоянии науки исторический путь составляет более насущную потребность, чем сравнительный» [2]. А. А. Потебня справедливо подчеркивал, что в тех случаях, когда в исторических памятниках не засвидетельствован беспрерывный ряд развития явлений языка, познание этих явлений возможно только путем сравнительного анализа путем реконструкций. «Ведь такому сопоставлению мы обя-

[1] Библиография приводится, в частности, по работе: В. Перетц, Павло Житецкий, «Зап. Укр. Наук. Товар. в Києві», кн. II, 1908. Она дополнена указаниями на позднейшие издания.

[2] А. А. Потебня, Разбор сочинений П. Житецкого «Очерки звуковой истории малорусского языка», «Отчет о присуждении наград гр. Уварова», Киев, 1878, стр. 3.

заны открытием значения юсов и того, что они предполагаются русским языком»[3]. Неясными остаются у П. Житецкого понятия праязыка вообще, праязыка славянского и русского, в частности; относительно последнего П. Житецкий утверждал, что «первобытный русский язык заключал в себе все диалектные разновидности нынешнего русского языка»; это, конечно, не могло не вызвать резкого возражения А. А. Потебни. В рецензии А. А. Потебни тщательно прослеживаются взгляды Житецкого по конкретным явлениям процесса становления фонетической системы украинского языка (падение ъ и ь, изменение их в *о* и *е*; природа *ѣ*; изменение *ѣ* в *і*; *о*, *е* в *і*, характер звука *и* и др.).

Справедливость «суровых» и «неблагожелательных» (по выражению В. Н. Перетца) замечаний А. А. Потебни во многих случаях очевидна. Однако несомненное значение «Очерков» для изучения истории украинской фонетики определяется прежде всего тем, что такого фундаментального труда до Житецкого в нашей филологической науке не было; не теряют своего значения выводы ученого о том, что главные черты украинского вокализма определялись уже в XII — XIII вв., а черты консонантизма несколько позже, при учете древнерусской языковой общности периода Киевской Руси.

Главное же, по нашему мнению, заключается в том, что П. Житецкий научно лингвистически «прочитал» древние памятники украинского языка и сделал при этом ряд бесспорных выводов, которые не утратили своей научной ценности и в наше время. Это относится не только к фонетике, но и к грамматике, в частности к синтаксису, а также к фразеологии и лексике. «Пересопницкие переводчики,— писал он,— внесли в свой труд южнорусскую фразеологию в таком изобилии, что из нее одной можно было бы выбрать богатый материал для южнорусской грамматики XVI века»[4]. «На славянской основе с иноязычной польской и отчасти чешской примесью положены густыми слоями и в огромном количестве черты народной фразеологии с ее типическими особенностями, как в отношении к звукам и формам, так равно и в отношении к словоупотреблению, словорасположению и постройке предложений»[5].

В области диалектологии интересно выделение у П. И. Житецкого трех основных диалектных групп — северной, галицкой (западной) и украинской (юго-восточной), которые перекликаются с более совершенной, бесспорно, их характеристикой у К. П. Михальчука. Ценность диалектных материалов, представленных в «Очерках звуковой истории малорусского наречия», была признана еще А. А. Шахматовым в рецензии на «Словарь украинского языка» под ред. Б. Гринченко.

Можно провести известную параллель между научно-лингвистическим исследованием русских летописей, осуществленным А. А. Шахматовым, и изучением памятников украинского языка П. И. Житецким. В специально-лингвистическом, а также в общем историко-филологическом аспектах он обследовал огромный материал украинской письменности XIV—XVIII вв., а также произведения устного (разговорного) и песенного народного творчества этого периода; среди изученных им памятников можно назвать летописи Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Межигорскую, Г. Грабянки, С. Величко, Самовидца, «Летописец, или описание...» и др.; учительные евангелия, «Казания», грамматические и лексикографические труды, в частности М. Смотрицкого, П. Берынды и др., диариуши, хроники, хронографы, описания, грамоты, акты, уряцовые книги, фамильные архивы, письма Б. Хмельницкого и под.; произведения И. Галятовского, И. Вишенского, Л. Барановича, З. Копистенского, А. Радивиловского, И. Гизеля, Петра Могилы, С. Яворского, Ф. Прокоповича, Д. Ростовского, Г. Сковороды и др.; литературу драматическую, виршевую, сатирическую и под.; диалектные материалы.

П. И. Житецкий глубоко изучил также материал памятников русского литературного языка XVI—XIX вв. В поле его научных интересов находилась также история литературных языков западных и южных славян, хотя материалы его исследований в этой области нашли лишь частичную реализацию, которая в основном продолжает оставаться делом будущего.

Основную ценность в многообразном научном наследии П. И. Житецкого представляют его работы по истории украинского и русского литературных языков, в частности поэтики, языка и стиля украинских народных дум. Их теоретические положения и конкретно-исторические языковые характеристики, важные для проблематики истории украинского литературного языка, нашли свое применение и развитие в целом ряде современных исследований украинских языковедов. Вот примерный перечень содержащихся в них проблем и положений: закономерности постепенного насыщения церковнославянского языка элементами живой речи и преобразование его, таким образом, в славянорусский и славяноукраинский («киевский»), пути и способы соединения славянской книжной традиции с живой народной речью, отоб-

[3] Там же.

[4] П. Житецкий, Старинные воззрения русских людей на русский язык, стр. 282.

[5] П. Житецкий. Описание Пересопницкой рукописи XVI в., стр. 4.

ражение этого процесса в различных памятниках староукраинской и старорусской письменности XVI—XVIII вв., характеристика двух типов литературного языка на Украине в этот период — славяноукраинского (славянорусского Киевского «извода») и старокнижного украинского, совпадения и различия в их грамматической регламентации, в стилистических средствах и сферах применения, в их жанровом многообразии; борьба за престиж славянорусского языка против иезуитско-католической экспансии польского светского и духовного магнатства как одно из проявлений борьбы против социального и национального порабощения; взаимоотношение и взаимовлияние украинского, русского и польского языков в процессе различного типа их контактов в период XVI — XVIII вв.; взаимодействие украинского и белорусского языков, характер и функции так называемого западнорусского языка как выражение идеи и сознания общерусского единства, место и роль украинского языка в комплексе западнорусского языка; значение киевской учености, выработанной здесь грамматической регламентации языка в развитии русской литературной речи конца XVII — первой половины XVIII в.; процессы упадка старокнижного языка на Украине и в России в XVIII в., процессы дальнейшего размежевания в сферах употребления церковнославянского (соответственно — славянорусского и славяноукраинского) языка, отодвижение его в сферу конфессиональную и использование его компонентов в «новых» литературных языках — русском и украинском как следствие дальнейшего развития русской и украинской наций, как следствие требований жизни, новых идей, государственно-экономических и культурных потребностей народов; формирование «новых» литературных языков на народно-разговорной основе; творческая роль М. В. Ломоносова в реформе русского литературного языка и значение ее для развития украинского литературного языка; значение творчества П. И. Котляревского и всего предыдущего демократического процесса в обновлении украинского языка, формировании «нового» украинского литературного языка в условиях царского угнетения и принижения национальных языков в России; характеристика различного типа памятников украинской литературы этого периода, а также виршевого, драматургического творчества, устного, песенного творчества народа.

Таким образом, в научном наследии П. И. Житецкого встает огромный комплекс проблем, которые в наше время требуют дальнейшей разработки. Считаем необходимым акцентировать те из них, которые должны, по нашему мнению, получить дальнейшую разработку в первую очередь.

Следует признать справедливым упрек П. Житецкому (А. А. Потебня, Л. А. Булаховский, В. С. Ващенко) в том, что он, давая звуковую и грамматическую характеристику книжного украинского языка XVII в. сравнительно с языком церковнославянским, недостаточно использовал данные живой народной речи, засвидетельствованные в песенном фольклоре, в драматургических произведениях, в устном народном творчестве разного типа, виршевой литературе и под. Этот пробел стремился в какой-то степени восполнить автор соответствующего раздела I тома «Курса истории украинского литературного языка».

А. А. Потебня более основательно осветил этот вопрос, опираясь на диалектный, фольклорный, сравнительно-славянский материал, хотя и не в таком широком социально-историческом плане теории литературного языка, как у П. Житецкого.

Для П. И. Житецкого украинский язык — это преимущественно язык украинского народа Поднепровья и частично тех областей, которые находились под властью Польши. Широкого взгляда и единого плана рассмотрения истории украинского литературного языка на всех украинских этнических территориях, осознания единства родного языка и борьбы за это единство в работах П. Житецкого мы не наблюдаем, хотя в это время уже звучал голос Ивана Франко как глашатая этой борьбы в Западной Украине [6]. Однако П. Житецкий глубоко понимал значение борьбы украинского, русского и белорусского народов за церковнославянский и славянорусский языки против магнатско-польской экспансии.

В частности, ряд вопросов этой борьбы и развития церковнославянского и славяноукраинского языков освещены в работе П. Житецкого «Литературная деятельность Иоанна Вишенского». Здесь убедительно представлен литературно-языковой стиль произведений И. Вишенского; показано его понимание того, что уже само появление книг на церковнославянском — или «русском» — языке являлось отпором врагам русской культуры.

П. И. Житецкий глубоко показал необходимость нового содержания просвещения и школы в тот период. Заслуга Киево-Могилянской академии, ее историческая роль именно заключалась, в частности, в том, что она организовала науку и обучение на самом высоком уровне тогдашнего европейского обучения и этим сумела противостоять враждебным нападкам на украинскую и всю восточнославянскую культуру. П. И. Житецкий глубоко проанализировал творчество ряда ученых этой Академии, представителей киевской учености, в частности их деятельность в России, прежде всего в Москве и Петербурге.

[6] Архив П. Житецкого в ЦНБ АН УССР. Письма, № 48127, 148167 и др.

Понимание народного сознания необходимости восточнославянского единства в его отношении к языку проявлено Житецким при рассмотрении природы и характера так называемого «западнорусского языка». Исследователь считал, что в сознании переписчиков XV — XVI вв. жила идея «общего языка» для всех славянорусских племен, попавших под власть Литовского государства. Они называли этот язык — «речь русская», «мова русская». Под влиянием этой идеи переписчики — книжные люди в своей работе избегали некоторых специфических явлений этих языков, например, белорусского дзеканья, цвяканья и иногда даже аканья [7], отдавая предпочтение звукам, общим для украинских и белорусских говоров. Но, как мы и теперь убеждаемся, эта «не совсем четкая» работа давнишних переписчиков оставила и для нас проблему классификации некоторых памятников украинской и белорусской письменности того времени.

Заслуги П. Житецкого в освещении процессов развития украинского и русского языков в XVIII в. несомненны, хотя он не осуществил специально лингвистического анализа рассматриваемых им памятников письменности, в том числе летописей, диариушей, хронографов и под., разного рода написанного, но не напечатанного материала, а также продукции устного и песенного народного творчества XVIII в. При литературоведческом анализе этих памятников, в том числе и «Энеиды» И. П. Котляревского, он затронул эти вопросы, строго говоря, вторым планом. В частности в рецензии на капитальный труд В. Н. Перетца об украинских виршах и песнях XVI—XVIII вв. П. И. Житецкий выделил только литературоведческую и фольклористическую сторону исследования, разработку вопросов поэтики этого вида народного творчества. О лингвистической стороне этого богатого материала, собранного в исследовании, П. И. Житецкий почти не упоминает. Языковедческая концепция украинского XVIII в. формулируется уже советскими исследователями [8].

Важно отметить, что причины упадка в XVIII в. старокнижного языка на Украине П. Житецкий видел не только во внешних условиях развития украинского языка (гнет со стороны царизма), но и во внутренних закономерностях развития нации и *национального языка — в потребностях замены старой книжной стихии*, все более отдаляющейся от новых требований жизни, литературным языком на основе народно-разговорной речи. Попытки найти эту основу в народном творчестве наблюдались в украинской литературе еще до появления «Энеиды» Котляревского, а ко времени создания «Энеиды» украинская народно-разговорная речь уже настолько развилась в литературном плане, что получила возможность для выражения многих культурных понятий своего времени.

Процесс преобразования литературного языка, занявший весь XVIII в. в истории Украины и России, П. И. Житецкий более выразительно показал на примере русского языка [9]. Он осветил значение деятельности киевских ученых и писателей в развитии просвещения и славянского языка в России. Петр I, понимая объединяющее значение славянского языка, пригласил из Киева многих ученых, которые выступали здесь на общем славянорусском («церковнославянском») языке, иногда прибегая к переводам своих «казаний» с языка славяноукраинского — «киевского» на язык славянорусский (так было с С. Яворским, Ф. Прокоповичем, И. Галятовским, Д. Ростовским-Туптало и др.). Они «принесли с собой, так сказать, грамматический метод письма. В этом их значение в истории литературного русского языка. Они внесли в него идею *единства, которая нашла отражение и в Уставе Российской Академии* наук. В пятом параграфе сказано: „Такожде смотрят они (президент, вице-президент и инспектор), чтобы во всей Академии един образ был языку и правописанию“»[10]. М. В. Ломоносов хорошо понимал роль киевской учености, значение твердых правил организации речи.

Однако новый период в развитии общества знаменуется тем, что «представители киевской учености мало-по-малу становились в стороне от общественного движения, которое усиливалось по мере расширения потребности в сведениях, далеко выступавших за пределы церковно-религиозных вопросов. Для выражения новых понятий недостаточно было семинарского образования, которое опиралось главным образом на знании языков латинского и славянского. Нужна была речь более подвижная и разнообразная, чем книжная, славянская, хотя и обруселая речь, которой владели учащие и учащиеся в духовных семинариях. Разлад между мыслью и речью становился очевидным не только для писателей, но и для читателей» [11].

---

[7] См.: П. И. Житецкий, О переводах евангелия на малорусский язык, стр. 6—7.

[8] См. например: Г. М. Гнатюк, Російсько-українські літературно-мовні зв'язки в другой половині XVIII — першій чверті XIX ст., Київ, 1957.

[9] См. особенно: П. И. Житецкий, К истории литературной русской речи в XVIII в.

[10] Там же, стр. 25.

[11] Там же, стр. 28.

Таким образом, П. И. Житецкий отмечает процесс обновления славянского («церковнославянского») языка под влиянием народно-разговорной стихии в XVI в., который сменяется процессом перехода литературного языка на фундамент народно-разговорной русской и украинской речи с использованием научных и языковых достижений отечественной и европейской современности.

В развитии русского языка во второй половине XVIII в. происходят значительные сдвиги. П. И. Житецкий глубоко понимал и правильно оценивал творческий подвиг Ломоносова, смысл его реформы. Ломоносов ищет в русском языке средства для передачи «идей трудных», для выражения европейского просвещения. Вместе с тем он и его последователи «стремились к уравнению разнообразных стихий „российского" языка, к устранению границы, отделяющей книжную речь от разговорной, к низведению книжной речи до разговорной и обратно — к поднятию этой последней до речи книжной. По мере приближения к концу XVIII века литературная производительность на севере России увеличивается, а вместе с тем литературный русский язык все более и более становится притягательной силой и в Малороссии» [12]. Язык новой русской литературы, все шире и глубже опирающийся на народно-разговорную речь, стал ярким творческим образцом для демократизации и украинского литературного языка. И это явилось — вместе с закономерными внутренними языковыми преобразованиями, выразителем и творцом которых был И. Котляревский, — могучим стимулом создания нового украинского литературного языка. Смысл творческой реформы М. В. Ломоносова и ее значение также для украинского языка специально подчеркивается П. И. Житецким, он называет Ломоносова «создателем нашего литературного языка, который служит органом умственной жизни для всех нас — людей Великой, Малой и Белой России» [13]. Творческие контакты русского, украинского и белорусского языков в указанный период, как известно, продолжались в XIX и XX вв.; плодотворность их является закономерностью языкового развития и в советское время и продолжает оставаться в центре внимания исследователей.

Вопросы развития украинского литературного языка рассматриваются П. И. Житецким и в ряде других работ. Так, обращают на себя внимание новые аспекты изучения его в работе «О переводе Евангелия на малорусский язык» (СПб., 1906). В то время перевод этого произведения с церковнославянского языка на национальный русский, украинский или какой-либо иной язык не только в конфессиональных, но и в научных кругах считался таким делом, которое выявляет творческие возможности национального языка, уровень его развития и способность для выражения «идей трудных». Эти переводы специально рассматривались в Росссийской Академии наук.

В этой своей работе П. И. Житецкий предъявил к украинскому языку новые требования, резко критикуя неуклюжесть, вульгарность и примитивность перевода. Здесь формулируется ряд положений в области теории перевода вообще. Критика переводов ведется с позиций высокоразвитого языка, с пониманием его эстетики. После киевских ученых — писателей, явивших в XVI—XVII — первой половине XVIII в. блестящие образцы славяноукраинского, книжного украинского языка этого периода, которые получили признание во всем славянском мире и за его пределами, настало время высоких, разнообразных в стилевом плане, словесно-живописных образцов литературного языка И. Котляревского, Е. Гребенки, Г. Квитки-Основьяненко, Харьковской школы романтиков, творчества Т. Шевченко, И. Франко, П. Мирного, М. Коцюбинского, Л. Украинки.

П. И. Житецкий выступает против передачи церковнославянских слов в переводе теми украинскими, которые носят ярко выраженный просторечный характер и даже «стоят на границе между вульгарным и циническим» [14]. Он выступает также против принципа буквализма при переводе с одного языка на другой. Перифраз необходим, по его мысли, чтобы придать языку «логическую ясность». «Вообще же обойтись без перифраза ни один переводчик не может, если он желает избежать буквализма, часто затемняющего мысль... Что касается до перифраза, то он рассчитан в переводе Морачевского не на одну ясность мысли, но и на народную колоритность речи. Нет никакого сомнения в том, что Морачевский в высокой степени обладал чувством народной речи и, так сказать, психологией ее и все усилия прилагал к тому, чтобы, не отступая от смысла славянского текста, внести в свой перевод психическую ткань малорусской речи и свойственные ей обороты, ее „свычаи и обычаи"» [15]. Таким образом, чувство нового, глубокое знание природы и творческих возможностей национального языка, понимание законов высокой организации литературного языка,

---

[12] Там же, стр. 51.

[13] П. И. Житецкий, Старинные воззрения русских людей на русский язык, 291.

[14] П. И. Житецкий, О переводе евангелия на малорусский язык, стр. 34.

[15] П. И. Житецкий, Старинные воззрения русских людей на русский язык, стр. 39.

без вульгаризмов, без искусственно стилизированной «под мужика» манеры, без раритетов и субъективной убогой «вкусовщины» обеспечивают достойную репрезентацию национального литературного языка, его престиж. Многие из этих мыслей П. И. Житецкого актуальны и сегодня, потому что процесс совершенствования языка беспределен.

В литературоведческом анализе «Энеиды» Котляревского П. И. Житецким следует выделить *два основных момента, которые имеют первостепенное значение для* истории украинской литературы. Прежде всего, это глубокая убежденность исследователя в том, что «Энеида» Котляревского, как факт украинского литературного процесса, как знаменательное явление в развитии культуры украинского народа возникла не в результате влияния факторов внешнего порядка, не как подражание Осипову или французским поэтам, а потому, что «коренится она в прошлом украинской литературы» [16]. Она является, далее, результатом органического внутренне-структурного, исторически закономерного стремления общественной мысли и литературы к реализму, к фундаментальному переходу на основы народного творчества в широком его понимании [17]. В литературоведческих трудах П. И. Житецкого исследуется процесс исторической подготовки к появлению «Энеиды», особенно в XVII—XVIII вв. Черты будущего реализма, в частности в языке, отмечаются в памятниках славяно-русской (конфессиональной) письменности и в памятниках старокнижного украинского языка (летописях, хронографах, казацких хрониках, деловых актах, диариушах и т. п.), в драматической литературе, в драматически-бытовых сценках (интермедиях), в виршевом творчестве, в устно-разговорном и песенном фольклоре и т. п.

При освещении взаимосвязей украинской и русской литератур П. И. Житецкий всегда подчеркивал значение совместного творческого труда русских и украинских писателей и ученых. Русская литература,—писал он,— «есть плод совместной деятельности великороссиян и малороссиян, и поэтому дорога для последних так же, как и для первых. Я всегда был убежден в том, что, отрываясь от общерусской почвы, малороссияне теряют под собой свою собственную, и это убеждение, по мере сил и возможности, заявлял печатным словом» [18].

П. И. Житецким был осуществлен беспримерный по своей полноте полифонический анализ украинских народных дум, этого уникального памятника разговорного и песенного украинского языка XIV — XVII вв., охватывающий литературоведческий, лингвистический, фольклористический, поэтико-искусствоведческий и ритмико-музыкальный аспекты. К сожалению, П. И. Житецкий не сумел включить языковой материал дум в характеристику украинского литературного языка XVI—XVIII вв. К сожалению также, советские лингвисты не создали фундаментального труда о языке украинских дум и его значении в истории развития украинского литературного языка.

Научный язык П. Житецкого был четким, квалифицированным с профессиональной точки зрения и эстетически организованным с точки зрения искусства слова. Сравнивая П. И. Житецкого с другими учеными, В. Н. Перетц отмечал, что «как и Буслаев, Житецкий — прекрасный стилист, владеющий тайной действительно поэтической красоты языка» [19].

Мы должны тщательно изучить архив П. И. Житецкого и представить для дальнейшей научной разработки ряд новых, еще не известных читателям материалов и исследований ученого. Его огромное научное наследие высоко стоит в современности, занимая видное место в передовых культурных традициях и наследии прошлого. Его труды легли прочной основой в монументальный фундамент сформировавшейся в советскую эпоху науки об украинском языке, который всесторонне развился и расцвел в условиях ленинской национальной политики.

---

[16] П. И. Житецкий, «Энеида» Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века, стр. 34.

[17] Там же, стр. 134.

[18] Архив П.И. Житецкого в ЦНБ АНУССР.Записка...—автограф от 27 IV 1880г., № 46645, стр. 13.

[19] В. Перетц, указ. соч., стр. 37.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ПРОБЛЕМЫ ТЮРКОЯЗЫЧНОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Поэтика, как и текстология, относится к той области филологии, многие важные проблемы которой до сих пор находятся на стыке языкознания и литературоведения. Теоретическими вопросами поэтики занимались не только древнегреческие философы, но и арабские филологи средневековья [1]. В тюркоязычной литературе проблемы поэтики впервые были освещены в работе Алишера Навои «Мизан ул-авзан» [2], написанной под влиянием трактата Кайса ар-Рази об арузе.

Несколько позже автор известного «Бабур-наме» Захир эд-дин Мухаммед Бабур сочинил трактат «Мухтасар филь-аруз» («Краткое изложение аруза»), в котором дан научный анализ ряда поэтических жанров, характерных только для тюркского стиха (туюги, кошуги, тюркй, тархани, оленги и др.); здесь же отмечен ряд ошибочных положений в «Мизан ул-авзан» Алишера Навои. К сожалению, «Мухтасар фи-ль-аруз» Бабура до сих пор не издан — единственный список этой рукописи 1533 г. хранится в Национальной библиотеке в Париже [3].

Азербайджанский писатель и философ XIX в. М. Ф. Ахундов, исследуя творчество поэтов Ирана и Азербайджана, ставил вопрос о единстве формы и содержания в поэзии.

Система стихосложения основывается на общем грамматическом строе языка; основными компонентами стиха являются рифма, строфика и его ритмическая организация. Принято считать тюркский стих силлабическим, базирующимся на агглютинативном строе тюркских языков, гармонии гласных и строго фиксированном ударении. Нельзя не признать обоснованным и справедливым критический разбор мнений Ф. Е. Корша, А. П. Поцелуевского, М. А. Унгвицкой о силлабо-тоническом характере тюркского стиха.

Теоретические вопросы тюркского стихосложения стали привлекать внимание филологов-тюркологов в последнее десятилетие — появился ряд монографий и статей, в которых освещаются история и теория тюркского стиха; во всех этих близких по структуре работах рассматриваются основные элементы стиха — ритмическая структура, рифма, строфика.

В книге И. В. Стеблевой «Поэзия тюрков VI—VIII веков» (М., 1965) рассматривается композиция орхоно-енисейских текстов, тексты надписей разбиваются на циклы, которые, по мнению автора, дают рецитационную форму. Ритм надписей, отмечает И. В. Стеблева, формируется при помощи сочетаний ямбов и анапестов. При этом автор отмечает, что принцип равноударности, относительной равносложности, наличия слоговых групп, дающих сочетания ямбов и анапестов, характеризуют также народный силлабо-тонический стих хакасов, тувинцев, чувашей, туркменов. Мнение И. В. Стеблевой относительно характера народного тюркского стиха противоречит установленному новейшими исследователями хакасского и туркменского стихосложения положению о том, что силлабо-тонический

---

[1] Основоположником арабской науки о поэтических размерах является выдающийся арабский филолог и музыковед VIII в. Абд ар-Рахман аль-Халиль ибн Ахмед аль-Фарахиди аль-Басри (718—786).

[2] Это вовсе не говорит, однако, о том, что тюркоязычные поэты вплоть до XV в. не были знакомы с теоретическими вопросами поэтики. Начиная с XI в. в персоязычной литературе появляется ряд ценных трактатов о персидской поэтике, которые, безусловно, применимы и к метрике аруз в тюркоязычной поэзии. Об этих трактатах см.: St. Rymkiewicz, Beitrag zur Entwicklung des Reims in der türkischen Kunstliteratur, RO, XXVII, 1, 1963, стр. 46—49.

[3] См.: E. Blochet, Catalogue des manuscrits turcs, 2, Paris, 1933, № 1308. Изучением названного трактата Бабура предполагает заняться А. М. Щербак.

размер чужд тюркскому стиху [4]; в связи с этим вызывает сомнение также утверждение И. С. Стеблевой о том, что стихосложение орхоно-енисейских надписей было тонико-темпоральным. При рассмотрении звуковой организации древнетюркского стиха автор говорит об аллитерации — как междустиховой, так и междусловной; между тем стоит отметить, что аллитерирование в орхоно-енисейских надписях, как показывают приводимые в книге примеры, не носит закономерного характера. Тем не менее, взгляд И. В. Стеблевой на происхождение аллитерационной системы и рифм в тюркской поэзии заслуживает внимания.

В общих чертах можно отметить, что тюркская поэзия возникает первоначально не как письменная, а как песенная или речитативная [5], о чем ярко свидетельствуют героические эпосы и народные песни. Древнетюркскому стиху был характерен синтаксический параллелизм (или амебейность) [6], предшествующий изосиллабизму и рифме тюркского народного стиха. Хотя стих пословиц и загадок не песенный, однако и они обнаруживают параллелизм и представляют собой «ячейку народной поэзии» (В. А. Гордлевский). В. М. Жирмунский справедливо отмечает, что в ряде эпических тюркоязычных поэм содержатся и прозаические партии, которые также обнаруживают ритмическое членение, осуществляемое с помощью синтаксического параллелизма и грамматической рифмы. В прозаических же партиях синтаксические группы лишены той конструктивной обязательности параллелизма, на которой строятся поэтические партии; к тому же они имеют в прозаических партиях различное число слогов. Высокая степень совершенства языка надписей, выработанность стиля повествования и параллелизм непоследовательного характера в енисейско-орхонских рунических памятниках еще не дают основания считать древнетюркские рунические надписи шедеврами тюркоязычной поэзии VI—VIII вв. Нельзя не согласиться с А. М. Щербаком в том, что «эти надписи по своему характеру не являются поэтическими произведениями» [7].

Научный анализ поэзии тюркоязычных народов содержится уже в работах В. В. Радлова, М. Викерхаузера [8], Э. В. Гибба, Б. Фабо, Ф. Е. Корша, И. Куноша, В. Ф. Минорского, В. А. Гордлевского и др. В работе В. В. Радлова подробно рассматриваются вопросы аллитерации (начальная, или акростиховая) в поэзии алтайских тюрок, ее морфологические и синтаксические формы, конструкции строф, причем особо подчеркивается распространенность четырехстрочной строфы [9]. Б. Фабо, который выводил четверостишие из двустишья, дал несколько замечаний о ритме и мелодике турецких народных песен, и в частности отмечал, что звуки мелодии и ритм вовсе не зависят от количества слогов [10]. Аруз в творчестве тюркоязычных поэтов исследовал Э. В. Гибб [11]. Ф. Е. Корш, не останавливаясь на форме тюркского стиха, анализирует в основном его ритмическую структуру; исследование древнетюркских поэтических произведений позволило ему сделать вывод о том, что семисложный стих является достоянием пратюркского племени; одиннадцатисложник, указал Ф. Е. Корш, образовался из семисложника путем присоединения его ямбической части в начале или в конце [12]. И. Куноп, рассмотревший ритмическую структуру турецкой народной поэзии, отметил, что семи- и восьмисложные стихи состоят из двух ритмических частей [13]. В. Ф. Минорский, исходя из чуждых турецкому стихосложению поэтических правил, при анализе стихотворе-

---

[4] См.: П. А. Трояков, К вопросу о хакасском стихосложении, «Уч. зап. [Хакасского НИИЯЛИ]», X (Серия филологическая), Абакан, 1964; А. Атдаев, Ритмический строй туркменского стиха. Автореф. канд. диссерт., Ашхабад, 1966, и др.

[5] См.: St. Rymkiewicz, указ. соч., стр. 55.

[6] Об этом см. подробно: В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского народного эпического стиха, ВЯ, 1964, 4; T. Kowalski, Ze studiów nad formą poezji ludów tureckich, Kraków, 1921.

[7] А. М. Щербак, Соотношение аллитерации и рифмы в тюркском стихосложении, «Народы Азии и Африки», 1961, 2, стр. 145.

[8] M. Wickerhauser, Über türkische Metrik und Poetik, ZDMG, 22, 1866, стр. 294 и сл.

[9] W. Radloff, Ueber die Formen der gebundenen Rede bei den altaischen Tataren, «Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft», 4, 1866.

[10] B. Fabo, Rhytmus und Melodie der türkischen Volkslieder, «Keleti Szemle», VII, Budapest, 1906, стр. 121—124.

[11] E. I. W. Gibb, A history of Ottoman poetry, I, London, 1900, стр. 70—110.

[12] Ф. Корш, Древнейший народный стих турецких племен, ЗВО РАО, XIX, вып. II—III, СПб., 1909.

[13] I. Kúnos, Ueber die Volkspoesie der osmanischen Türken, в кн. «Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым», ч. VIII — Наречия османские. Тексты собраны И. Куношем, СПб., 1899.

ний турецкого поэта Эмин-бея выискивал там женские и мужские рифмы [14].

В работе В. А. Гордлевского, написанной по поводу сборника Ф. Гизе «Erzählungen und Lieder aus dem Vilajet Qonjah», рассматриваются метрический строй песен, их поэтические формы и особенно подробно— слоговой состав четверостишной строфы («мани», «баглама» и др.) [15]. В. А. Гордлевский подтвердил мнение Ф. Е. Корша о том, что семисложник является одним из наиболее архаичных строев турецкой песни.

В работе польского востоковеда Т. Ковальского дан подробный научный анализ метрического строя, аллитерации, рифмы и строфической композиции народной поэзии алтайских тюрок, уйгуров из окрестностей Турфана, казанских татар и современной Турции [16], на основе чего устанавливаются всеобщие исконно тюркские черты народного стиха (строфический строй, двучленная архитектоника, аллитерация и рифма). Т. Ковальский ставит ряд важных проблем в области изучения истории и теории тюркского стиха. Некоторые из этих проблем уточняются и исследуются на основе новых данных о тюркской народной поэзии в трех весьма содержательных работах последнего времени, в которых высказывания Т. Ковальского о природе тюркского стихосложения получили свое дальнейшее развитие [17].

А. М. Щербак, вслед за Т. Ковальским рассматривая аллитерацию как созвучие начальных звуков или слогов любого слова в стихе или строфе (древнейшей ее формой *признается аллитерирование* целых слов), отмечает, что аллитерация, будучи одной из древнейших особенностей стиха у тюрок Сибири и Алтая, распространена там во всех жанрах народной поэзии и является обязательной; у тюрок же Малой Азии, Кавказа, Поволжья, Восточного Туркестана и центральной части Средней Азии она не имеет широкого распространения. Таким образом, использование аллитерации уменьшается по мере продвижения с Востока на Запад [18]. Противопоставляя рифму аллитерации, А. М. *Щербак показывает, что степень* распространения рифмы находится в обратном отношении к степени распространения аллитерации, которая, по автору, находится в тесной связи с параллелизмом структуры древнего стиха и повторами в нем, рифма же является результатом двучленного параллелизма.

---

[14] В. Ф. Минорский, Национальные стихотворения Эмин-бея в связи с новым направлением османской поэзии, «Древности Восточные. Труды Восточной комиссии имп. Моск. археолог. об-ва», 3, 1, М., 1907, стр. 5.

[15] В. Гордлевский, Из наблюдений над турецкой песнью, «Этнографическое обозрение», кн. LXXIX (1908), 4, М., 1909.

[16] T. Kowalski, Ze studiów nad formą poezji ludów tureckich, Kraków, 1921. К сожалению, работа Т. Ковальского была написана на малодоступном тюркологам польском языке, о чем писал и сам автор (см. его: «Karaimische Texte im Dialekt von Troki», Kraków, 1929). Русское переложение Ан. Линина («К вопросам формального изучения поэзии турецких народов», Изв. Вост. фак-та Азерб. гос. ун-та», Баку, I, 1926; II, 1928) не вполне идентично, к тому же оно давно стало библиографической редкостью. По сообщению К. Рысалиева, труд Т. Ковальского переведен на русский язык М. Шафрановичем в 1946 г.; перевод этот в настоящее время хранится в Рукописном фонде Отделения общественных наук АН КиргССР. Учитывая, что работа Т. Ковальского не потеряла своего научно-теоретического значения и по сей день, было бы желательно опубликовать ее в русском переводе.

[17] А. М. Щербак, указ. соч.; St. Rymkiewicz, указ. соч.; В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского эпического стиха, ВЯ, 1964, 2; ср. также доклады советских тюркологов о тюркском стихе на XXV Международном конгрессе востоковедов: А. А. Валитова, О некоторых поэтических особенностях «Кутадгу билиг», М., 1960; А. Джафар, Особенности азербайджанской поэтической метрики аруза, М., 1960; Х. У. Усманов, Основные вопросы татарского стихосложения, М., 1960. На тюркологической конференции в Ленинграде, проведенной 7—10 июня 1967 г., выступили с докладами о стихосложении: В. М. Жирмунский, Некоторые проблемы тюркского стиха (доклад печатается в этом же номере журнала); А. Джафар, Турецкое арузоведение и его отношение к турецкой поэзии. В. И. Асланов были представлены тезисы для доклада «Метрика аруза и язык» на симпозиуме по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков (13—15 июня, Москва). За последние годы на страницах журналов и газет, издаваемых в тюркоязычных республиках, нередко в порядке обсуждения публикуются статьи по вопросам тюркского стихосложения. Все это является показателем того интереса, который вызывают проблемы тюркского стихосложения среди тюркологов.

[18] А. М. Щербак, указ. соч.; ср.: В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского народного эпического стиха.

Ст. Рымкевич исходит из самобытности происхождения тюркского народного стиха, на основе чего рассматриваются вопросы развития рифмы в тюркоязычной поэзии [19], при этом автор опирается на положение Т. Ковальского о древности рифмы у тюркских народов [20]. Здесь же коротко резюмируется теория рифмы в арабско-персидской поэтике. Ст. Рымкевич затрагивает вопрос о стихийном и осознанном воздействии народного силлабического стиха на арабско-персидскую квантитативную метрику аруз при использовании ее в тюркском стихосложении [21]. Автора занимает и более широко поставленный вопрос — о том, как складывалось взаимовлияние тюркской народной литературы и письменной тюркоязычной литературы, написанной в форме и духе арабско-персидской поэзии.

В работе В. М. Жирмунского «Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского народного эпического стиха», представляющей собой образец сравнительно-исторического и сопоставительного изучения ряда важных вопросов тюркского народного стихосложения [22], вслед за Т. Ковальским доказывается, что грамматическая рифма, изосиллабизм являются результатом ритмико-синтаксического параллелизма. Поскольку В. М. Жирмунский указывает на то, что «жыр» как метрическая форма древнего героического эпоса распадается в композиционном отношении на разделенные смысловыми паузами большие отрывки различной длины, которые называются тирадами, не было надобности искать происхождение тюркского эпического стиха в двучленной структуре народных двустиший и четверостиший, к которым автор обращается до выяснения вопроса об организующей роли параллелизма в генезисе и структуре народного стиха, имея в виду, по всей вероятности, что Т. Ковальский считал двучленную архитектонику тюркских народных двустиший основой всех метрических форм тюркского народного стиха. Отмечая, что и в эпическом стихе рифма грамматическая и основана на синтаксическом параллелизме, В. М. Жирмунский справедливо считает первоначальным эквивалентом рифмы простое повторение слов. Непонятно, однако, на каком основании автор возводит редифы (т. е. повторы) в строфических песнях у тюркских народов к влиянию классической поэзии, так как в тюркском народном эпосе это бесспорно старое, исконное образование, обусловленное общим принципом повторения и параллелизма. Более обоснованной представляется точка зрения покойного М. Ф. Кепрюлюзаде на редиф как на древнейший и важнейший элемент тюркского стиха [23]. На основе примеров, приведенных из узбекского героического эпоса «Алпамыш» (метрическая система в нем считается архаической), автор приходит к выводу о том, что рифма в этом эпосе уже обособляется как самостоятельное средство метрической композиции от породившего ее синтаксического параллелизма. Подробно прослеживая становление форм эпического стиха в «Книге моего деда Коркута», В. М. Жирмунский показывает, что смысловой и ритмико-синтаксический параллелизм стихов приводит к усилению конечной рифмы риф-

---

[19] St. Rymkiewicz, указ. соч.

[20] Ст. Рымкевич полностью разделяет точку зрения Т. Ковальского на рифму народной тюркской поэзии и с этих позиций анализирует рифмы в произведениях турецкого поэта XIII—XIV вв. Султана Веледа. Здесь уместно напомнить о том, что отдельные случаи грамматической рифмы встречаются и в ранней тюркоязычной поэзии, написанной (правда, с отступлениями) квантитативной метрикой аруз — у А. Ясеви, в турецких стихах Джелал эд-дина Руми, Султана Веледа и др. В немногочисленных произведениях азербайджанского поэта XV в. Гасема Анвара, написанных на азербайджанском языке, рифмуются главным образом омоформы. Отступления от квантитативной метрики встречаются все реже и реже по мере развития метрики аруз на новой тюркоязычной почве (см.: И. В. Стеблева, Арабо-персидская теория рифмы и тюркоязычная поэзия, «Тюркологический сборник», М., 1966, стр. 250—254).

[21] Этот весьма важный для классической тюркоязычной поэзии вопрос ждет своих исследователей. Азербайджанский арузовед А. Джафар считает, что термин «квантитативный» не соответствует природе метрики аруза, поскольку метрические формы большинства размеров аруза противоречат разнообразием своей ритмики понятию квантитативности.

[22] Общетеоретические вопросы тюркского стихосложения рассматриваются также в работах А. Бомбачи «The Turkic literatures. Introductory notes on the history and style» («Philologiae Turciae fundamenta», II, Wiesbaden, 1964) и А. фон Габен «Die alttürkische Literatur» (там же); в статье «Komanische Literatur», опубликованной в этом же томе, А. фон Габен дает подробный поэтический анализ «Codex Cumanicus».

[23] См.: M. F. Köprülü zade, Aruz, «İslam Ansiklopedisi», I, İstanbul, 1943; M. F. Köprülü, La métrique ʿarūẓ dans la poésie turque, «Philologiae Turciae fundamenta», II. Для подтверждения своих мыслей М. Ф. Кепрюлюзаде приводит ряд стихотворных примеров из «Дивана» Махмуда Кашгари, относительно которых нельзя согласиться с мнением П. Пеллио, что это результат персидского влияния.

мами внутренними [24]. Результатом смыслового и синтаксического анализа текста богатырских сказок тюркоязычных народов Южной Сибири, «Алпамыша», «Книги Коркута» явился вывод о том, что основные принципы строения стиха во всех тюркоязычных эпосах архаической формы одинаковы: основу эпического стиха составляет параллелизм; грамматическая рифма как следствие параллелизма выступает в виде конечной рифмы; число слогов регламентировано приблизительно; наряду со стихотворными партиями выступает свободно ритмизованная проза.

За последние годы в союзных и автономных тюркоязычных республиках появился ряд монографических исследований и статей, в которых излагаются узловые вопросы стихосложения на материале конкретных тюркских языков.

Как известно, с XI в. в тюркоязычной письменной литературе, наряду с силлабикой начинает применяться и арабско-персидская метрика аруз [25]. Последняя широко применяется в азербайджанской, турецкой, узбекской, татарской, уйгурской и туркменской поэзии, почти вытесняет силлабику и становится господствующей метрикой в письменной поэзии этих народов вплоть до XIX в. Силлабика же остается единственной метрикой народной поэзии, хотя она изредка встречается в творчестве того или иного поэта [26]. Метрика аруз, как нам кажется, не смогла проникнуть в народную поэзию [27].

А. Джафар, исследовавший аруз в азербайджанской классической поэзии, подготовил монографию «Теоретические основы аруза и азербайджанский аруз», где система азербайджанского аруза излагается в плане сравнения с использованием этого метра в литературе других народов [28].

О применении аруза в классической узбекской поэзии писали Р. Фитрат [29] и А. М. Щербак [30], который останавливается на природе долгих и кратких слогов, видах стоп и наиболее употребительных в староузбекской поэзии размерах аруза. Об арузе в тюркоязычной поэзии и вообще о тюркском стихосложении богатая литература имеется и на турецком языке [31].

Собственно тюркская природа системы «бармак» в современной узбекской поэзии, основные компоненты стиха (рифма, строфика, ритм), вопросы поэтической интонации, поэтической фонетики и поэтического синтаксиса освещены в монографии У. Туйчиева «Система бармак в узбекской советской поэзии» [32]. Здесь же автор ставит вопрос о взаимосвязи так

---

[24] См.: В. М. Жирмунский, Огузский героический эпос и «Книга моего деда Коркута», в кн.: «Книга моего деда Коркута», М.— Л., 1962, стр. 241—256.

[25] См.: И. В. Стеблева, О проникновении арабо-персидских метров в тюркоязычную поэзию, «Проблемы теории литературы и эстетики в странах Востока», М., 1964, стр. 285—303.

[26] В турецком литературоведении поэтов, в творчестве которых преобладает силлабика, называют *saz şairleri* «поэты саза» (т. е. народные певцы).

[27] С. Х. Алиев, исследовавший основные поэтические формы, строфику, историю развития азербайджанской классической поэзии, установивший двенадцать бахров, более 80 ритмических видов и около 240 вариантов аруза, пришел к выводу, что ни в персидской поэзии, ни в турецкой, ни в тюркоязычных литературах Средней Азии не применено столько разнообразных метрических видов, сколько их встречается в азербайджанской классике (см. его «Формы классической азербайджанской поэзии». Автореф. канд. диссерт., Баку, 1966). Однако его попытка искусственно подогнать под метрику аруз загадки, пословицы и поговорки, представляющие собой «ячейку народной поэзии», не выдерживает критики; см.: С. Алиев, Метрика аруз в азербайджанской устной поэзии, «Уч. зап. [Азерб. гос. ун-та им. С. М. Кирова]». Серия языка и литературы, 2, Баку, 1966 (на азерб. яз.)

[28] Азербайджанским стихосложением занимаются также М. Дж. Джафаров, Мир Джалал, Ф. Сейдов и др.

[29] См.: R. R. Fitrat, Aruz ḥaqida, Taşkent, 1936 (здесь сжато рассматриваются не только общие принципы аруза как метрики, но и его применение в узбекской классической и советской поэзии).

[30] А. М. Щербак, Система староузбекского стихосложения, в его кн.: «Грамматика староузбекского языка», М.— Л., 1962, стр. 247—256. Если некоторые общие сведения в данной работе А. М. Щербака почерпнуты, как он сам отмечает это, из «Мизан ул-авзан» Алишера Навои, то статья И. В. Стеблевой «Арабо-персидская теория рифмы и тюркоязычная поэзия» построена главным образом на основе трактата «Джам'-и мухтасар» Вахида Табризи и в ней рассматривается один частный вопрос — вопрос о применении в тюркоязычной поэзии арабско-персидской девятибуквенной теории рифмы.

[31] См., в частности: Aymutlu Ahmed, Arüz, İstanbul, 1950; Ismail Habib Sevük, Edebiyat bilgileri, İstanbul, 1942; Uraz Murat, Vezinnazım, İstanbul, 1952; Hikmet İlaydın, Türk edebiyatında nazım, İzmir, 1947; T. Gandjei, Zur Metrik des Yūsuf u Zulaiḫā von Sayyād Hamza, UAJb, XXVII, 3—4, 1955; M. F. Köprülüzade, Aruz; Sabahattin Kudret Aksal, Şiirüstüne, «Türk dili», sayı 141, Ankara, 1963.

[32] У. Тўйчиев, Ўзбек совет поэзиясида бармоқ системаси, Тошкент, 1966. Вопросы узбекского стихосложе-

называемого свободного стиха (эркин вазн) с системой бармак; его выводы о природе системы бармак в узбекской поэзии, на наш взгляд, могут быть распространены на поэзию всех тюркоязычных народов — особенно если иметь в виду, что как силлабическому, так и свободному стиху в тюркских языках присущ ряд специфических особенностей (строго фиксированное равносложие, рифма и др.).

В монографии М. К. Хамраева «Основы тюркского стихосложения»[33] на материале уйгурской классической и современной поэзии определяется роль рифмы в строфической композиции стиха, ее смысловая функция, прослеживается процесс возникновения и развития рифмы. Здесь же дается анализ теоретических основ аруза в тюркоязычной литературе, его основные виды (их автор насчитывает 19) и строфические формы. Нельзя, однако, согласиться с утверждением автора о том, что «... в произведениях тюркоязычных поэтов, созданных на арузе, чувствуется искусственность, нарочитая растянутость», благодаря арузу «в стихосложение стала проникать масса арабских и персидских слов (и даже целые выражения), которые были в корне чужды грамматическому строю тюркских языков»[34]. Эти утверждения М. Хамраева не вяжутся с тем общепризнанным фактом, что в творчестве таких светил тюркоязычной поэзии, как Несими, Навои, Бабура, Баки и др., метрика аруза освоена настолько, что по своей технике использования аруза в тюркском стихосложении возвысилась до уровня аруза арабо-персоязычной поэзии. Что же касается проникновения арабских и персидских слов в тюркские языки, то связывать этот процесс только с освоением аруза, по меньшей мере странно, и свидетельство этому — хотя бы тот факт, что в тюркоязычных прозаических произведениях XIV—XVIII вв. арабизмов и фарсизмов всегда было больше, чем в поэтических произведениях (ср.: «Нахдж ул-фарадис», «Хадикат ус-суада» Физули, тезкере многих поэтов и др.).

Полезен приложенный к монографии краткий словарь терминов тюркоязычного литературоведения (около 150 терминов по поэтике тюркских языков).

М. Хамраев в своей книге подвергает резкой и справедливой критике положение Х. Усманова о гомогенности и исконности тюркского классического (а не только народного) стиха. Действительно, трудно согласиться с тем, что якобы оба принципа ритмической организации стиха «первоначально применялись в сочетании, в одном и том же стихе»[35]. В новой книге «Татарский стих»[36] Х. У. Усманов стремится изыскать дополнительные аргументы для доказательства того, что классическая поэзия наших дней берет свои истоки не от арабского аруза, а от более древних, исконно тюркских источников (хотя здесь не отрицается и сильное влияние арабо-персоязычной поэзии на тюркоязычную). В этих целях анализируются стихотворные строки из «Дивана» Махмуда Кашгари и отдельные примеры из орхоно-енисейских памятников, которые сопоставляются с поэзией классиков татарской литературы Тукая и казахской литературы Абая; трудно согласиться с Х. Усмановым, в частности, в том, что ритмическая структура «Кутадгу билиг» якобы базируется на народной поэзии, исключающей метрику аруз[37].

Что же касается туркменского стихосложения, то многие вопросы его и поныне ждут своих исследователей — пока нет ни одной работы, в которой подробно рассматривались бы вопросы теории и истории возникновения и развития отдельных компонентов туркменского народного стиха[38]. Основные принципы силлабической и квантитативной систем туркмен-

---

ния рассматриваются также в работах Г. Шенгели, Р. Маджиди, М. Шейхзаде, М. Каримова, М. Саидова, У. Тойчиева, С. Мирзоева и др. Следует особо отметить роль Х. Сулейманова в деле изучения аруза в поэтическом творчестве Алишера Навои: в приложениях к подготовленному им к печати четырехтомному изданию лирического наследия Навои — «Хазойинул-маоний» («Сокровищницы мысли») — он устанавливает жанровый состав произведений Навои, включенных в его четыре дивана, определяет размер каждого из этих стихотворений. См.: Алишер Навоий, Хазойинул-маоний, I—IV, Тошкент, 1959—1960; Х. Сулейман, Опыт изучения и составления критического текста рукописных диванов Алишера Навои («XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»), М., 1960.

[33] М. К. Хамраев, Основы тюркского стихосложения, Алма-Ата, 1963.

[34] Там же, стр. 104, 104—105.

[35] Х. У. Усманов, Социалистическая революция и татарская поэзия. Автореф. докт. диссерт., Казань, 1962, стр. 38.

[36] Х. Госман, Татар шигыре, Казан, 1964.

[37] Отдельные вопросы татарского стиха рассматриваются в многочисленных журнальных статьях (назовем только имена Н. Исанбета, Г. Хосенова, Г. Шамукова).

[38] Определяемая в работах А. П. Поцелуевского система туркменского стиха во многом спорна, см.: А. П. Поцелуевский, Стихотворный ритм гокленских народных песен, Ашхабад, 1928; его же, Метрика произведений Махтумкули, сб. «Махтумкули», Ашхабад, 1960; его же, Рифма в произведениях Махтумкули, там же.

ского стиха освещены в кандидатской диссертации А. Атдаева «Ритмический строй туркменского стиха», в частности при анализе метрики аруз отмечается, что самый распространенный размер аруза в туркменской литературе — это хазадж.

Среди работ по тюркской версификации книга казахского литературоведа З. А. Ахметова «Казахское стихосложение»[39] выделяется прежде всего обстоятельностью, с какой здесь исследуются строй стиха в казахской поэзии, песенно-стихотворные формы народной поэзии, роль Абая в развитии казахского стихосложения, проблемы новаторства в стихосложении, а также убедительностью аргументации, когда автор оспаривает мнение тех исследователей, которые говорят о силлабо-тонических или тонизированных размерах в казахской поэзии. При анализе ритмической структуры поэтической речи, внутреннего ритмического деления стиха, З. А. Ахметов вскрывает их связь с силлабическим строем казахского стиха и на примерах показывает, что ударение не является основным фактором ритмики казахского стиха; главенствующим для казахского стихосложения признается число слогов, его определенность. На материале казахской поэзии З. А. Ахметов прослеживает развитие тюркского стиха от ритмико-синтаксического параллелизма, с его очень приблизительной равносложностью, до силлабики[40]. Многие поэтические термины казахского стихосложения нашли в этой работе свою научную интерпретацию. Анализ поэтических особенностей народных эпосов позволил автору сделать вывод о том, что тирада в народных эпосах предшествует лирической строфе.

Вопросы теории киргизского стихосложения рассматриваются в двух монографиях, вышедших за последние годы. В работах Б. Керимджановой «Некоторые вопросы киргизского стихосложения» и «Рифма в киргизской поэзии» раскрыто своеобразие рифмы и охарактеризованы новшества и изменения, появившиеся в киргизском стихосложении после Октябрьской революции в связи с формированием киргизской письменной литературы, а также под влиянием русской поэзии и поэзии других братских народов; показана роль устного народного творчества в обогащении художественной формы киргизской поэзии[41]. В монографии К. Рысалиева исследуются ритмика, соотношение ритмического и гармонического ударений, размеры, рифмы, аллитерация и строфика в киргизском стихе и прослеживается путь их развития; здесь же дается характеристика ритмических частей киргизского силлабического стиха — от четырехсложника до шестнадцатисложника[42]. В разделе «К подсчету слогов в киргизском стихе» вопросы фонетики киргизского языка (элизия, характер гласных и др.) рассматриваются в связи со стихосложением.

В «Опыте исследования тувинского стихосложения» А. С. Тогуй-оола на фольклорном материале, представляющем собой основу современного тувинского стихосложения, описана ритмическая и звуковая организация тувинского стиха[43]. Вопросы метрики тувинского стихосложения рассматриваются в монографии А. К. Калзана и С. А. Сарыг-оола «О литературе»[44]; в работе же С. С. Сюрюн-оола «О рифмах тувинского стиха» показаны возможности использования конечной рифмы в тувинском стихосложении[45].

Теории башкирского стиха посвящена статья Г. Б. Хусаинова, полагающего необходимым при определении систем стихосложения учитывать внутренние закономерности соответствующего языка. Так, башкирскую силлабику характеризуют слоги, ударения, ритмические группы, рефрен и другие ритмические единицы[46].

Обсуждение вопросов хакасского стихосложения вызвало дискуссию. В работе М. А. Унгвицкой, где был исследован ритм и метр хакасского стиха, систематизированы фольклорные поэтические жанры, а основными особенностями структуры хакасского стиха признаны аллитерация, рифма и строфическое построение, утверждается, что стих хакасского фольклора не силлабический, а метрический и долевой, в нем имеется и тоническое начало; там же высказывается предположение о том, что «литературное хакасское стихосложение, идя по пути исканий, становится, по-видимому, в рамки силлабо-тонической системы»[47].

---

[39] З. А. Ахметов, Казахское стихосложение, Алма-Ата, 1964.

[40] См. об этом также: В. М. Жирмунский, Огузский героический эпос и «Книга Коркута», в кн.: «Книга моего деда Коркута», стр. 241—256.

[41] Б. Керимжанова, Кыргыз ыр түзүлүшүнүн айрым меселелери, Фрунзе, 1964; ее же, Кыргыз поэзиясынын рифмасы, Фрунзе, 1962.

[42] К. Рысалиев, Кыргыз ырларынын түзүлүшү, Фрунзе, 1965. См. также: К. Рысалиев, Киргизское стихосложения. Автореф. докт. диссерт., Фрунзе, 1965.

[43] А. С. Тогуй-оол, Опыт исследования тувинского стихосложения, «Уч. зап. [Тувинского НИИЯЛИ]», 1, Кызыл, 1953.

[44] А. К. Калзан, С. А. Сарыг-оол, Литература дугайы, Кызыл, 1955.

[45] С. Сурун-оол, Тыва шулукту рифмалаар дугайында, альманах «Улуг-Хем», 15, Кызыл, 1959.

[46] Г. Б. Хусаинов, К вопросу о башкирском стихосложении, «Вопросы башкирской филологии», М., 1959, стр. 96.

[47] М. А. Унгвицкая, Хакасское стихосложение. Канд. диссерт., Абакан,

П. А. Трояков, анализируя ритмическую структуру хакасского стиха, оспаривает положение М. А. Унгвицкой о силлабо-тоническом характере хакасского стихосложения. В этой же работе рассматриваются композиционная структура тахпаха (восьмистрочной лирической песни) — его двучленное построение, двойной параллелизм, что определяет и характер рифмы; конечную рифму в современных хакасских песнях автор считает «отражением особенностей древнего тюркского стиха» [48].

Якутское стихосложение исследовал К. М. Васильев, подробно описавший ритмический склад фольклорного стихосложения, его композиционное строение и жанры. При анализе поэтических особенностей якутского богатырского эпоса «Олонхо» отмечается устойчивость поэтической формы обрядовых песен и олонхо [49]. Во второй части книги рассматривается развитие литературного стихосложения, роль якутских поэтов в эволюции основных закономерностей народного аллитерационного стиха и в переходе от аллитерационного стихосложения свободного ритмического склада к силлабической системе; здесь же показано становление конечной рифмы в якутской поэзии.

Чувашскому народному стихосложению посвящена работа Н. И. Иванова, где подробно изучается композиционное построение, звуковая организация чувашских народных песен, их жанры, их поэтические особенности, типы строф, образный параллелизм и его происхождение, виды аллитерации и ассонанса и их роль в звуковой организации стиха. При определении системы чувашского народного стихосложения автор, возводя ее (хотя и с оговорками) к силлабо-тонической системе, называет «силлабо-тонизированной», т. е. «весьма близкой к силлабо-тоническому стихосложению» [50]. Нельзя не признать этот тезис автора противоречивым и фактически мало обоснованным.

В заключение обзора необходимо сказать о настоятельной потребности в разработке научной терминологии в области тюркского стихосложения; тем, чтобы положить конец терминологическому хаосу и смешению понятий в существующей специальной литературе [51]. Многие термины, весьма употребительные в научной литературе по тюркскому стихосложению, фактически не соответствуют природе тюркского стиха — вполне уместно замечание В. М. Жирмунского о том, что «рассмотрение тюркского силлабического стиха как произвольного сочетания „ямбов", „анапестов" и других „стоп", являясь наследием школьной метрики, игнорирует специфику тюркского стиха» [52]. Да и самый термин «силлабический стих» в применении к тюркскому стихосложению не вполне ясен, ибо пока еще нет основополагающей работы о принципах тюркской силлабики. Не обосновано также отнесение в ряде работ к тюркоязычной классической поэзии лишь тех произведений, которые созданы метрикой аруз, между тем как стихи силлабического размера эти авторы относят к народной поэзии. Прежде всего неоправданным представляется противопоставление классической и народной поэзии; в то же время произведения Эмре Юнуса, М. П. Вагифа, Махтумкули, написанные чисто слоговым размером, несомненно, являются шедеврами классической поэзии.

В. И. Асланов

1951; ее же, К вопросу о хакасском стихосложении, «Уч. зап. [Абаканского пед. ин-та]», 1, 1955.

[48] П. А. Трояков, указ. соч., стр. 29.

[49] Г. М. Васильев, Якутское стихосложение, Якутск, 1965.

[50] Н. И. Иванов, О чувашском народном стихосложении, Чебоксары, 1957, стр. 34, 35, 75.

[51] Вышедший в 1966 г. в Алма-Ате «Краткий словарь терминов тюркоязычных литератур» М. К. Хамраева содержит много фактических ошибок и еще более усложняет терминологическую путаницу в данной области.

[52] В. М. Жирмунский, Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского народного эпического стиха, стр. 7.

РЕЦЕНЗИИ

О. Н. Трубачев. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). — М., изд-во «Наука», 1966, 416 стр.

Работа О. Н. Трубачева представляет большой интерес с многих точек зрения, однако два ее аспекта заслуживают, как мы полагаем, особого внимания. Имеются в виду: теоретическая часть (разработка новых методик этимологического исследования) и экстралингвистическая часть (пространственно-временная интерпретация результатов этимологического исследования).

Вряд ли есть необходимость еще раз подчеркивать тот факт, что этимологии, в большей мере, чем другим областям языкознания, присуща нестрогость методов и субъективность оценок. Поэтому работы, направленные на преодоление этих недостатков, заслуживают всяческого поощрения. В рецензируемой работе используется методика, которая названа автором «опытом групповой реконструкции». Новые возможности этимологизации ставятся здесь в определенную зависимость от того, насколько удается реконструировать лексическую группу в целом. При этом фоносемантические изменения слова определяются в связи с развитием всей лексической группы от древнего синхронного среза (в данном случае «позднепраславянского») до современного.

О. Н. Трубачев следующим образом раскрывает понятие групповой реконструкции: «Групповой аспект помогал нам при определении и уточнении значений терминов текстильного производства одного языка и одного диалекта там, где описания оказались слишком лаконичными, а словари давали двусмысленные или попросту неверные характеристики... При этом нередко устанавливалась семантическая и терминологическая граница между отдельными терминами с удовлетворительной четкостью и как бы проступали наружу контуры мозаической, а в некоторых примерах — симметричной, основанной на парных корреляциях организации совокупности терминов» (разрядка наша.— *В. М.*) (стр. 63).

По-видимому, такая методика близка к методике анализа по семантическим микроструктурам, поэтому, с нашей точки зрения, она должна оцениваться как весьма перспективная.

В связи с подобного рода структурным подходом к изучению лексики, естественно, возникает вопрос, как оценивает автор *соотношение языковой и внеязыковой* действительности. Нужно сказать, что выводы, к которым приходит О. Н. Трубачев, заслуживают самого горячего одобрения. Он пишет по этому поводу следующее: «Мы далеки от мысли смешивать внеязыковой план с языковым, напротив, далее мы стремимся показать автономность языкового плана по отношению к реальному (разрядка наша.— *В. М.*) и те формы, в которые, по нашим наблюдениям, эта автономность облекается на материале терминологии текстильного и других традиционных производств» (стр. 9).

Сущность этого высказывания раскрывается в разделах, посвященных отдельным группам лексики. Подчеркивая «автономность языкового плана» по отношению к реальному, автор указывает на то, что автономность следует понимать не как отсутствие связи, а как наличие сложной и опосредствованной связи.

В результате конкретного анализа в работе формулируются положения, которые можно назвать этимологическими универсалиями и которые как таковые подлежат проверке на более широком материале. Важнейшая из такого рода универсалий основана на наблюдении, что терминологизация отражает не современное ей состояние реалий, а одно из предшествующих. О. Н. Трубачев дает следующую формулировку этой универсалии: «... постоянная недостаточность терминологии, отстающей от реально-технического прогресса, представляет собой архаизирующую сущность любой традиционной терминологии» (стр. 9).

Некоторые иллюстрации к этой закономерности весьма поучительны. Так, например, устанавливается регулярность семантического развития «оплетенное, окрученное» > «глиняный сосуд» (**obkrǫtъ*). Указываются реликты *древней семантики* «плетения» в названиях посуды из глины.

Вторым важным аспектом работы О. Н. Трубачева является пространственно-временная интерпретация результатов исследования. Вклад автора в славян-

скую и индоевропейскую лингвистическую географию весьма существен. Количество балто-славянских ареальных изоглосс в области текстильной терминологии, как оказалось, значительно уступает количеству соответствующих славяно-германских и славяно-италийских изоглосс, что дало О. Н. Трубачеву основание для следующей гипотезы: «вырабатывая и развивая свою древнюю лексику текстильного производства, носители раннеславянских диалектов были совершенно явно ориентированы не на связи с балтами, а на языковые связи с индоевропейцами, сидевшими ближе к центру Европы (разрядка наша.— *В. М.*) — германцами и италийцами» (стр. 142).

На основании анализа терминологии кузнечного дела автор приходит к аналогичному выводу, к гипотезе о «центральноевропейском культурном районе», включавшем в себя славян, германцев и италийцев. При этом О. Н. Трубачев не ограничивается пространственной интерпретацией ареальных изоглосс. Он дает им также временную интерпретацию: «Контакты времен центральноевропейского культурного района совершались, можно сказать, в эпоху становления основных языковых черт древних контактирующихся диалектов» (стр. 343); таким образом, речь идет о древнейшем контактировании. Следует отдать должное осторожности и научному такту О. Н. Трубачева, который не формулирует в явном виде полное совпадение этих положений с гипотезой о протославянском характере лужицкой культуры. Трудно переоценить важность этого совпадения.

Переходя к критическим замечаниям, считаем необходимым заметить следующее. Основной недостаток рецензируемой монографии в том, что ее автор вынужден оперировать понятием «совместной инновации» для объяснения им самим установленных многочисленных славяно-германских и славяно-италийских изоглосс в области ремесленной терминологии. Однако инкриминировать этот недостаток О. Н. Трубачеву нельзя, так как он является, к сожалению, общим местом современной компаративистики и в рассматриваемой книге лишь становится особенно наглядным. Ремесленная терминология является относительно новой, поэтому говорить об индоевропейских соответствиях в строгом смысле этого слова невозможно. В то же время, поскольку автор не пользуется разработанной системой критериев лексического заимствования и лексического проникновения, он практически лишает себя возможности интерпретировать наблюдаемые изоглоссы как результат некоторого реального процесса. Вместо этого предлагается следующее объяснение: «Германо-славянские языковые отношения в области кузнечной лексики представляют собой исключительно сложную лингвистическую проблему... Во-первых, как это обычно бывает, по мере перехода к более древнему материалу критерии различения заимствования от близости иного рода (? — *В. М.*) постепенно утрачивают желательную определенность. В отдельных примерах даже полное словообразовательное сходство, так сказать дублирование словообразовательной модели, может быть с равным правом объяснено как типологическое, независимое сходство при наличии полного тождества реального субстрата (хотя вероятность калькирования сохраняется при учете культурного влияния в соответствующей материальной области). Во-вторых, значительными могут оказаться такие славяно-германские лексические встречи в сфере изучаемой терминологии, когда неуместно говорить ни об одностороннем заимствовании, ни о словообразовательно-семантической калке, а, по-видимому, о особых видах родственной связи» (?! разрядка наша.— *В. М.*) (стр. 320). О. Н. Трубачев предлагает «трактовать их как древние диалектные изолексы на индоевропейском уровне». Последняя формулировка также ничего не объясняет. В самом деле, какова вероятность независимого и совершенно идентичного, по О. Н. Трубачеву, образования прагерм. **essjō* «очаг, вытяжная дымовая труба» (< догерм. **ed-t-i̯ā*) и праслав. **ěstěja*, **ěstьje* «очаг, устье печи» (< дослав. **ēd-t-ēi̯ā*, **ēd-t-i̯om*)? Если речь идет о языках, находившихся в состоянии пограничных контактов (а на этом настаивает и сам автор), такую вероятность следует признать ничтожной. И вовсе необязательно, в качестве альтернативного решения, принимать заимствование, вызванное культурным влиянием. Во многих случаях, определяемых в рецензируемой книге как «совместные инновации», мы видим лексические проникновения древнейшей поры, вызванные пограничным двуязычием. О «совместных инновациях» можно было бы говорить только в том случае, если бы контактирующие языки восходили к некоторым промежуточным праязыкам. Однако такая возможность для славяно-германского и тем более славяно-италийского, как известно, исключается. Противоречивость позиции О. Н. Трубачева особенно хорошо видна в той части работы, где рассматриваются южнославянско-балтийские лексические изоглоссы, не имеющие параллелей в других индоевропейских языках. По мнению автора, «те из соответствий последнего рода, которые на южнославянской языковой почве стоят как изолированные образования, а на балтийской почве включены в цепь апофонических вариантов корневого вокализма или располагают местными широкими словообразовательными связями, могут быть сочтены заимствованными из балтийских диалектов в эпоху древних территориальных контактов» (стр. 340). При этом,

как замечает сам О. Н. Трубачев, почти все «южнославянско-балтийские сепаратные изолексы» оказываются результатом заимствований древнейшей поры. Остается совершенно непонятным, почему эта же методика не применяется для квалификации славяно-германских и славяно-италийских лексических изоглосс. Следует заметить, что О. Н. Трубачев по-прежнему не различает лексическое заимствование и лексическое проникновение. Поэтому, приведя очень убедительное доказательство в пользу балтийского происхождения праслав. *vъtrь* «кузнец»(прозрачная словообразовательная инновация в древнепрусском и отсутствие таковой в южнославянских языках), он одновременно высказывает сомнение в возможности заимствования кузнечного термина у балтов, материальная культура которых была «более простой и примитивной». Совершенно очевидно (и сам материал об этом свидетельствует), что уровень культуры не играет никакой роли там, где имеет место лексическое взаимопроникновение в условиях пограничного двуязычья. Поскольку о славяно-германском лексическом взаимопроникновении нам приходилось неоднократно говорить и писать, здесь, по-видимому, целесообразнее остановиться на возможности аналогичных славяно-италийских языковых отношений.

Сопоставление италийской и славянской лексики обнаруживает ряд парных изоглосс, интерпретация которых при неизученности всей проблемы в целом оказывается затруднительной. При этом мы не имеем в виду глагольные параллели из списка А. Мейе — Я. Сафаревича (типа *cūdere — kovati, emere — jęti* и др.) [1], которые не могут рассматриваться в своем подавляющем большинстве как результат лексических проникновений или заимствований в силу фономорфологической неадекватности италийских и славянских форм. Италийско-славянские параллели являются, по-видимому, северно-индоевропейскими архаизмами[2], о чем свидетельствует наличие аналогичных балто-италийских и славяно-балто-италийских соответствий. Когда мы говорим о трудных для интерпретации лексических парах, лишенных параллелей в других индоевропейских языках [3], мы имеем в виду изоглоссы типа: италийск. *stibla* (лат. *stipula*) «стебель, соломина» ~ праслав. *stьblo* то же; италийск. *duda* (лат. *tuba*) «дудка» ~ праслав. *duda* то же; италийск. *golombos* (лат. *columba, columbus*) «голубь» ~ праслав. *golǫbь* то же; италийск. *wīdla* (лат. *fibula*) «крюк» ~ праслав. *vidla* «вила»; италийск. *klombos* (лат. *glomus, globus*) «клубок» ~ праслав. *klǫbь* то же; италийск. *kuaslos* (лат. *quālus*) «плетеная корзина» ~ праслав. *koslь* то же и т. д. Эти формы не могут интерпретироваться как генетически соотнесенные индоевропейские архаизмы. Маловероятно также столь полное совпадение деривационных процессов.

Гораздо убедительнее выглядит объяснение, допускающее возможность славяно-италийского лексического взаимопроникновения древнейшей поры. Такое заключение тем более правдоподобно, что в *ряде случаев инновация объяснима для* одного из контактирующих языков и необъяснима для другого.

В случае *признания вероятности* славяно-италийского лексического взаимопроникновения древнейшей поры его можно было бы рассматривать как результат контактов италийцев и славян в «центральноевропейском культурном районе» (resp. в ареале лужицкой культуры).

Из числа замечаний к отдельным этимологиям мы считаем целесообразным выделить следующие.

На стр. 74 автор утверждает, что «полное морфемно-словообразовательное соответствие славянскому слову (*tьrdlo.* — *В. М.*) известно в лат. *tribulum*, которое вплоть до деталей формы (нулевая ступень вокализма корня, форма суффикса, грамматический род) исторически тождественно праслав. *tьrdlo*, продолжая ту же древнюю форму, что и славянское слово». В действительности, лат. *tribulum* (не *trībulum*) «молотило» тождественно др.-греч. τρῖβω «растираю, толку, молочу», восходит к и.-е. **trēi-b*, **tri-b* [4] и, следовательно, не может рассматриваться как «морфемно-словообразовательное соответствие» праслав. *tьrdlo.*

На стр. 92—94 др.- англ. *sprindil* «прялка» рассматривается как словообразовательное соответствие праслав. *prędlo.* Однако в то время как праслав. *prędlo* регулярно восходит к праслав. *prędǫ* «пряду», словообразование др.- англ. *sprindil* на германской почве необъяснимо. Соотнесение с англ. *sprint* формально и семантически недоказуемо. С другой стороны,

[1] J Safarewicz, Przedhistoryczne związki językowe italsko-słowiańskie, «Rocznik slawistyczny», XXIII, 1, 1964.

[2] Я. Сафаревич эти «глагольные изоглоссы» считает результатом заимствования. Он, в частности, пишет: «Мы не можем в настоящее время установить происхождение этих слов, т. е. определить, в каком из языков „северо-западной" группы данное слово возникло, а в каких языках его следует считать заимствованным у соседей» (там же, стр. 22).

[3] В большинстве своем эти лексические пары рассматриваются, как это ни парадоксально, в плане генетического тождества. См.: O. Haas, Das frühitalische Element, Wien, 1960, стр. 28, 34, 44.

[4] J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern, 1959, стр. 1071.

если мы учтем вероятность возведения праслав. *prędlo* к праслав. **sprędlo*[5], а также то, что в древнеанглийском обнаруживается ряд региональных славянизмов[6], др.- англ. *sprindil* можно рассматривать как один из примеров такого рода лексических проникновений.

На стр. 98—99 утверждается, что праслав. *kǫželь* «верхушка прялки» восходит к праслав. **krǫželь* (< *krǫžiti*) и что *krǫželь* > *kǫželь* в результате фоносемантического уподобления с праслав. *kǫdelь* «пучок волокон, привязанный к верхушке прялки». Исключать возможность подобного рода нерегулярного преобразования было бы абсолютно неразумным. Известны случаи позднего и достоверного фоносемантического уподобления: например, англ. *belfry* «колокольня» < ст.- франц. *berfrei* «башня с часами» под влиянием англ. *bell* «колокол»[7]. Однако подобные допущения, особенно, когда это касается донсторической эпохи, мы вправе делать, если исчерпаны другие возможности объяснения. О данном примере этого сказать нельзя. Не говоря уже о гадательности принятой в работе реконструкции семантики праслав. *kǫželь* и *kǫdelь* (в разных славянских диалектах они могут означать одно и то же), о гадательности этимологии *kǫdelь* (< *kǫ-delь*), не следует с такой категоричностью отрицать возможность заимствования (resp. лексического проникновения). Вероятность случайного совпадения формы и значения таких слов, как *kǫželь* и прагерм. *kanga* «пряж.» (фический германизм *kangas*), ср. др.- исл. *kingsa* «вращать колесо прялки», *kǫngurvófa* «паук», др.-англ. *gangelwǣfre* (< *kangel*) то же и т. д., невелика (мы здесь не касаемся вопроса о «случайном» характере сходства праслав. *kǫželь* и др.- в.- нем. *chunchla* «кудель»). В этимологии не столь важно утверждение о принципиальной возможности тех или иных связей, сколь утверждение о степени их вероятности.

На стр. 108—109 речь идет об одном примере «общей семантической инновации, терминологическом новообразовании славянского и латинского» (праслав. *klǫbъ* ~ лат. *glomus*, *globus*). Здесь, как и в других аналогичных случаях, остается совершенно непонятным реальное протекание процесса подобной инновации. То же нужно сказать и об отрицании заимствования праслав. *sekyra* из лат. *secūris* (вернее, италийск. **sekūra*). Словообразовательный тип праслав. *sekyra* остается необъясненным. Кроме того, вопреки мнению автора, ссылка К. Мошинского на польск. *toporzysko* при уникальности *siekierzysko* оказывается еще одним убедительным аргументом в пользу вторичности *sekyra* на славянской почве; *toporzysko* как часть *siekiery* указывает на то, что лексема *toporъ* предшествовала лексеме *sekyra*; ср. белорусск. (и укр.) *прыба* как часть *хаты*, указывающее на то, что лексеме *xata* предшествовала лексема *jьstьba* и т. д. Отрицая исконный характер праслав. *sekyra*, О. Н. Трубачев подчеркивает, что можно «привести немало других славяно-латинских параллелей из производственной лексики (sic!— *В. М.*), которые также не являются результатом заимствования, но отражают иные (? — *В. М.*) древние отношения» (стр. 150). Такие же возражения вызывает трактовка италийско-славянской изоглоссы *koslь* ~ *kᵘaslos* (лат. *quālus*) с общим значением «плетеная корзина». Ничего не объясняет фраза о том, что «в данном случае мы имеем возможность наблюдать интенсивный и многостепенный (? —*В. М.*), сложный характер инновационной общности славянского и латинского материала» (стр. 164).

На стр. 161 предлагается признать разное происхождение праслав. *soxa* и литов. *šakà* на основании трудностей, возникающих в связи с проблемой происхождения праславянского *x*. При этом автор делает предположение о *soxa* < **soka* : **sěkǫ*, **sěkti*. Если принять гипотезу О. Н. Трубачева, то окажется, что формальное и семантическое тождество праслав. *soxa* «развилок, ветка, двурогие вилы» и литов. *šakà* (к тому же еще акцентуационно и морфологически адекватное славянскому[8]) «ветка», *šākės* «вилы»— результат случайного совпадения. Кроме того, О. Н. Трубачев, перебирая возможные варианты происхождения славянского *x*, учитывает те из них, которые отброшены современной наукой (*x* < и.- е. *kh*) и не учитывает те, которые можно считать по крайней мере спорными (*x* < < и.- е. *x*)[9]. Последний вариант, кстати, хорошо объясняет фонетическое соответствие праслав. *soxa* ~ литов. *šakà*, поскольку для добалтийского заднеязычного фрикативного (если он существовал) в качестве вполне регулярного рефлекса ожидается литовский заднеязычный смычный (ср. субституцию славянского *x* литовским *k*).

Сближая искусственно воссозданное праслав. **soka* с др.-в.-нем. *saga*, О. Н. Трубачев ссылается как на аналогию на другую параллель, воссозданную им таким же способом: праслав. **dvigъ* ~

[5] См.: R. Trautmann, Über die Behandlung der Anlautgruppe *spr-* im Urslavischen, KZ, 50, 1922, стр. 68.

[6] См.: O. Vočadlo, The Slavonic element in English, «Casopis pro moderní filologii», 26, 1, 1940.

[7] См.: G. Stern, Meaning and change of meaning, Göteborg, 1931, стр. 202.

[8] См.: В. М. Иллич-Свитыч, Именная акцентуация в балтийском и славянском, М., 1963, стр. 103.

[9] См.: W. Merlingen, Idg. *x*, «Die Sprache», IV, 1958, стр. 41.

~ нем. *Zweig*. Попутно укажем на то, что зафиксированное К. Мошинским восточнополесское *pòdwih* [10], которое послужило основанием для реконструкции праслав. **dvigъ*, в действительности восходит не к **po-dvigъ*, а к **pod-vigъ*, как об этом свидетельствуют приводимые, например, Ю. Тарнацким [11] западнополесские формы *pudwiž*, *wižok* «составная часть приспособления для укрепления сохи».

Нам осталось совершенно непонятным, какие из *изложенных замечаний по географии и этимологии слов*» послужили основанием для категорического вывода о том, что «праслав. *bl'udo* было, несомненно, заимствовано из германского» (стр. 284). Ареал рефлексации *bl'udo* в славянских диалектах свидетельствует лишь о несомненном праславянском характере этой лексемы [12], закономерно сохранившейся на периферии славянского мира и исчезнувшей в его центре.

Как видно из всего сказанного, замечаний по отдельным этимологиям немного, особенно, если учесть большой объем исследования и внушительное число частных наблюдений этимологического характера. О. Н. Трубачеву, несомненно, удалось получить важные в эвристическом отношении результаты, касающиеся установления славяно-иноязычных изоглосс *в области ремесленной терминологии и* возможности их этногонической интерпретации. Ряд новых этимологий, содержащихся в книге, заслуживает также самой высокой оценки.

В. В. Мартынов

---

[10] K. Moszyński, Polesie wschodnie, Warszawa, 1928, стр. 58.

[11] J. Tarnacki. Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie — Mazowsze), Warszawa, 1939, стр. 29.

[12] Ср.: Ю. В. Откупщиков, Из *истории индоевропейского словообразования*, Л., 1967, стр. 115—117. Здесь приводится ряд аргументов в пользу исконности праславянской лексемы. Нелогичным, однако, представляется вывод, к которому приходит автор: «Наконец, ст.-слав. *блюдва* „корзина", непонятное в семантическом и словообразовательном плане при допущении заимствования из готского, легко объясняется, если признать германские и славянские образования исконно родственными». По крайней мере столь же легко оно объясняется при допущении заимствования из славянского в германский. Если же признать праславянскую и прагерманскую лексемы «исконно родственными», то их придется рассматривать либо как индоевропейские архаизмы, что невероятно, либо, как «совместные инновации», реальный смысл которых и здесь остается неуловимым.

В. Н. Сидоров. **Из истории звуков русского языка.**— М., изд-во «Наука», 1966. 160 стр.

В славянском языкознании за последние годы настойчиво пробивается тенденция найти в истории отдельного славянского языка (или славянских языков вообще) такое «центральное» явление, вокруг которого можно было бы сгруппировать все другие явления и процессы, построить историю языка (в этом плане, например, развернулась деятельность польского лингвиста А. Фурдаля). В русистике эта тенденция наметилась в работах В. Н. Сидорова, давно оплодотворяющего своими идеями историю и диалектологию русского языка. К сожалению, В. Н. Сидоров как верный фортунатовец редко публикует свои работы, его идеи распространяются главным образом по устным каналам. Тем более радует выход книги «Из истории звуков русского языка», состоящей из четырех очерков.

В первом очерке «Редуцированные гласные ъ и ь в древнерусском языке XI в.» (стр. 5—37) автор убедительно показал, что в XI в. *ъ/ь* еще отличались от *о/е*, падение редуцированных шло через стадию сосуществующих систем («полный стиль», где есть редуцированные, и «беглая речь», где редуцированные отсутствуют) путем генерализации второй системы. Следы падения редуцированных и их совпадения с *о/е* в памятниках письменности до XII в.— не обязательно «македонизмы», а черты второго стиля (стр. 66). Здесь, как и во всей книге, В. Н. Сидоров отстаивает линию Соболевского — Васильева, линию доверия к памятникам письменности.

Во втором очерке «Из истории сочетаний типа **ĭьrt* в русском языке (Возникновение мягкости *r'* перед задненебными

и твердыми губными согласными)» (стр. 38—97) В. Н. Сидоров нашел простое решение вопроса о мягкости *r'* перед задненебными и твердыми губными и об отсутствии мягкости в положении перед зубными согласными. Он показал при этом, что вообще в русском языке и его говорах позиция перед зубными является позицией неразличения для категории мягкости всех зубных (в том числе и *r*) в отличие от позиции перед задненебными и губными. Иными словами, отсутствие мягкости в словах типа *верно* объясняется позднейшим отвердением, как, например, в словах типа *бедный* (< **b'ěd'ьnъjь*); этот тип слов следует отличать от слов *вер'ба*, *цер'ковь*, *вер'х* (ср. также *редька*, *деньга*, *тьма* и т. п.). Тем самым В. Н. Сидоров убедительно доказал исконную последовательность смягчения *r* в прежних сочетаниях типа *tьrt* (стр. 4—48).

Во втором и третьем очерках — «Умеренное яканье в среднерусских говорах и севернорусское ёканье» (стр. 98—140) и «Об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах» (стр. 141—158) — автор показывает, что среднерусское умеренное яканье произошло из ёканья севернорусских говоров, и рисует возможные пути развития иканья. Убедительность данной гипотезы подкрепляется тем, что гипотетически предсказываемые В. Н. Сидоровым разновидности умеренного яканья были уже обнаружены как реально существующие.

Значение рецензируемой книги выходит далеко за пределы перечисленных проблем: здесь решается ряд важнейших вопросов русской диалектологии и исторической фонетики — происхождение средневеликорусских говоров, относительная хронология перехода *e* > *'o*, судьба **e*, **ь*, **ě* перед мягкими и твердыми согласными, судьба **e* перед двумя согласными, генезис второго полногласия, причины перехода **tьlt* > **tъlt*, передвижка границы слога в связи с падением редуцированных, различие ассимилятивных процессов у категории мягкости и звонкости и многое другое. Каждый вопрос, каждое новое положение, выдвигаемое автором, обосновано и связано с другими вопросами, обсуждаемыми в книге, одно положение как бы само собой вытекает из другого, из всей книги в целом. В результате каким бы оригинальным и новым ни был вывод В. Н. Сидорова, этот вывод воспринимается как такой, к которому читатель пришел «независимо» от автора данной книги.

И все же значение книги не в том, что здесь «попутно» решается добрый десяток сложнейших вопросов русистики, а в том, что В. Н. Сидорову удалось поставить центральную проблему русской исторической фонетики, разрешив которую можно будет построить здание исторической фонетики русского языка. По В. Н. Сидорову, это проблема перехода *e* > *'o* перед твердыми согласными. В рецензируемой книге эта проблема до конца не выясняется, но ее решение подготавливается рассмотрением поставленных здесь вопросов.

Каковы же перспективы решения данной проблемы теперь и почему именно эта проблема является действительно центральной в истории русского языка?

С точки зрения В. Н. Сидорова, переход *e* > *'o* — процесс, имевший место лишь после падения редуцированных гласных. Основанием для такого заключения служит предпосылка о последовательности осуществления принципа слогового сингармонизма в древнерусском языке (именно поэтому так важно было доказать последовательность смягчения *r* из прежних сочетаний типа *tьrt*). Разрушение сингармонизма связано с падением редуцированных. Поэтому переход *e* >'*o*, противоречащий принципу сингармонизма, и «следует относить ко времени после утраты редуцированных гласных» (стр. 4). Вот почему для В. Н. Сидорова столь важно еще раз уточнить абсолютную хронологию процесса падения редуцированных, относительную хронологию процесса *e* > *'o*, т. е. еще раз обсудить те явления, которые так или иначе связаны с этим процессом, а главное — еще раз проверить возможные связи данного процесса с яканьем и иканьем, что, как уже отмечалось, В. Н. Сидоров сделал блестяще.

Теперь, естественно, остается уточнить понятие «слогового сингармонизма» и отношение данного явления к процессу падения редуцированных. Весьма желательно разобраться в фонологической сути процесса *e* > *'o*. Это, так сказать, взгляд вперед — то, к чему и призывает фактически В. Н. Сидоров своей книгой. Вторую часть рецензии посвятим разбору, хотя бы самому беглому, этих трех вопросов.

Сингармонизм — это сближение тембра смежных звуков, выражающееся главным образом в широко известном последовательном смягчении согласных гласными переднего ряда. По Якобсону, впервые предложившему такое понимание термина, древнерусский язык характеризовался слоговым сингармонизмом. Однако Н. Ван Вейк, отвергая гипотезу Р. Якобсона, убедительно показал, что уже в позднепраславянском сближении тембра смежных звуков, «тенденция к палатализации», действовала через границу слога (**otьca* < **otь|ka*), т. е., если и был сингармонизм, то он не был слоговым. Кроме того, по Ван Вейку, сочетания типа *ču*, *ju*, *ša*, *ža*, *žǫ*, *jǫ* и т. п. противоречат принципу сингармонизма: здесь после мягкого согласного идет гласный заднего ряда (ср. еще процесс *jě* > *ja*, **kr̥ikěti* > *kr̥ičati*, действовавший вопреки тенденции к гармонии).

С мнением голландского слависта нельзя не согласиться. Слоговым сингармонизмом это явление назвать нельзя, его можно считать групповым сингармонизмом (т. е. сингармонизмом группы согласных и гласных). Что касается второго пункта возражения, то давно пора, вслед за Броком и Томсоном, отказаться от «обыденного термина мягкость» и различать *палатальные* и *палатализованные*. Тогда палатализованные *t'*, *d'*, *s'* и т. д. будут в праславянском и древнерусском составлять вместе с последующими гласными переднего рода сингармонирующие группы *t'ī*, *t'ē*..., противопоставленные согласным непалатализованных (лабиавеляризованных) согласных с гласным заднего ряда *tū*, *tā*. В этих группах палатализованность согласного позиционно обусловлена последующим передним гласным, одновременно передний или задний ряд гласного позиционно обусловлен палатализованностью — непалатализованностью предшествующего согласного. Здесь, таким образом, палатализованные ~ непалатализованные согласные оказывались позиционно обусловленными вариантами фонем /t ~ t'/, гласные переднего ~ заднего ряда — позиционно обусловленными вариантами фонем /ī ~ ȳ, ē ~ ā.../, группы же *t'ī* ~ *t͡ȳ* относительно этого признака были неразложимыми /t͡ī ~ t͡ȳ/ и противопоставлялись друг другу целиком. Такие группы можно назвать группофонемами. Иное дело появившиеся после процесса йотации и монофтонгизации дифтонгов группы типа *ča*, *ču*, *čǫ*. Новые согласные были не противопоставленными по признаку мягкости (например, в современном русском фонема /ч/ фонологически нейтральна по отношению к категории твердости ~ мягкости, поэтому она допускает орфографическую передачу двумя способами, ср. *чай* ~ *чяй*, но *мать* и *мять*), представляя собой позицию нейтрализации для гласных переднего — заднего ряда. В таких условиях функционирование переднего или заднего варианта гласной в принципе безразлично. В этом — начало распада сингармонизма, начало распада группофонем, начало эмансипации гласных и согласных фонем, утративших внутри группофонем свою относительную самостоятельность.

Дальнейшая эмансипация гласных и согласных фонем и распад группофонем как основных фонологических единиц праславянского языка могли идти различными путями.

1. Один из них — распространение тенденции сближения тембра смежных звуков за пределы группофонемы (слога!) на соседние слоги вплоть до целого слова (бодуэновская палатализация, ср. **otьca*; случаи типа *зъла* ~ *зьлѣ* в Зографском кодексе и т. п.).

2. Другой путь — наоборот, сужение тембровой характеристики до одной фонемы. Это может быть достигнуто также по-разному:

а) Предсказуемость тембровой характеристики согласного исчезает в результате опущения, «падения» последующей гласной, обусловливавшей тот или иной тембр согласного. Ср. *t'ь* : *tъ* → *t'* : *t*. «Слабый редуцированный» ь/ъ обусловливал палатализованность — непалатализованность согласного (в такой же мере, как и передний — непередний ряд редуцированного определялся тембром согласного). В случае утраты редуцированного полезная информация, полезное противопоставление сохранялось, но тембровое качество согласного стало позиционно необусловленным, самостоятельным качеством, самостоятельным признаком, тембровая характеристика сузилась до одной фонемы. В этом — фонологический смысл падения редуцированных.

б) Такой же результат достигается и с появлением разнородных, несингармонирующих сочетаний, когда за палатализованным идет гласный заднего ряда, а за непалатализованным — гласный переднего ряда. Здесь признак тембра сужается до одной фонемы, прежняя группофонема распадается на отдельные автономные фонемы. Гласный заднего ряда легко может стать на место соответствующего переднего, пока оба они являются вариантами одной фонемы. В этом фонологический смысл древнерусского перехода *e* > *'o*. В этом фонологическая суть ёканья и яканья. В результате такого рода «переходов» позиция перед гласным заднего ряда становится сильной позицией, позицией различения для палатализованных — непалатализованных. Неслучайно, что там, где наблюдается мена гласных переднего ряда на задний, развивается категория «мягкости» согласных. Ср. восточноболгарское *л'ато* ~ *лѣтен* (*ѣ* > *e/a*) — явление, типологически чрезвычайно близкое русскому ёканью и в какой-то мере — умеренному яканью. Аналогичное явление наблюдается и в польском языке, ср. чередования *'e:o':u'* в случаях типа *nieśli* ~ *niosły* ~ *niósł*, чередования *'ę* : *'ą* — *wzięła* ~ *wziął*, чередования *'e* : *'a* — *las* ~ *leśny*, *lato* ~ *w lecie* и т. п. Во всех славянских языках, где отмечается это явление, переход переднего гласного в задний ряд чаще всего, если не обычно, наблюдается перед твердым согласным, как в случае с русским переходом *e* > *'o*, как в случае с русским умеренным яканьем; в известной мере это касается даже восточнославянского перехода **ę* > *'a*.

b) Появление гласных переднего ряда после непалатализованного согласного (ср. польск. *ъ* > *e* — *sen*, *deska* и т. п.) — третий путь распада сингармонизма, он не характерен для русского языка и поэтому здесь может не разбираться.

Таким образом, русский переход *e* > *'o*, как и генезис умеренного яканья, являют-

ся лишь проявлением внутреннего процесса распада группового сингармонизма, группофонем, процесса формирования автономных согласных и гласных фонем (прежде всего — процесса формирования категории мягкости согласных в русском языке). Процесс перехода *е* > *'о* и процесс падения редуцированных равноправны, это два проявления одной и той же более общей тенденции. Поэтому совершенно прав В. Н. Сидоров, ставя процесс *е* > *'о* во главу угла истории русского языка, ибо падение редуцированных — *процесс общеславянский*, процесс же *е* > *'о* — собственно русский (даже в украинском языке специфика перехода *е* > *'о* несколько иная, распространенность — меньшая; не случайно и категория мягкости согласных там имеет несколько иной характер — отвердение согласных перед гласными переднего ряда, *совпадение* **i* и **y*, *отвердение* губных перед задним гласным из прежнего переднего — *мáсо* и т. п.).

Таковы предварительные соображения о перспективах построения исторической фонетики русского языка в связи с выходом труда В. Н. Сидорова.

В. К. Журавлев

«Hydronimia Wisły», cz. 1. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. — Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965. 470 стр.

Под таким заглавием Польская Академия наук выпустила большую книгу, написанную проф. П. Зволинским, М. Юрковским, Я. Ригером (редактор книги и руководитель работ проф. П. Зволинский). Книга представляет собой список гидронимов бассейна Вислы, данных в гидрографическом порядке, и включает около 19 000 названий. Аналогичные списки, как сообщает редактор во «Вступлении», будут составлены еще по крупнейшим водным бассейнам Польши (Одер, Балтийское побережье, западное и восточное, Пасленка, Прегола, а также по частям бассейнов Немана, Днестра, Дуная и Лабы, находящихся на территории Польши).

Собирание возможно полного материала и точную локализацию его в гидрографическом порядке по всем названным выше бассейнам авторы рассматривают как *первый этап большой работы по гидронимии* Польши. Вторым этапом будет создание алфавитной картотеки названий, причем не только гидронимов, но и других географических объектов, лежащих поблизости (имеются в виду названия, этимологически родственные безотносительно к их деривационным отношениям) и этимологическая обработка собранного материала типа такой, какую дал Ф. Безлай в книге «Slovenska vodna imena». Третий этап работы — создание картотеки индексов и обработка словообразовательных типов в структуре называния гидронимических объектов.

Рецензируемая книга представляет большой интерес не только с точки зрения собранного в ней гидронимического материала, но и той методикой, системой, в которой она подается. Основным источником при сборе материала был 15-томный «Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego», 1880—1902 гг. (Е. Близинского) и карта в масштабе 1 : 100 000. Кроме того, были использованы многочисленные рукописные материалы, изданные исторические документы, работы по гидронимии небольших бассейнов и т. п.

Авторы книги, несомненно, во многих случаях создают свою собственную методику подачи гидронимов, хотя отталкиваются от методики П. Л. Маштакова и дают ей очень высокую оценку. Новизна их методики в первую очередь относится к гидрографической характеристике гидронимов, к принципам подачи вариантов названий. Эти два момента выделяют рецензируемую работу в ряду аналогичных работ по гидронимии. Впервые при составлении списка гидронимов так широко *представляются варианты названий*, которые подаются в следующем порядке: фонетические (*Wisznia* и *Wiśnia*, *Łasówka* и *Łasówka*), родовые (*Kopydło* и *Kopydła*), варианты числа, словообразовательные (в зависимости от аффиксации), варианты одно- и двухчленные, варианты с разными корнями, например *Giełczew* и *Radomirka* (в данном случае правильнее видеть разные названия, а не варианты одного и того же названия), названия немецкие (*Huczawa* и *Rauschbach*), названия исторические (*Kamionka* и *Kamienica*). Конечно, хотелось бы, чтобы авторы разъяснили, чтó они принимают за вариант названия, чтó — за разные названия одного объекта, в каких случаях за основное принимается суффиксальное название, а бессуффиксное дается как вариант, например *Brzozówka* и *Brzozowa* (435),

Iławka и *Iława* (620), а не *Brzozowa* и *Brzozówka*, *Iława* и *Iławka*, как следовало бы ожидать. Непонятно, что принимают авторы за вариант, помещенный в рубрике «nazwy historyczne» (название, зафиксированное в историческом памятнике, документе?).

Очень внимательно авторы подошли к локализации объектов, что собственно *является второй их главной задачей в данной работе*. Весь бассейн Вислы поделен на 820 отрезков (участков). Цифровое деление удобно и даже необходимо для проведения всего комплекса работ по исследованию территории Польши. Гидрографическая характеристика регистрирует рядность притоков (I, II, III ряд), гидронимическую номенклатуру, даже такую, как рукава реки, разветвления, каналы и т. п. Гидрографически характеризуются разнообразные отношения между объектом и реципиентом (принимающим источником). Так, озера, из которых вытекает объект, в которые впадает объект или мимо которых протекает (они подаются как притоки), обязательно имеют при себе соответствующий квалификатор (*ex*, *in*, *per*). Гидрографическую помету имеют объекты, впадающие в озеро, из которого вытекает реципиент, и трактуются как его притоки. Гидрографически характеризуются и более сложные отношения между объектом и принимающим его источником, например, разветвления реки, рукава характеризуются в отношении наличия или отсутствия других объектов между выходом и устьем рукава, разветвления. Регистрируются случаи, когда ответвление уходит к другому реципиенту в бассейне Вислы, и многие другие. Наряду с этим сигнализируется предположительность или неточность локализации объекта, невыявленность его отношений с реципиентом. Вся эта сложная система гидрографической регистрации осуществляется посредством разнообразных квалификаторов, например, буквенных (*śrb*, *gb*, *jeż* и др.), условно-графических (X, /\, \/, 0 и др.) и даже посредством комментариев.

Но и в этой тщательно разработанной системе гидрографической подачи гидронимов все же остается место для некоторых вопросов. Как поступать в случаях более сложных? Река Поля (бассейн р. Пры) вытекает из озера Асерхово, затем разливается в ряд озер (Дубовое, Святое, Лихарево) и этой цепью озер вливается в оз. Сокорево. Как квалифицировать гидрографически эти озера? Более того, в оз. Сокорево втекает еще и р. Пра, вытекающая из оз. Сарыбьева под названием р. Варны, из следующего озера она вытекает под названием Ялна, затем разливается на ряд озер и вместе с ними носит название р. Зелень и только после этого под названием Просницы вливается в оз. Сокорево, затем в оз. Мартыново, а из оз. Мартынова выходит под названием Пра. Как квалифицировать гидрографически озера, через которые протекает Пра и чем считать р. Полю, самостоятельной рекой или притоком Пры? Если считать Полю притоком Пры, то по принципам, предложенным авторами рецензируемой книги, мы должны считать Полю истоком Пры. В действительности же Поля никем и никогда не квалифицируется как исток Пры (Поля обычно считается самостоятельной рекой или же притоком Пры, например у П. П. Семенова-Тян-Шанского).

В связи с локализацией объектов встает вопрос об учете хронологии собранного материала. Основным источником, как уже было сказано, для авторов рецензируемой книги послужил «Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego», изданный в конце прошлого века, составленный очевидно по материалам первой половины XIX в. или конца XVIII в., т. е. 100—150 лет тому назад. А как показывает опыт сопоставительного изучения гидронимии, гидрография претерпевает за этот срок заметные изменения, правда, в основном это касается микрогидронимии (некоторые участки Среднего Поочья в настоящее время и на планах Генерального межевания России конца XVIII в.).

Как мы уже говорили, данная книга интересна не только методикой подачи гидронимов, но и тем материалом, который собран в ней. Трудно переоценить значение книги, вводящей в научный оборот 19 000 названий, довольно точно слокализованных и поданных в определенном порядке. Это самое большое собрание гидронимов бассейна одной реки. Список гидронимов бассейна Вислы дает интересный гидронимический контекст, особенно если взглянуть на него с точки зрения сопоставительной, по отношению, например, к бассейнам Днепра, Днестра или Оки. Сопоставительный аспект дает материал для исторической интерпретации многих гидронимов. Речь может идти даже не о таких частотных гидронимах, как *Глинка*, *Калиновая*, *Малиновка*, *Луковка* и *Луковища*, *Смерденка*, *Рак* и *Рака*, *Рассоха*, *Скороднэ*, *Синица* и т. п. Бассейн Вислы фиксирует и такие названия, общие для бассейнов Днестра, Днепра и Оки, как например *Дунай* (приток Вислока, озеро, приток Вислы и др.), *Дунай* (бас. Семи), *Дунай* (правый приток Оки под Рязанью), по всем этим бассейнам мы находим деминутивы *Дунаец*, *Дунайчик*, *Дунаек* или *Дунайка*; *Орле*, *Орла*: *Орлянка*, *Орлувка* (бас. Вислы), *Орел*, *Орлик*, *Орлица* (бас. Днепра) и *Орел*, *Орлик*, *Орлица* (верховья Оки); *Снеготний* (левый приток Бреницы), *Снежеть* или *Снежать* (левый приток Болвы), *Снежеть* (правый приток Зуши в верховьях Оки), речка *Снежетка* и с. *Снежеток* (бас. р. Прони, Среднее Поочье); *Сопот* (река в низовьях Вислы и город), *Сопот* (правый приток Стрыя на Днестре), дер. *Со-*

потово гумнище (на р. Проне) и дер. *Сопотово* (на р. Павловке под Рязанью). Дальнейшее перечисление совпадений нецелесообразно, хотя и очень интересно.

Надо всячески приветствовать появление такой нужной книги, которая, несомненно, прочно войдет в научный обиход.

Г. П. Смолицкая

E. A. Nida. **A synopsis of English syntax.** — The Hague, Mouton and C°, 1966. 174 стр.

Рецензируемая книга принадлежит перу одного из наиболее известных американских лингвистов, автору многочисленных и оригинальных работ по общему языкознанию и англистике.

Наиболее интересной особенностью рецензируемого издания является то, что, по существу, все представленное в книге исследование уже было полностью выполнено автором в 1943 г. в виде докторской диссертации. Для того чтобы оценить значение этого факта, следует вспомнить о тех коренных изменениях, которые произошли в общем направлении лингвистической теории в США за последние 20 лет. Если в начале 40-х годов так называемая дескриптивная лингвистика (школа Блумфилда) была господствующим направлением, то теперь положение дел коренным образом изменилось. Правда, и теперь стремление к тому, чтобы выделяться в качестве главного или господствующего направления в этой стране никак нельзя считать изжитым. Более того, стремление школы Хомского к тому, чтобы выступить в качестве единственно научного, единственно правильного, передового и вполне современного направления ничем не уступает наиболее воинствующим периодам в развитии дескриптивного бихевиоризма. Но, по существу, конечно, то, что есть сейчас, очень сильно отличается от того, что было 20 лет тому назад, и поэтому переиздание теперь, в 1966 г., без изменений работы, построенной строго на «дескриптивной» основе, уже само по себе явление весьма примечательное.

Переходя к рассмотрению книги по существу, следует прежде всего разграничить следующие два аспекта: 1) метод описания материала и 2) характеристику состояния исследования в данной области к моменту написания книги.

Хотя историографическая часть, доводящая обзор работы по английскому синтаксису лишь до 1943 г., и представляет, казалось бы, теперь только исторический интерес, — на самом деле это не совсем так. Тонкий исследователь, прекрасный наблюдатель и оригинальный мыслитель, Е. Найда дает очень четкую, интересную и конкретную картину состояния науки в данной области в первой половине текущего столетия. Правда, противопоставление ментализма позитивизму, острая критика «авторитарности» менталистических подходов, отказ от менталистских объяснений как «псевдоответов» на вопросы науки и т. д. теперь звучат совершенно иначе, чем они звучали 20 лет тому назад. Тем не менее, если взять все эти утверждения как бы в «снятом виде», т. е. искать в них то рациональное зерно, которое вполне очевидно проявилось теперь, после эксцессов антитезы «порождающих грамматик», то они представят несомненный интерес, — тем более, что в изложении Е. Найды они не только звучат гораздо более убедительно, но и дают гораздо более яркую и интересную картину, чем, например, у Г. Глисона и даже у Ч. Фриза.

Что касается метода подачи и описания материала, то автор ставит себе следующие задачи: 1) продемонстрировать применение методов дескриптивной лингвистики к описанию синтаксических явлений (в полном соответствии с основами этой теории описывается «идиолект» самого автора); 2) представить *в обозримой* форме синтаксические модели данного языка, раскрывая их тагмемную структуру через таксемы — порядок, селекция, модуляция и сандхи.

Следует сразу же обратить внимание на то, что хотя здесь точно соблюдается порядок синтаксических процессов, предложенный Блумфилдом, на самом деле (и автор сам об этом говорит в конце своей методологической главы) наиболее важным из основных четырех таксем является именно селекция: «Любое высказывание может рассматриваться как состоящее из ряда селекций» (стр. 52). Таким образом получается (и об этом говорит сам автор), что деление основного текста, т. е. его построение в виде такого-то числа секций или разделов, по существу может рассматриваться просто как демонстрация тех или иных выборов или сочетаний различных таксем формального класса. В полном соответствии с классической дескриптивной методоло-

гией классы слов определяются их дистрибуцией, а не морфологическими особенностями, причем подчеркивается то огромное значение, какое выделение на основании распределения, а не морфологического строения имеет для английского языка,— языка, «в котором нет грамматики в традиционном смысле этого слова».

Также в полном соответствии с дескриптивной традицией, в качестве важнейшего методологического фактора подчеркивается освобождение английского языка от прокрустова ложа классических таксономий и полученная таким образом возможность объединять в один класс единицы, прежде неправомерно разделявшиеся. Классическим примером является, как известно, объединение в один класс вспомогательных и модальных глаголов. То же относится и к таким типичным элементам дескриптивной методологии, как чистота синхронного описания, тщательное разграничение уровней— морфологического, синтаксического, лексического и т. д.

Конечно, этим дело не ограничивается и в различных частях книги автор уделяет достаточное внимание и другим таксемам, как, например, «порядок». Что касается таксемы модуляции, то здесь, как правильно отмечает сам Е. Найда, описание нельзя признать вполне соответствующим современному уровню исследования в данной области, поскольку работы К. Пайка, Р. Уэлса, Дж. Трегера и Л. Смита и других вышли уже после того, как работа Е. Найды была написана, и он, естественно, не мог воспользоваться результатами этих исследований. Особенно чувствуется, конечно, отсутствие современной трактовки различных явлений характера синтаксического соединения (juncture). Однако все это ни в какой степени не снижает неоспоримых достоинств рецензируемой книги, содержащей обобщающую и легко обозримую инвентаризацию материала, выполненную с такой тщательностью и с таким знанием дела, что работа эта имеет непреходящую ценность.

Совершенно исключительный интерес представляют страницы 6—7, где автор сам дает перечень недостатков (shortcomings), которые он считал необходимым перечислить, готовя к печати новое издание своего труда. Смысл перечисления заключается в том, чтобы в кратких чертах показать основные направления дальнейшего развития данной области знания. Подлинным же недостатком, однако, является то, что автором практически не принимаются во внимание работы советских и чешских ученых. Поэтому составленный им перечень ограничивается лишь следующими моментами: 1) в работе нет описания трансформов, выполненных в терминах основных ядерных предложений, способных к порождению различного рода конструкций. Если бы такое описание имелось, то тогда было бы возможно более последовательно выделить существенно различные, но формально подобные конструкции. Это различие основывалось бы на эксплицитном учете того, что они выведены из несовпадающих ядерных конструкций; 2) непосредственно составляющие многих конструкций в работе помещены на некотором расстоянии друг от друга; 3) в работе нет полного описания альтернативных выборов различных видов порядка слов; 4) в работе отсутствует рассмотрение тех синтаксических последствий, к которым приводит использование различных возможностей расположения непосредственно составляющих; 5) наконец, в работе используется «несколько устарелая», как говорит автор, терминология. Автор говорит о «дихотомическом противопоставлении форм и функций», а не о различении единиц и их расположения или распределения.

Попробуем теперь посмотреть несколько более детально, какие же изменения произошли в общесинтаксической теории со времени первого опубликования рецензируемой книги и какое значение эти изменения имели для исследования конкретного материала. Следует начать с краткой характеристики развития именно американской синтаксической мысли, потому что как раз она находится в центре внимания нашего автора. Найда — представитель классической синтаксической школы анализа по непосредственно составляющим. Эта форма синтаксического анализа исходит из того, что каждое «предложение» состоит из ряда составляющих, каждое из которых в свою очередь членится на ряд составляющих более низкого уровня, причем этот анализ может продолжаться вплоть до отдельных морфем (соответственно неразложимых мономорфемных слов). Именно на этой основе и выделяются модели, или типы предложений, в рецензируемой книге. Так, например, модель «цель — действие» (стр. 140—147), т. е. существительное плюс артикль; сказуемое в пассивной форме, состоящее из вспомогательного глагола плюс причастие второе спрягаемого глагола; обозначение действующего лица посредством существительного с предлогом и артиклем. Это синтаксическое единство (т. е. модель «цель — действие» в целом) представляет собой сложную иерархию составляющих: на уровне № 1— подлежащее плюс все остальное; на уровне № 2 — глагольное сказуемое плюс обозначение действователя; на уровне № 3— вспомогательный глагол плюс причастие второе и предлог плюс существительное с артиклем; на уровне № 4 — артикль плюс существительное. Полный синтаксический анализ всех основных конструкций современного английского языка, выполненный таким образом, не только

представляет, как уже было сказано выше, интерес сам по себе, но и дает надежную основу всем другим методам синтаксического анализа, предложенным впоследствии.

Представляется целесообразным прежде всего остановиться на «цепочечном» анализе (string analysis) [1]. Эта система исходит из того, что каждое предложение состоит из одного элементарного предложения, являющегося его центром, к которому присоединяются последовательности слов, обладающие некой особой структурой. Эти последовательности слов не являются предложениями и присоединяются к центральному элементарному предложению либо справа, либо слева, причем в случае нескольких таких присоединений они уже присоединяются друг к другу. Как центральное предложение, так и любая из этих последовательностей слов, которые к нему могут присоединиться, представляют собой словесные цепочки (strings of words). Каждое из слов в свою очередь приписывается к той или другой категории слов (или словесной категории) на основе входящих в его состав аффиксов или на основе занимаемой им синтаксической позиции в составе каждой из словесных цепочек. Отсюда легко возможно заменить каждое слово в цепочке символом той категории, к которой оно принадлежит, и получить вместо реальных словесных цепочек цепочку, состоящую из символических обозначений соответствующих категорий. Такие формулы, называемые «формулами цепочек», выступают в качестве обобщенных обозначений соответствующих цепочек, состоящих из реальных слов конкретных языков. Преимущество цепочечного анализа по сравнению с анализом по составляющим заключается в том, что последний, то есть анализ по составляющим, оказывается удобным только в тех случаях, когда число составляющих невелико и классы составляющих являются более или менее однородными, не отличаются большим разнообразием. Кроме того, анализ по составляющим, не предполагающий понятия «расширение», практически лишен возможности адекватно разъяснять такие случаи построения, когда отдельные слова занимают синтаксические позиции расширенных составляющих.

Выше уже было сказано о том пренебрежении к работам советских ученых, которым характеризовалось развитие американской синтаксической теории. Поэтому в исследованиях охарактеризованного выше направления совершенно не ставился по существу вопрос о синтаксической парадигме, т. е оставалась в стороне проблема варьирования «предложения» в морфосинтаксическом плане или аспекте [2]. Этим, по-видимому, объясняется то обстоятельство, что так называемый «трансформационный анализ» был воспринят многими как удивительное откровение. Как известно, сущностью трансформационного анализа является разложение каждого предложения без остатка на элементарные предложения [3], которые и становятся в дальнейшем объектом некоторых специфических преобразований. Но значит ли это, что трансформационный анализ — это просто анализ, основывающийся на понятии парадигматики предложения в морфосинтаксическом плане? Иными словами, можно ли назвать трансформационным анализом такие операции, как, например, превращение предложения *сын работает в я работаю*; *ты работаешь*; *сын работал*; *сын будет работать*; *сын работал бы*; *работай, сын*; *работай бы сын*; *работал бы сын* и т. д. или же здесь имеется в виду нечто более сложное и более специфическое? Ответ на этот вопрос должен быть положительным, причем снова следует всячески подчеркнуть то обстоятельство, что идея трансформационной грамматики (или, точнее, трансформационного метода синтаксического анализа) станет вполне ясной, только если исследователь будет отдавать себе полный отчет в том, какое огромное значение для данной области знания имеют такие понятия, как лексическая морфология, синтагматическое членение предложений (понятие синтагмы, как синтаксической, стилистической категории) и вытекающая отсюда идея об актуальном членении предложения (тема и рема, сверхфразовое единство и т. п.).

Кроме того необходимо, если имеется в виду «механизм» порождения предложений в синтаксисе речи, наконец, дать достаточно точное, адекватное определение предложения именно для данной цели, т. е. такое его определение, которое сделало бы вполне возможным и легко осуществимым решение поставленных выше синтаксических задач. Иными слова-

[1] См.: Z. S. Harris, String analysis of sentence structure, The Hague, 1965 (отд. оттиск).

[2] Подробно об этом см.: Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке, сб. «Русский язык», М., 1967. Этот аспект проблемы освещался также и в работах тех американских лингвистов, которые всегда внимательно следили за развитием синтаксической теории в СССР и странах народной демократии.

[3] Понятие элементарного предложения здесь не совпадает с понятием элементарного предложения в цепочечном анализе, потому что оно может включать в себя также и такие последовательности или цепочки слов, которые при цепочечном анализе в состав элементов предложения включаться не могут. Именно это обстоятельство и отличает трансформационный анализ от цепочечного наиболее ярким образом.

ми, необходимо начать с того, чтобы вполне определенно и недвусмысленно сказать, что все упомянутые выше методы синтаксического анализа занимаются «предложением» как особой разновидностью упорядоченного, нормализованного и в значительной степени логизированного «высказывания». Именно этот вид высказывания является основным объектом изучения синтаксиса конкретного человеческого языка в школе, определяет всю работу литературного редактирования текстов, развития и организации ораторской речи и т. д.

В теоретическом плане именно этот своеобразный и важнейший вид высказывания и создает основу для всех сопоставительных и типологических исследований в области синтаксиса. Если далее принять только что сказанное об основном объекте синтаксического исследования, определив его так, как это только что было сделано, то станет совершенно ясным, что разложение предложения на элементарные предложения в таком виде, как это делает трансформационный анализ, не может быть удовлетворительным, если не будут приняты во внимание хотя бы основные принципы синтагматического и актуального членения высказывания. Иными словами, цепочечный анализ строится в своей основе на аллоэмическом принципе. Если же принять понятие синтаксической парадигмы в терминах сочетания или объединения синтаксического анализа с морфологией словоизменения, то следующим этапом должно явиться (и естественно явилось) такое изучение синтаксиса, такие работы в этой области, которые выходили бы за рамки морфологии словоизменения и врывались бы со всей решительностью в область морфологии словообразования.

Таким образом, синтаксическая парадигматика оказалась бы значительно расширенной. Если вернуться к нашему примеру, то предложение *сын работал* оказывалось бы связанным морфосинтаксическими отношениями («парадигматически») не только со всеми формами глагола *работать*, но и со всем тем словообразовательным рядом, в который входят эти производящие основы. Если попытаться подобрать соответствующие термины, то можно было бы сказать, что исследователь переходит здесь уже в область гипертагмемики, область, которую другие исследователи предлагали называть областью «серийного соотношения единиц» (serial relationship). Можно было бы далее утверждать, что синтаксическая теория переходит теперь на все более высокие уровни синтаксической абстракции, но одновременно с этим оказывается с самого начала ограниченной в своих построениях спецификой словообразовательных систем отдельных языков. Как показывают многие из новейших исследований, именно здесь, скажем, для таких языков как русский, и возникают наибольшие сложности. Вместе с тем, по-видимому, для таких языков, как английский, достигших в области словообразования очень высокой степени аналитизма, указанные выше проблемы оказывается гораздо легче решить.

Думается, что именно поэтому столь убедительными становятся построения Н. Ф. Иртеньевой, которая совместно со своими учениками уже в течение ряда лет ведет работу в области теории синтаксиса именно в этом направлении. Думается также, что им в большой степени удалось выполнить задачу реального построения для конкретных естественных языков таких синтаксических моделей, которые базировались бы на «гипераллоэмическом» принципе.

В заключение необходимо еще раз настойчиво подчеркнуть, что дальнейшее плодотворное развитие синтаксиса возможно только при том условии, что будут полностью учитываться как надежные по своему материалу сплошные исследования, подобные рецензируемой книге Е. Найды, так и все многообразие подходов к сложнейшей проблеме анализа речевого произведения (такие, как исследование щербовской синтагмы, актуального членения, серийного соотношения, сверхфразового единства и т. п.).

О. С. Ахманова

«Автоматизация в лингвистике». — М.—Л., изд-во «Наука», 1966. 158 стр.

По вопросам автоматизации в лингвистике на русском языке появлялось до сих пор крайне мало публикаций [1]; за границей обобщающих работ по этой исключительно важной тематике тоже совсем немного [2].

[1] Можно назвать только обзоры Р. М. Фрумкиной (ВЯ, 1964, 2) и В. А. Московича (ВЯ, 1966, 1).

[2] См., в частности: D. Hays, Introduction to computational linguistics, New York, 1967, а также «Readings in automatic language processing» (под ред. D. Hays), New York, 1966.

Однако рецензируемый сборник (редактор и составитель Л. Н. Засорина), включающий в себя переводы десяти статей специалистов из разных стран, не может не разочаровать читателя. Прежде всего, сам состав сборника нельзя признать удачным. Действительно:

1. Статья Й. Штиндловой «Обратные словари» (стр. 84—91) не имеет прямого отношения к теме сборника. Отдельные замечания о том, что обратный словарь целесообразно составлять с помощью машин, *для чего слова надо перфорировать* с их конца, не делают, на наш взгляд, включение статьи в сборник оправданным. Кроме того, к моменту издания сборника эта статья уже устарела и не представляет сейчас научного интереса.

2. Точно так же не имеет отношения к теме сборника статья Г. Йоссельсона «Подсчет слов и частотный анализ грамматических категорий русского литературного языка» (стр. 105—127), хотя она и содержит ценные сведения о частоте различных грамматических категорий в русских текстах (причем все подсчеты были выполнены с помощью счетно-аналитических машин). Наличие небольшого приложения Г. Хиота «Процедура табулирования» (стр. 127—131), где не слишком четко описываются отдельные аспекты машинной обработки, тоже не дает оснований для включения статьи в сборник.

3. Аналогичным образом, статья К. Е. Харпера и Д. Г. Хейса (стр. 132—143), *очень интересная сама по себе*, посвящена в основном проблеме изображения и методике обнаружения синтаксической структуры фраз и фактически тоже выпадает из тематики сборника. Изложение в этой ранней статье еще не вполне совершенное, а результаты авторов никак не соотнесены со сходными работами других исследователей, что затрудняет понимание. С 1959 г., когда эта статья была опубликована, появился целый ряд работ, где те же проблемы изложены гораздо лучше [3]. Необходимо было по крайней мере снабдить статью разъясняющим комментарием (объяснить, в частности, что «предшествие» — это, по сути дела, не что иное, как проективность, или конфигурационность; отослать читателя к более поздним работам Хейса и т. д.)

4. Две статьи о подсчете с помощью ЭЦВМ SEAC синтаксических структур английских фраз — «Изучение синтаксических структур английского языка с помощью электронной машины» (стр. 144—149) и статья Р. Б. Томаса «Применение электронно-вычислительной машины СЕАК для синтаксического анализа» (стр. 150—157) — формально относятся к теме сборника, однако несмотря на обилие цифр, таблиц, графиков и гистограмм не представляют никакого научного интереса; даже 10 лет тому назад, когда эта работа была проведена, она носила полурекламный характер. Все содержание описываемой в обоих статьях работы (кстати, статьи в основном повторяют друг друга [4], несмотря на замечание редактора сборника на стр. 3) сводится к следующему: *лингвисты выбрали из текстов* 1000 английских фраз и вручную приписали каждой фразе цифровой код, очень грубо представляющий ее синтаксическую структуру — в терминах традиционных шести членов предложения. Затем машина подсчитала количество разных кодов, т. е. разных структур. Из-за недостаточности выборки все полученные статистические данные, что признается и в самих статьях, недостоверны (см. стр. 154). Что же касается программы для подобных подсчетов, то она абсолютно тривиальна. И, наконец, применение машины вообще представляется здесь неоправданным: лингвисты, кодировавшие текст, могли без особого добавочного труда провести и нехитрые подсчеты.

5. Статья Р. Клаппенбах «Применение перфорационных карт при создании словаря современного немецкого языка» (стр. 92—104) по заглавию подходит под тематику сборника, однако ее фактическое *содержание — перечень признаков*, которые должны приписываться словам в полном толковом словаре; так что и здесь мало что сообщается о лингвистической автоматизации как таковой.

6. И, наконец, статья Р. Бузы (стр. 13—23), даже заглавие которой переведено неправильно («Электротехника [sic!] при механизации филологического анализа» (ср. приведенное немецкое название: «Elektronentechnik in der Mechanisierung...», т. е. по-русски: «Применение вычислительных машин для механизации...») вполне подходит по тематике, но написана не слишком четко, по содержанию устарела, а переведена так, что извлечь из нее какую-либо содержательную информацию практически невозможно.

Итак, из десяти статей семь мало подходят или вовсе не подходят для включения в сборник, имеющий заглавие «Автоматизация в лингвистике». Тем самым этот сборник, рассчитанный не на специалистов, а на лингвистов широкого профиля (см. стр. 4), не только не дает достаточно полного освещения соответствующей тематики, но и может полностью дезориентировать читателя, создать у него в корне неправильное представление о содержа-

[3] См., например: D. G. Hays, Research procedures in machine translation, в кн. «Natural language and the computer», 1963, стр. 183—214 (есть и более ранняя публикация этой статьи — в виде RAND Memorandum RM—2916—PR, 1961).

[4] Кроме того, название второй статьи вводит читателя в заблуждение: про синтаксический анализ в этой статье не говорится ни слова.

нии и методах лингвистической автоматизации и дискредитировать это важнейшее направление исследований.

Особо тягостное впечатление оставляют многочисленные ошибки и опечатки. Вообще качество переводов и их редактирования оказывается гораздо ниже допустимого уровня. Ошибки встречаются даже в заглавиях статей — см. статью Р. Бузы, стр. 13. На той же стр. 13 вместо «...в Гал ларате под Миланом» читаем: «...в Гал ларте под Майландом» (= нем. Mailand); в примеч. 3 говорится о «...благодарности С. Е. кардиналу Шпеллману» — речь идет о «его преосвященстве» Спеллмане («С. Е.» = нем. S. E., т. е. «Seine Eminenz»), а в примеч. 4 Макс Планк превращен в двух людей («...в обществе Макс — Планк» [?]). На стр. 17 появляется «Унивак фон Ремингтон-Рэнд» — вместо «Машина „Унивак" фирмы „Ремингтон-Рэнд"». На стр. 18—21 фигурирует мистическое «устройство ЕДП», хотя в оригинале имеется в виду ЭВМ — электронно-вычислительная машина (ЕДП = англ. EDP = Electronic Data Processor). На стр. 59 напечатано: «...получили на Ординаторе 705», хотя франц. *ordinateur* означает «вычислительная машина» и, следовательно, надо: «...на машине IBM 705». На стр. 132, 134 читаем о «программе для структурного анализа», хотя англ. *structural analysis* в контексте автоматической обработки текста означает «синтаксический анализ». Англ. *occurence* переводится как «вхождение», что, строго говоря, верно, но вряд ли понятно читателю-лингвисту — следовало переводить *occurence* как «слово» (пояснив один раз, что имеются в виду конкретные словоупотребления, а не лексемы). Англ. *phrase* неверно переведено как «фраза» (надо «словосочетание» или «группа»), в результате появляются такие малопонятные предложения, как «делает слово кандидатом на управление фразой с частотой» (стр. 141; разрядка наша.— *И. М.*) Англ. *verbal*, которое может означать «словесный», передается как «глагольный», в результате чего смысл в переводе утрачивается: «Определение того, какая интерпретация [грамматически неоднозначной формы.— *И. М.*] является правильной, зависит от сложного характера глагольного окружения» (стр. 145).

По всей книге рассеяны неуклюжие и непонятные фразы, например: «... мы намереваемся провести регистрацию содержания произведения Фомы Аквинского» (стр. 13), хотя немецкий оригинал «...den Inhalt... registrieren» в данном контексте означает: «...составить перечень слов, встречающихся в произведениях Фомы Аквинского»; «... мы недостаточно знаем о математическом подобии [?] существенных сторон языковой структуры» (стр. 14); «... одна магнитная лента переносит на другую... определенные разделы [?] информации без перемещения материала» [?] (стр. 19); «... выработка сведений [?] содержания на ИБМ 705» (стр. 20); «Различные приспособления разрешают печать с простым, двойным или тройным перекатом, и она перемещается по листу» (стр. 33) и т. п.

В результате понимать переведенные статьи бывает гораздо труднее, чем понимать подлинники даже при посредственном знании соответствующих языков.

Особенно досталось собственным именам. Фамилия Imbs на стр. 8 передана как Имбзе, а на стр. 24 (примеч. 2) — Имбс. В. Джулиано перекрещен в Гилиано, а У. Локк — в Локке (стр. 60, примеч. 43). Б. Кемада на стр. 86 стал М. Кемадой (М. перед фамилией означает monsieur); на стр. 59 Р. Буза назван «П. Р. Буза» («П» означает здесь Padre); Ж. Гардэн и Э. де Гролье стали соответственно Ж. Гардина и Э. де Грольера (стр. 9, примеч. 11). A. D. Booth на стр. 60 фигурирует как A. J. Booth; П. Дж. Векслер на стр. 8—9 назван П. И. Векслером, на стр. 53 (примеч. 35) — П. Ж. Векслером. Столь же плохо обстоит дело со специальной терминологией. На стр. 28 находим «дактилографическое воспроизведение» вместо обычного «перепечатка на машинке». На стр. 52—53 говорится о «магнитных бобинах» — имеются в виду «бобины магнитной ленты». Счетно-аналитические машины в разных местах называются то «перфорационными» (стр. 84), то «механо-счетными» (стр. 50), то «механографической техникой» (стр. 56), то «машинами с перфокартами» (стр. 86) и т. д.

И, наконец, ошеломляющее количество опечаток в иностранных словах [5], необычное для издательства «Наука» и его 1-й типографии, а также их однотипный, системный характер (в основном — отсутствие accents и согласований по роду и числу во французском тексте) заставляет думать о небрежности и некомпетентности переводчиков и редактора. Подобная подготовка переводного сборника, который, как уже отмечалось, не освещает в достаточной мере проблемы автоматизации в лингвистике, ставит под сомнение и самую возможность автоматического перевода: как же сумеет машина справиться с задачей, с которой не справился целый коллектив переводчиков-специалистов?

Именно в связи со столь низким качеством сборника рецензент считает своей обязанностью не просто предостеречь читателя, но и попытаться в самых общих чертах охарактеризовать содержание понятия «автоматизация в лингвистике»,

---

[5] Только на стр. 5—9 мы обнаружили при беглом просмотре 15 опечаток, не отмеченных в списке опечаток. См. также стр. 10, 12, 48, 49, 57, 58, 59, 61, 62, 85 и т. д.

привлекая крайне выборочно только основную литературу [6].

Термин «автоматизация в лингвистике» («лингвистическая автоматизация») обозначает в точности то, что по-английски называют «computational linguistics» (или, реже «linguistic automation»). Данный термин в обоих его вариантах нельзя признать вполне удачным, но за неимением лучшего мы будем пользоваться им.

Автоматизация в лингвистике предполагает использование автоматических устройств — электронно-вычислительных цифровых машин (ЭЦВМ, англ. computer, франц. ordinateur, calculateur) и счетно-аналитических машин (САМ, англ. punch card machines) [7] — в двух различных аспектах: 1) для автоматизации моделей языка — машина имитирует (в той или иной степени) речевое поведение говорящих, то, как они общаются с помощью языка; 2) для автоматизации моделей исследования языка — машина имитирует исследовательское поведение лингвистов, то, как они изучают язык, точнее — тексты на этом языке.

1. Автоматизация моделей языка. Несомненно, что язык есть прежде всего средство передачи смысла (содержания); это механизм (= система правил), преобразующий заданный смысл в текст и извлекающий смысл из заданного текста. Язык как механизм реализован в мозгу говорящих (в данный момент мы не интересуемся, как именно) и недоступен лингвистам для прямого наблюдения. Единственная возможность познать и понять язык заключается в том, чтобы строить его функциональные (кибернетические) модели, т. е. создавать системы, «ведущие себя» как язык, т. е. преобразующие смысл в текст и обратно так же, как это делают говорящие на данном языке. Такая модель может быть только автоматической. Отсюда следует, что автоматизация моделей языка («смысл —текст») есть центральная задача современной синхронической лингвистики.

Самое непосредственное отношение к автоматизации моделей языка имеют работы по автоматическому переводу и шире — по автоматической обработке текстов (порождение текста, реферирование, ответы на вопросы, описание рисунков и т. п.). Теоретические аспекты соответствующей тематики активно разрабатываются в рамках учения о формальных грамматиках (школа Н. Хомского и другие направления математической лингвистики).

[6] И стараясь при этом обращаться в основном лишь к тем исследованиям, которые не упоминаются в указанных выше обзорах Р. М. Фрумкиной и В. А. Московича.

[7] Рамки рецензии не позволяют остановиться на различиях между ЭЦВМ и САМ.

Эта сторона лингвистической автоматизации вообще никак не представлена в рецензируемом сборнике, несмотря на его общее заглавие; следовало бы изменить заглавие, а также дать четкие разъяснения по поводу содержательных рамок сборника во вступительной статье.

Что касается соответствующей литературы, то она столь обширна, что дать здесь какие-либо библиографические указания невозможно. Можно лишь отослать читателя к соответствующему справочнику [8], а также рекомендовать раздел «Автоматический перевод текстов» в реферативном журнале «Научная и техническая информация. Отдельный выпуск» (где, кстати, можно найти новейшую литературу и по остальным аспектам лингвистической автоматизации, по математической лингвистике и т. п.).

2. Автоматизация лингвистических исследований. Лингвист непосредственно наблюдает тексты (или записи устной речи) и делает выводы о языке, т. е. о механизме, порождающем эти тексты; при этом он выполняет целый ряд более или менее интуитивных процедур — от чисто механических актов (например, выборка всех слов на данную букву) до крайне сложных мыслительных операций (например, конструирование формальных моделей для того или иного фрагмента языка). Результаты деятельности лингвиста также весьма разнообразны: от перечней слов, обладающих каким-нибудь общим свойством, до толковых словарей, грамматических теорий и полных описаний грамматического строя языков. Формализация интуитивных правил и соображений, которыми бессознательно руководствуется ученый, построение механизмов, способных хотя бы отчасти заменить его, т. е., получая на вход тексты, выдавать на выходе словари и грамматики (или хотя бы фрагменты таковых), и составляет задачу автоматизации лингвистических исследований. Эта область тесно примыкает к общим задачам автоматизации исследовательской деятельности и связана с такими проблемами, как распознавание образов, принятие решений, построение логических выводов и т. п., т. е. перерастает, вообще говоря, рамки собственно лингвистики.

Ограничимся здесь указанием на некоторые задачи автоматизации лингвистических исследований, стараясь показать их весьма широкий диапазон.

1. Начнем с самых простых применений машин. Это прежде всего составление словника к тексту: машина выписывает все разные слова (словоформы), встретившиеся в тексте, и упорядочивает их, на-

[8] И. А. Мельчук, Р. Д. Равич, Автоматический перевод. 1949—1963, М., 1967.

пример, по алфавиту [9]. Несколько более сложной задачей является статистический анализ текста — например, подсчет частоты слов при составлении словника; машина легко может также подсчитывать частоты букв и буквосочетаний, среднюю длину слов (в буквах) и фраз (в словах) и т. п. [10]. Выписывая из текста разные слова, машина может одновременно выписывать контексты (несколько слов вправо и влево, или строку, или фразу), в которых они встречаются; тем самым, будет составлен конкорданс к тексту. Наконец, можно поручить машине разного рода переупорядочение отобранной лексики — в частности, по алфавиту конечных букв (в результате получается обратный словарь) или по каким-либо иным признакам, заранее приписанным каждому слову. Существует несколько обратных словарей, построенных с помощью машин [11]; совсем недавно закончено составление (с помощью комплекса САМ) еще одного обратного словаря — для венгерского языка [12]. Все перечисленные операции, требующие огромных затрат труда, но не предполагающие сложной логической обработки, могут выполняться как с помощью ЭЦВМ, так и с помощью САМ.

2. Возможно, далее, создание более сложных автоматических систем, обеспечивающих пополнение и исправление существующих словарей путем обработки с помощью этих систем большого количества текстов. Одна из таких систем описана в многочисленных работах сотрудников Лаборатории вычислительной техники Гарвардского университета, посвященных Гарвардскому автоматическому словарю [13]. Разработан алгоритм автоматического пополнения и уточнения русско-английского словаря на базе сопоставления русского текста и его английского перевода [14]. Наконец, предложен и экспериментально опробован алгоритм построения тезауруса [15] (в данном случае, для английского языка) на базе двуязычных (англо-русских и русско-английских) словарей: машина выбирает по англо-русскому словарю все переводы (≈ «значения») Y_1, $Y_2, \ldots, Y_n$ данного слова X; затем по русско-английскому словарю находятся английские переводы каждого из русских слов $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ — эти переводы и будут «кандидатами» в наборы синонимов исходного слова X. Такое «обращение» ($A - P - A$) может повторяться несколько раз и через разные языки. При этом машина учитывает частоту и регулярность появления тех или иных эквивалентов при «обращениях», что позволяет ей отличать полисемию от омонимии и т. п. [16].

Имеется также статья, подытоживающая работы по автоматизации лексикографии за последние годы и описывающая словарную систему на магнитной ленте (для русского языка — на базе толковых словарей Д. Н. Ушакова и четырехтомного академического) со средствами автоматического пополнения, уточнения информаций и т. п. [17].

3. Следующий этап составляет привлечение машин для собирания исследовательского материала, а также для его предварительной классификации. Так, существуют алгоритмы, выбирающие из текста все конструкции с родительным падежом или все конструкции с причастиями и т. п. Подобные алгоритмы могут применяться и для извлечения слов тех или иных типов из имеющихся словарей. (Целый ряд соответствующих программ излагается в работах по Гарвардскому словарю.)

Можно поручить машине строить классы слов (или словосочетаний) на основе их дистрибутивных свойств. Например, машина выбирает из синтаксически проанализированного (все равно — человеком или машиной) текста все глаголы, допускающие в роли подлежащего только названия лиц, и составляет перечень таких

---

[9] См.: M. Levison, The mechanical analysis of language, Teddington, 1961 (National physical laboratory. Paper 29).

[10] Результаты машинной статистической обработки текстов (а также составление разного рода индексов и списков) могут использоваться в процессе дешифровки текстов, написанных неизвестной письменностью и/или на неизвестном языке (см.: В. А. Москович, указ. соч., стр. 109), в целях вероятностного установления родства языков, в ходе автоматической классификации и автоматического дистрибутивного анализа (см. ниже, п. 4 и 5) и т. п.

[11] См.: ВЯ, 1965, 5, стр. 128—133; 1966, 6, стр. 122—126.

[12] См.: F. Papp, Le vocabulaire du hongrois contemporain sur cartes perforées, «Cahiers de lexicologie», 1965, 7, № 2.

[13] См.: «Mathematical linguistics and automatic translation», Cambridge (Mass.), №№ 2—3, 1959 и № 6, 1961.

[14] J. Mersel, G. Reitz, Automatic aids to dictionary revision, «Data processing», 1962, 4, № 5.

[15] Словаря, где каждому слову приписаны наборы синонимов — так, что каждому отдельному значению слова соответствует свой набор синонимов.

[16] См.: «Computer-aided research in machine translation. C157—3 U11. Automatic thesaurus compilation», Thompson Ramo Wooldridge Inc., «Progress report» № 4. Canoga Park (Calif.), 1963.

[17] H. Josselson, Automatization of lexicography, [New York], 1965 (Preprint for 1965 Intern. conference on computational linguistics). То же, см.: Cahiers de lexicologie, 1966, II, № 9.

глаголов; аналогично могут быть получены любые дистрибутивные классы [18]. Машина может построить классы слов, имеющих более или менее сходные наборы синтаксически связанных с ними слов; при этом автоматически вычисляются коэффициенты сходства таких наборов (на основе частот отдельных слов и их сочетаний). В результате получаются классы слов, имеющих смысловое сходство — например, *вопрос*, *задача*, *проблема*, *уравнение*, *формула*..., что подтверждает гипотезу о *связи семантических свойств с синтаксическими* [19].

Указанная проблематика постепенно оформилась в виде самостоятельного направления, известного под названием автоматическая лингвистическая классификация. Основы его заложены в работах Р. Нидэма и К. Спарк-Джоунз, которые построили теорию «сгустков» (clumps): «сгустки» суть классы элементов, в некотором смысле более близких друг к другу, чем к элементам других классов. (Говоря более формально, нахождение «сгустков» есть нахождение классов элементов по матрице расстояний между ними.) Например, пусть мера связности C_{xy} слов x и y определяется как

$$\frac{T_{xy}}{T_x + T_y},$$

где T_{xy} — число текстов (скажем, фраз), содержащих и x, и y, а T_x и T_y — число текстов, содержащих только x или y (по существу, C_{xy} есть мера «предпочтения» совместной встречаемости); тогда «сгусток» — это, грубо говоря, такое множество слов, в котором сумма связностей каждого члена со всеми остальными членами больше, чем сумма его связностей со всеми нечленами, причем для каждого нечлена верно обратное. Предложены и опробованы на машинах разнообразные алгоритмы получения «сгустков» [20]. В последнее время над проблемами автоматической классификации в лингвистике усиленно работают сотрудники Центра лингвистических исследований Техасского университета [21]. По существу к этой тематике примыкают и работы советских исследователей — Ю. Д. Апресяна, выделившего смысловые группы глаголов по их синтаксическому поведению [22], и Б. В. Сухотина (см. ниже).

4. Еще больше исследовательских функций передается машине в тех случаях, когда от нее требуется построить грамматику языка на основе обработки синтаксически размеченного текста (т. е. текста, в котором уже указаны синтаксические связи между словами). При этом машине приходится самостоятельно выделять те или иные классы слов и формулировать (в терминах этих классов) правила, в соответствии с которыми будут устанавливаться такие же связи, как в подготовленном тексте. Здесь мы подходим к автоматизации высших уровней исследовательской деятельности. Кроме статьи Харпера и Хейса, включенной в рецензируемый сборник (стр. 132—143), этой тематике посвящена статья О. С. Кулагиной «Использование машин в исследованиях по машинному переводу» [23], а также работы В. Джулиано, где рассматривается автоматическое построение правил перевода на основе сравнения машиной параллельных текстов, заранее подвергнутых синтаксическому анализу [24]. Во многих системах автоматического перевода (в частности, в созданных группами АН корпорации Банкер — Рамо и Техасского ун-та) имеются программы, посредством которых обнаруживаются ошибки перевода путем сравнения текстов, выданных машиной, с «человеческим» переводом и формулируются правила устранения этих ошибок; однако здесь начинается весьма специальная область, которая выходит за рамки нашего изложения.

5. Наиболее сложная, но вместе с тем — и наиболее увлекательная задача состоит в построении грамматики языка по заранее никак не обработанному тексту. Здесь машина должна, опираясь исключительно на дистрибутивные и статистические критерии (т. е. на сочетаемость и частоту элементов текста), выявить единицы языка и правила их комбинирования в тексте. Почва для такого подхода была подготовлена известными работами школы дистрибутивной лингвистики (от Л. Блумфилда до З. Харриса). Правда, вопрос о возможности полностью описать язык чисто дистрибутивными методами остается открытым; однако путь к решению проблемы идет не через философские контроверзы, а через деловое

[18] K. Harper, Procedures for the determination of distributional classes, Teddington, 1961 (National physical laboratory [далее — NPhL], Paper 5).

[19] K. Harper, Measurement of similarity between nouns, [New York], 1965 (Preprint for 1965 Intern. conference on computational linguistics).

[20] См., в частности: R. Needham, The theory of clumps, «Semantic problems in language...», Cambridge (England), 1962.

[21] См.: E. Pendergraft, N. Dale, Automatic linguistic classification, [New York], 1965 (Preprint for 1965 Intern. conference on computational linguistics).

[22] Ю. Д. Апресян, Экспериментальное исследование семантики русского глагола, М., 1967.

[23] «Проблемы кибернетики», 10, М., 1963.

[24] См., например: V. E. Giuliano, A formula finder for the automatic synthesis of translation algorithms, «Mechanical translation», 6, 1961.

экспериментирование, которое только и может показать, в какой степени чисто дистрибутивное описание языка будет удовлетворительным. Постановка задачи автоматизации дистрибутивного анализа содержится в работе П. Гарвина [25]. Весьма интересный подход к этой классической задаче и оригинальные методы ее машинного решения можно найти в статьях Б. В. Сухотина [26], где предлагается целый ряд алгоритмов (различения гласных и согласных букв; разбиения текста, *написанного без пробелов, на морфы*; выявления словосочетаний), основанных на одном и том же принципе. Сначала получается множество допустимых решений (это делается, грубо говоря, исходя из преимущественной совместной встречаемости: гласные «охотнее» соседствуют с согласными и наоборот; морфа ≈ устойчивая комбинация букв; словосочетание ≈ устойчивая комбинация классов слов). Затем правильное решение выбирается с помощью определенной «функции выгодности» — такой числовой функции, которая принимает минимальное (или максимальное) значение как раз для правильного решения. Экспериментальная (машинная) проверка для нескольких языков предложенного Б. В. Сухотиным алгоритма различения гласных и согласных дала удовлетворительные результаты.

Было бы интересно пытаться автоматизировать построение грамматики языка по неразмеченному тексту, снабженному, однако, описанием его смысла (например, на специальном «семантическом» языке). Тут машина оказалась бы приблизительно в том же положении, что и лингвист, строящий грамматику научно не описанного языка, но практически владеющий этим языком в достаточной степени (или имеющий возможность обращаться с вопросом «Что это значит?» к информанту). Рецензенту пока неизвестна ни одна работа, где делалась бы попытка ставить и решать указанную задачу. Главная трудность здесь (как, впрочем, и во многих других задачах автоматизации лингвистических исследований) — это «научить» машину выделять разные уровни преобразования «смысл — текст», поскольку прямой переход здесь вряд ли возможен. (Эта трудность является одной из главных и для исследователя — человека.)

6. И, наконец, еще одно, чрезвычайно перспективное направление автоматизации лингвистических исследований связано с автоматическим синтезом текстов. Машине сообщается грамматика данного языка, в соответствии с которой машина строит фразы, выбирая слова случайным образом [27]. Еще более полезным может оказаться синтез машиной многочисленных (иногда — несколько тысяч) вариантов выражения одного и того же заданного смысла (т. е. перифразирование), что предполагается в рамках действующей модели языка «смысл — текст» [28]. Системы синтеза и перифразирования текстов относятся к моделям языка (см. выше, п. 1), а не к моделям исследовательской деятельности лингвистов. Однако как и многие другие модели языка, подобные автоматические системы представляют собой мощное орудие эксперимента. Помимо непосредственной проверки используемого описания языка, построение фраз (или их перифразирование) дает незаменимый экспериментальный материал: изучение неудачных фраз, построенных машиной, облегчает исследователям разработку новых правил, более тонких ограничений, более дробной классификации слов и т. п.

Таково, в самых общих чертах, строение той новой дисциплины, которую мы назвали «Автоматизацией лингвистических исследований». Напомним, что здесь перечислены далеко не все возникающие и решаемые задачи; мы дали лишь весьма приблизительное (но по сути правильное) представление об этой дисциплине [29].

И. А. Мельчук

---

[25] P. Garvin, Automatic linguistic analysis — a heuristic problem, Teddington, 1961 (NPhL, Paper 1).

[26] Б. В. Сухотин, Экспериментальное выделение классов букв с помощью электронной вычислительной машины, «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962; его же, Алгоритмы лингвистической дешифровки, «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963.

[27] См.: V. Yngve, Random generation of English sentences, Teddington, 1961 (NPhL, Paper 8); D. A. Dinneen, A left-to-right generative grammar of French, Cambridge (Mass.), 1962; A. Ch. Satterthwait, Parallel sentence construction grammars of Arabic and English, Cambridge (Mass.), 1962; Н. Г. Арсентьева, О синтезе предложений русского языка при помощи машины, «Проблемы кибернетики», 10.

[28] А. К. Жолковский, И. А. Мельчук, О семантическом синтезе, «Проблемы кибернетики», 19, М., 1967.

[29] Укажем в заключение еще три статьи общего характера: S. M. Lamb, The digital computer as an aid in linguistics, «Language», 37, 3 (pt. 1), 1961; P. L. Garvin, Computer participation in linguistic research, «Language», 38, 4, 1962; A. B. Frielink, Die Möglichkeiten einer Automatisierung in der Sprachwissenschaft, «Beiträge zur Sprachkunde und Informationsverarbeitung», 1, München — Wien, 1963. См. обзор: И. А. Мельчук, Международная конференция по автоматизации в лингвистике («Computational linguistics»), «Научно-техническая информация», серия 2, 1967, 7; а также: «2-eme conférence internationale sur le traitement automatique des langues», Grenoble, 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1968

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ И ФАКУЛЬТАТИВНОМ ОКРУЖЕНИИ

В № 5 «Вопросы языкознания» за 1965 г. опубликована статья Е. А. Иванчиковой «О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе». Статья вновь привлекает внимание к важной проблеме синтаксиса, которая все чаще становится предметом обсуждения [1]. Автор на конкретном материале сложноподчиненных предложений показал плодотворность исследования синтаксических единиц с учетом свойств их составляющих в аспекте структурной обязательности и структурной факультативности. Поскольку понятия структурной обязательности и структурной факультативности являются актуальными при анализе и других синтаксических единиц, а соответствующие явления еще мало исследованы, представляется целесообразным еще раз остановиться на этих понятиях, связав их рассмотрение с некоторыми положениями указанной статьи.

В чем сущность явления структурной обязательности и структурной факультативности? «Структурная обязательность проявляется в том,— пишет Е. А. Иванчикова,— что данный элемент синтаксической конструкции обладает потенциальной синтаксической валентностью и требует для реализации этой валентности (т. е. для завершенности данной конструкции) обязательного присутствия определенной формы слова, словосочетания или предложения» (стр. 85). Приведенное определение нуждается, на наш взгляд, в некоторых коррективах.

Нам кажется, что в этом определении должным образом не осуществлено разграничение сущности объекта исследования и способов, форм его проявления Очевидно, сущность структурной обязательности составляет присущая синтаксическому элементу как составляющей синтаксической конструкции и его окружению необходимость совместного употребления. Необходимость эта определяется внутренними свойствами объектов и является независимой от контекста и коммуникативных задач высказывания. Формой проявления структурной обязательности следует признать те речевые факты, которые могут являться объектом непосредственного наблюдения. К ним несомненно должны быть отнесены те «формы слова, словосочетания или предложения», которые обязательно присутствуют в окружении синтаксического элемента. Иначе говоря, структурная обязательность (и структурная факультативность) проявляется в окружении синтаксического элемента. В основе структурной обязательности и структурной факультативности лежат дистрибутивные свойства составляющих конструкцию элементов.

В связи с той большой ролью, которую играет окружение в сигнализации структурной обязательности и структурной факультативности, остановимся на этом явлении несколько подробнее.

Понятие и термин дистрибуции, введенные в теорию и практику лингвистического анализа дескриптивистами, оказались несомненным научно и терминологически целесообразным новшеством. Понятие дистрибуции позволило выделить из многозначного комплекса «синтаксические отношения» отношения синтаксического окружения. Однако само это новое понятие оказалось тоже достаточно емким. Возникла необходимость в его частных сужениях. Так появились понятия дополнительной дистрибуции и контрастной дистрибуции [2]. Эти сделанные до настоящего времени уточнения отражают, одна-

---

[1] См., например: В. Г. Адмони, Завершенность конструкции как явление синтаксической формы, ВЯ, 1958, 1; А. А. Холодович, Опыт теории подклассов слов, ВЯ, 1960, 1; M. Ivich, The grammatical category of non-omissible determiners, «Lingua», XI, 2, 1962; В. Г. Адмони, Структурный каркас элементарного предложения в современных германских языках, сб. «Структурно-типологическое описание современных германских языков», М., 1966; Б. А. Абрамов, Синтаксические потенции глагола (в сопоставлении с потенциями других частей речи), ФН, 1966, 3.

[2] Об этих понятиях см.: Э. Хэмп, Словарь американской лингвистической терминологии, М., 1964, стр. 66, 67—68, 95—96.

ко, характер отношения окружения одного элемента к окружению другого элемента или других элементов в плане компонентного анализа окружения и в общем не касаются качественной стороны явления. Они не вскрывают возможной разнородности окружения, наблюдаемой даже в пределах окружения одного и того же синтаксического элемента.

Дистрибуцию принято рассматривать как сумму присущих данному элементу окружений [ср. у З. Харриса: «Дистрибуция элемента есть совокупность всех окружений, в которых он встречается, т. е. сумма всех (различных) позиций (или встречаемостей) элемента относительно встречаемости других элементов»[3]]. В плане общей, парадигматической характеристики элемента можно ограничиться таким пониманием дистрибуции. При синтагматическом же анализе предложения и его элементов, когда рассматриваются не сумма окружений, а отдельные конкретные проявления дистрибутивных свойств элемента, неизбежно возникает вопрос о грамматических основаниях того или иного окружения, о причинах, делающих необходимым или, наоборот, случайным данное окружение, т. е. вопрос о характере окружения.

Заполнение «пустых мест» в модели предложения определяется целым рядом факторов. Важнейшими из них являются *содержание отражаемого «кусочка»* действительности, характер субъективной интерпретации его говорящим, лексическая сочетаемость слов, их дистрибутивные свойства. Из названного нас интересует последнее — дистрибуция.

Дистрибуция элемента складывается из окружений двоякого рода. Окружение может быть обязательным. При обязательно-дистрибутивных отношениях присутствие одного элемента предполагает обязательное наличие в составе конструкции другого элемента. Именно такого рода окружение присуще, например, переходным глаголам, которые характеризуются актуальной (в смысле не потенциальной) связью с прямым дополнением, например: *I repeated the familiar story*; «*I liked him*», *she said*; *I heard a miaow behind me, and, turning, saw a lean white cat, on the cistern cover outside the window.*

Окружение может быть факультативным, когда присутствие одного элемента делает лишь возможным наличие другого элемента, не предопределяя, однако, его употребления. Так, например, обстоятельство образа действия, синтаксически связанное с глаголом, является возможным при большинстве полнозначных глаголов. Будет ли эта потенция реализованной, зависит уже от факторов, лежащих за пределами структуры предложения. Присутствие/отсутствие элемента, находящегося в отношениях факультативной дистрибуции с главенствующим словом, определяется содержательными и коммуникативными задачами высказывания. Ср., например: «*I don't know*», *he said* и «*Good evening*», *he said impersonally*; *Lanny smiled* и *He smiled thoughtfully*; «*D'you know what the hotel made the girls pay for a pot of jam?*» *he piped* и «*It's whisky, ain't it?*» *he piped feebly.*

Таким образом, различные элементы окружения некоторой единицы характеризуются различной степенью ожидаемости, которая может быть уверенной ожидаемостью (при обязательно-дистрибутивных отношениях) и неуверенной ожидаемостью (при факультативно-дистрибутивных отношениях). Следовательно, окружение некоторой единицы в предложении может состоять из окружений двух типов — обязательных и факультативных. Так, например, окружение глагола *shut* в предложении *Then she shut the door behind him* включает, помимо подлежащего, прямое дополнение, обстоятельство времени и предложное дополнение. Присутствие прямого дополнения детерминируется семантикой глагола и составляет обязательное окружение *shut*. Что же касается обстоятельства и предложного дополнения, то их присутствие лишь потенцируется глаголом *shut*. Их опущение не влияет на грамматичность предложения (ср. *She shut the door*). Они являются структурно факультативными. Таким образом, в основе структурной обязательности и структурной факультативности лежат дистрибутивные свойства составляющих конструкцию элементов.

Возвращаясь теперь к определению структурной обязательности в статье Е. А. Иванчиковой, отметим, что, видимо, не следовало включать «потенциальную структурную валентность» в число признаков, характеризующих структурную обязательность. Ведь «потенциальная синтаксическая валентность» присуща и элементу, для которого характерна структурная факультативность. Рассмотрим, *например, построения, приводимые в* статье: *Мы веселимся, Он помолодел, Билет куплен, Он уехал, Мальчик побледнел...*, которые не обнаруживают синтаксической незавершенности без каких-либо зависимых от глагола слов. Всем им присуща потенциальная синтаксическая сочетаемость. Так, глаголы приведенного типа могут присоединять обстоятельства степени (*Мы веселимся вовсю, Он заметно помолодел, Мальчик слегка побледнел*), обстоятельства времени (*Мы веселимся сегодня, За последнее время он помолодел, Билет куплен утром, Она уехала на днях*), обстоятельства места, раздельно и в сочетании с другими обстоятельствами. Из всего этого следует, что потенциальная синтаксическая валентность не со-

[3] Z. S. Harris, Structural linguistics, Chicago, 1961, стр. 15—16.

ставляет специфического свойства элементов конструкции, обнаруживающих структурную обязательность.

Что касается причин, определяющих необходимость присоединения к некоторой единице зависимых элементов в условиях синтагматической цепи, то нередко *объяснение* в значительной степени сводится к лексической неполноценности, неполнозначности этой единицы без соответствующего обязательного для нее окружения [4]. Разделяется такое мнение и Е. А. Иванчиковой: «Одним из основных условий структурной неполноты и — одновременно — структурной обязательности конструкции является лексическая неполнозначность какого-либо синтаксического элемента конструкции...» (стр. 85).

Пониманию единиц, имеющих обязательное окружение, как лексически неполноценных противоречит, однако, возможность адекватного объяснения их значения без обращения к элементам окружения (ср., например, определение значения того же *shut* в толковых словарях). Кроме того, лексическая неполноценность, если это действительно лексическая неполноценность, необходимо должна иметь индивидуальный характер у каждого отдельного слова в силу его лексического своеобразия. Между тем, рассматриваемые единицы обнаруживают общие свойства в отношении обязательного окружения. Так, для глаголов типа *shut* (сюда можно отнести еще, например, *possess, love, close, reach, correct, grab, hear, make* и мн. др.) это необходимость прямого дополнения в их окружении, для *stare, look, speak, confer, inquire, glance, talk* и под. — предложного дополнения, существительных типа *sense, glimpse, look, hold, sight* и др., в определенных синтаксических условиях,— определения со значением объекта и т. д. [5] Таким образом, приведенные и подобные им слова обнаруживают определенную направленность, создающую напряженность при их использовании в синтагматической цепи. Напряженность эта разрешается включением в состав их окружения соответствующего члена предложения. Значение направленности является более общим по своему характеру, чем лексическое значение слова. Его обобщенный характер проявляется в том, что присуще оно целым, довольно обширным группам слов и проявляется в условиях синтагматической цепи. Это их структурное свойство, хотя и обусловленное в своих истоках факторами лексико-семантического порядка.

Обязательность окружения может детерминироваться не только имманентно присущей слову направленностью на определенное окружение, необходимо реализуемой при помещении слова в синтагматическую цепь. Причиной, определяющей структурную обязательность, может являться также грамматическое значение, присущее речевой реализации слова как определенной грамматической форме этого слова. Так, форма Perfect Continuous обычно требует определения временных координат протекания действия, обозначаемого глаголом в этой форме. Отсюда наличие обстоятельства времени или соответствующего придаточного предложения в качестве обязательного окружения глагола в этой форме в случаях, когда контекст (соответственно, ситуация) не обеспечивает уточнения временных координат. Например: *The car was spluttering and heaving — it had been spluttering for a minute, I think, before I noticed it, for I had been examining Pyle's innocent question: «Are you playing straight?» «I have been bidding good-night to some places today».* У других временных форм необходимость временной конкретизации путем указания обстоятельств времени в общем не столь велика. Формы Indefinite относят действие просто к плоскости настоящего, прошедшего или будущего, и это может быть достигнуто самой формой. Временная отнесенность действия глагола в форме Continuous обычно очевидна из контекста и требует обязательного эксплицитного выражения лишь вне его. Это же относится во многом и к формам Perfect.

Необходимость в окружении, содержащем указание временной отнесенности действия глагола, резко возрастает, если глагольная форма употребляется в значении, находящемся в известном противоречии с ее категориальным значением. Так,

---

[4] См., например: М. Д. Лесник, Принципы отграничения сильного и слабого типов управления (На материале глагольного управления), «Уч. зап. Тартуского ун-та», 166. Труды по русской и славянской филологии, 7, VII, Серия лингвистическая, 1965; А. Н. Степанова, Дистрибутивные признаки категории дополнения в современном французском языке, сб. «Некоторые вопросы романо-германской филологии», Челябинск, 1965.

[5] Возможное различие обязательного окружения одного и того же слова (нулевое в одном случае, положительное, нередко разное, в другом или других) определяется присущей многим словам способностью реализоваться в речи в качестве разных синтаксических вариантов, различающихся обязательным зависимым окружением. В том случае, если эти синтагматические различия сочетаются с различиями лексического содержания вариантов, можно говорить о лексико-синтаксическом варьировании. Подробнее см.: G. G. Pocheptsov, Syntaktische Wortvarianten, «Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik», 1, 1967.

употребление формы Present Continuous для обозначения действия в будущем обязательно сопровождается указанием времени, например: *I'm leaving to-night.* Устранение обстоятельства вызвало бы переориентацию формы в аспекте временной отнесенности действия.

Обстоятельство типа *always* является непременным спутником формы Continuous с нейтрализованным значением отнесенности действия к определенному моменту, когда форма употребляется с обобщенным значением вневременности, сближаясь с формой Indefinite, например: «*You are always making me bad in front of others*», *she cried passionately while the tears streamed down her face.* Проба на опущение обстоятельства, влекущее за собой, как и в рассмотренном выше случае, изменение временной отнесенности действия (от вневременности к протеканию в момент речи) или делающее конструкцию во временном плане двусмысленной, показывает необходимый здесь характер связи между глаголом и обстоятельством.

И, наконец, в каких терминах должно описываться окружение синтаксического элемента? Все большее распространение приобретает практика описания такого рода явлений в терминах частей речи. Так поступает и автор рассматриваемой статьи о структурной обязательности и структурной факультативности. В статье говорится, например, о необходимости присутствия в синтаксической конструкции в условиях структурной обязательности «определенной формы слова, словосочетания или предложения».

Нам представляется, что описание структуры предложения в системе форм слов и классов слов является не лучшим способом. Такое описание было целесообразным при анализе предложения по непосредственно составляющим. Заметим при этом, что устранение членов предложения в силу фундаментального характера этой категории никогда полностью не было осуществлено. В большинстве грамматических описаний структурального направления сочетаются метод непосредственно составляющих и метод членов предложения (ср., например, грамматическую систему Ч. Фриза). Ведь даже при ортодоксальном анализе по НС членение предложения начинается (а при ином направлении анализа оканчивается) делением его на группу подлежащего и группу сказуемого. Категории слов и форм слов могут и должны использоваться при описании структурной факультативности и структурной обязательности, но в сочетании с категорией членов предложения, которой принадлежит ведущее положение при анализе. Для слова *afraid* как элемента синтаксической конструкции, характеризующейся структурной обязательностью, присуща направленность на объект. Последний соотносим с дополнением и придаточным дополнительным предложением. Средства реализации дополнения могут быть различными. Это может быть, например, и существительное с предлогом (*Afraid of a premature discovery of his powers, he addressed the blossoming stick quickly*: «*Go back*»), и местоимение с предлогом (*He was afraid of himself*), и герундий с предлогом (*I am afraid of being myself*). Важно прежде всего грамматическое содержание окружения, а затем уже формы его выражения.

Изучение структурной обязательности и структурной факультативности в синтаксисе по сути лишь начато. Однако уже сейчас очевидно, что адекватное описание синтаксиса предложения невозможно без учета этой стороны его структуры. Дальнейшая разработка проблемы несомненно внесет новые коррективы в ее понимание.

Г. Г. Почепцов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В Праге с 7 по 13 сентября 1967 г. проходил VI Международный фонетический конгресс. В работе конгресса приняли участие представители 51 страны. Всего было прослушано и обсуждено 370 докладов. В качестве центральной темы конгресса была объявлена тема «Акустический сигнал и его восприятие». Работа конгресса проходила по следующим четырем секциям: I. Физиология и патология речи, II. Акустика и восприятие речи, III. Фонология и лингвистическая фонетика, IV. Биофонетика. На пленарных заседаниях были обсуждены следующие доклады: П. Деллатр (США) «От акустических сигналов к дистинктивным признакам», Л. Чистович (СССР) «Метод исследования решающих правил, применяемых при восприятии речи», Г. Фант (Швеция) «Звук, признаки, восприятие», М. Халле (США) «Порождающая фонология», Г. Унгехойер (ФРГ) «Коммуникативные и экстракоммуникативные факторы в фонетике».

В докладе П. Деллатра была сделана попытка определить акустические корреляты дистинктивных признаков согласных. В качестве исходного материала использовались данные, полученные в результате синтеза речи. Докладчик представил набор акустических моделей изолированных сигналов, необходимых для воспроизведения согласных одного или нескольких языков. Эта система моделей может быть использована в качестве базиса для реконструкции сложных акустических признаков, способных сигнализировать о месте и способе артикуляции.

В докладе Л. Чистович были изложены результаты эксперимента по нахождению гиперповерхностей, разделяющих фонетические категории акустических параметров сигнала. Анализ результатов эксперимента дал возможность сделать ряд интересных выводов о механизме работы слуховой системы человека. Доклад Г. Фанта был посвящен проблемам анализа речи. Особое внимание в докладе было уделено проблемам дистинктивных признаков и механизмам восприятия звуков речи. Доклад М. Халле затрагивал проблему фонологических универсалий в системе нескольких языков. На богатом языковом материале докладчик проиллюстрировал постулируемые им правила порождающей фонологии. Особо была выделена концепция разграничения универсалий в фонологических описаниях. Заключительный пленарный доклад Г. Унгехойера был посвящен рассмотрению коммуникативных и экстракоммуникативных факторов в фонетике.

Отнесение доклада к той или иной секции было чисто условным, так как большинство докладов по своему содержанию охватывало ряд отраслей фонетических наук. Все доклады, прослушанные на I секции «Физиология и патология речи», по их проблематике можно разбить на следующие группы: а) изучение детской речи (доклады Е. Седлачковой, Г. Траби, К. Тейнер), б) изучение процессов речеобразования и восприятия речи глухими (доклады Б. Тервурта, Г. Вагнера, И. Шупачека, Л. Доланского), в) изучение речи при заикании (доклады Е. Курки, Л. Доланского и др.), г) изучение процессов речеобразования путем применения методов кинорентгенографии, электроглоттографии и электромиографии (доклады С. Омана, Я. Ондрачковой), д) общие и частные проблемы речеобразования при афазии (доклады Т. Шиппа, М. Кинсбурна). Тематика докладов, представленных в работе II секции, призвана повторить центральную тему конгресса «Акустический сигнал и его восприятие». Однако и в данном случае тематически вычленяются следующие группы докладов: а) акустический анализ речи (доклады А. Риго, И. Ришела, В. Яссема, В. Чешнера), б) восприятие речевого сигнала (доклады Д. Фрая, Т. Слама-Казаку, С. Керамитчевского, Г. Хейке, Ж.-К. Лафона, Э. Хемпа, А. Ярош, Г. Мейнхольда, Л. Хэрбст, Л. П. Блохиной, Р. К. Потаповой, Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкой, Л. Р. Зиндера, З. Джапаридзе, И. Лущихиной), в) проблема синтеза речи (доклады Г. Линднера, Р. Бекера,

Д. Лавера, Г. Фанта, П. Янота), г) проблемы конструирования аппаратов, предназначенных для анализа и синтеза речи (доклады Д. Менерта, Г. Эраса, М. Филина), д) методологические проблемы анализа речи (доклады В. А. Артемова, Г. Лютке).

Среди указанных докладов наибольший интерес с точки зрения концепции анализа речевого спектра представляет доклад В. Ш. Чешнера (ГДР) «О роли огибающей в процессе анализа речевого спектра». Проблема анализа спектра звуков речи ставится здесь не в плане определения формантного состава, а разбирается с точки зрения информативности всего спектрального сечения в целом. Следует указать также на доклад Г. Линднера (ГДР) «Оценка изолированных синтезированных гласных методом последовательного контраста». Доклад был посвящен проблеме восприятия изолированных синтезированных гласных, предявленных аудиторам в их различных комбинациях.

Доклад П. Янота «Восприятие ударения чешскими аудиторами» содержал интересные данные, полученные в результате эксперимента, основанного на использовании синтезированных речевых стимулов и восприятии последних как ударных, так и безударных речевых моделей.

Доклады, прочитанные в третьей секции, группировались вокруг темы «Фонология и лингвистическая фонетика». В докладе С. К. Шаумяна (СССР) «Фонологическая система как единство комплементарных диакритических систем» дано описание двухступенчатой теории фонологии, согласно которой единицы фонологической системы должны быть расщеплены на комплементарные диакритические элементы. Для исследовательской практики двухступенчатая теория может служить, во-первых, теоретической базой для особой области, которую докладчик называет экспериментальной фонологией, во-вторых, базой для построения блоков фонологического кодирования в порождающих грамматиках.

В докладе П. Гарвина и Д. Уорта (США) «Диагностическая функция идиосинкретической фонетики» выдвигается гипотеза о возможности установления связи между определенными параметрами, которые авторы называют диагностическими, и поведением человека, его отношением к фактам и событиям окружающей среды. Авторы предлагают методику для выявления этих диагностических параметров. Проблемам изучения интонации было посвящено 65 докладов [К. Цахариас (ГДР), Г. Шедлих и Г. Ерас (ГДР) и др.].

Доклады, прослушанные на IV секции «Биофонетика», охватывали довольно неоднородную тематику: развитие и становление речи у детей, исправление речевых дефектов, общие проблемы восприятия речи, проблемы отчетливости звучания. На этой секции было обсуждено 20 докладов, вызвавших оживленную дискуссию. Среди материалов, представленных на секции, были кинофильмы чешских и японских исследователей. Так, в частности, демонстрировался фильм о работе речевого аппарата человека, сделанный путем прямой киносъемки артикуляционного аппарата у испытуемого, перенесшего операцию лица. В японском фильме демонстрировались методы обучения речи глухонемых. Фильм сопровождался синхронной магнитофонной записью.

Наряду с обсуждением докладов на конгрессе был решен целый ряд организационных вопросов, связанных с дальнейшим развитием фонетических знаний. Было проведено организационное собрание «Международного общества по фонетическим знаниям», на котором был утвержден его устав, избран президент — Б. Мальмберг (Швеция), вице-президенты — Р. Якобсон (США), Р. И. Аванесов (СССР), В. А. Артемов (СССР), Е. Цвирмер (ФРГ) и М. Ониши (Япония). Состоялось заседание постоянного Совета по организации Международных конгрессов по фонетическим знаниям, представителем этого Совета от СССР является В. А. Артемов. В состав Международной фонологической ассоциации избран Р. И. Аванесов. Следует подчеркнуть, что все доклады, представленные на конгрессе, отражают не только современное положение науки об акустическом сигнале в плане его образования и восприятия, но также и намечают ту тенденцию, которая характеризует фонологические знания в их развитии. Работа конгресса показала, что: а) общепризнан фактор полиинформативности речевого сигнала; б) подтверждена целесообразность использования лингвистических данных в деле создания аппаратуры для идентификации речевого сигнала; в) продемонстрированы достижения в области создания анализирующих и синтезирующих устройств; г) предприняты попытки универсализировать методы анализа фонемного и интонемного состава языков; д) доказана необходимость изучения речевого сигнала полиаспектно для получения большей информации.

В. А. Артемов, Л. П. Блохина, Р. К. Потапова (Москва)

*

С 4 по 7 апреля 1967 г. в I МГПИИЯ им. М. Тореза состоялась Межвузовская научная конференция на тему «Уровни языка и их взаимодействие». В работе конференции приняли участие сотрудники Института языкознания и Института русского языка АН СССР, Ленинградско-

го отделения Института языкознания АН СССР, Института языковедения АН УССР Института языкознания АН БССР, I МГПИИЯ им. М. Тореза, Московского, Ленинградского, Белорусского, Горьковского, Кишиневского, Пермского, Харьковского и Самаркандского ун-тов, Минского, Ташкентского, Алма-Атинского, Горьковского, Иркутского и других пед. ин-тов.

На пленарном заседании с докладом «Иерархия уровней языка по признаку жесткого моделирования» выступила В. Н. Ярцева (Москва). Наиболее плодотворным, по мысли докладчика, является сравнение уровней языка, исходя из понятия модели. Выделяется «жесткое», «полужесткое» и «нежесткое» строение моделей, а также «жесткий», «полужесткий» и «свободный» тип соотношения моделей. Характер строения моделей в разных уровнях языка важен для определения специфики каждого уровня и для выяснения их отношений между собой.

В докладе Г. В. Колшанского (Москва) «Проблема стратификации структуры языка» высказывается мысль, что стратификация языка по уровням должна опираться не на горизонтальный разрез, а должна ставить себе целью вскрыть соотношение единиц в сфере языка по вертикали. Понятие состава языка Г. В. Колшанский предлагает определять термином «система языка», а понятие уровней языка — термином «структура языка».

В. Г. Адмони (Ленинград) в докладе «Уровни языка или сферы языка? Порядок слов как результат взаимодействия различных уровней» утверждает, что в языке существуют ярусы, надстроенные друг над другом — фонетика, морфология, синтаксис, но есть и ряд других пластов языка, которые соотносятся с системой «фонетика — морфология — синтаксис» значительно сложнее. В. Г. Адмони полагает, что эти сложные пласты языка целесообразно именовать сферами языка.

В докладе В. В. Мартынова (Минск) «Два уровня языковой действительности и двойное членение языка» рассматривается теория уровней Э. Бенвениста и концепция двойного членения языка А. Мартине и высказывается мнение, что исключение класса морфем из множества классов парадигматических единиц позволяет получить внутренне непротиворечивую концепцию двойного членения языка и теорию двух уровней языковой действительности.

С докладом «Части речи и морфемы в связи с проблемой уровней языка» выступил А. М. Мухин (Ленинград). Докладчик подчеркнул, что при разграничении уровней языка со специфическими для них единицами, необходимо учитывать и их реальное взаимодействие. Последнее отражается в использовании лингвистом понятий об единицах одного уровня при изучении единиц другого уровня языка. Изучая структуру предложений, лингвист пользуется понятием частей речи, а при изучении структуры самих частей речи не возникает необходимости использовать понятие предложения.

В докладе И. Р. Гальперина (Москва) «О характерных признаках уровня языка» указывается, что уровни языка следует определять исходя из соотношения формальных элементов и элементов содержания на каждом уровне. В докладе прослеживается соотношение плана выражения и плана содержания на фонологическом, морфологическом, лексико-фразеологическом и синтаксическом уровне.

В докладе «Сервологический уровень системы языка...» Н. А. Слюсарева (Москва) предложила выделять в пределах языковой системы основные и дополнительные уровни. По мнению докладчика, единицы промежуточных уровней обладают свойствами, противоположными свойствам единиц основных уровней: их дифференциальные признаки совпадают с признаками единиц высшего уровня. Функционирование же этих единиц связывает их с нижележащим уровнем.

В прениях по докладам выступали Т. П. Ломтев, Т. В. Булыгина, Б. С. Хаймович, Г. С. Клычков, И. А. Хабаров. Основное внимание было уделено двум вопросам: целесообразно ли применение в лингвистике самого понятия «уровень» и следует ли рассматривать уровни как свойства объекта или как фазы лингвистического анализа.

На секции моделей языка было прочитано семь докладов, посвященных различным проблемам языкового моделирования. В прениях основное внимание привлекли вопросы, связанные с аппликативной порождающей моделью, проблема типологии трансформаций, интерпретация их на конкретном уровне, проблема просодии. С. К. Шаумян (Москва) выразил мнение, что в настоящее время структурная лингвистика может быть охарактеризована как теория моделей языка. Моделирование в пределах современной лингвистики включает теоретико-информационное изучение языка, вероятностно-статистические исследования, теорию порождающих грамматик и т. д. Главной задачей лингвистического моделирования является изучение функционирования языка вне времени и пространства. Однако переход к исследованиям с учетом времени и пространства — ближайшая задача лингвистики, и к ее решению уже приступили. В заключение С. К. Шаумян предложил заменить термин «структурная лингвистика» и назвать современную науку о языке «теорией моделей».

На секции грамматики было прочитано восемь докладов, среди них доклад Е. В. Гулыги (Москва) и Е. И. Шендельс (Москва) «К вопросу о языковых

макро- и микрополях». Докладчики полагают, что средства разных уровней связаны между собой не случайными отношениями, а отношениями, позволяющими установить определенные закономерности. Они образуют системы, названные в докладе макрополями. Вводится понятие микрополя, представляющего собой отдельный семантический участок макрополя, и описывается строение поля.

В прениях по докладам наибольший интерес вызвали такие вопросы, как понятие «поля», разграничение морфологического и синтаксического уровней, парадигматика и синтагматика. Участники конференции высказали мнение о необходимости созвать конференцию, посвященную проблеме лингвистического поля.

На секции лексикологии было прослушано пять докладов. В докладе Р. С. Гинзбург (Москва) «О двух уровнях семантического анализа» было высказано мнение, что лингвистический и экстралингвистический уровни семантического анализа отражают взаимосвязь и взаимообусловленность двусторонней природы языковых единиц. Докладчик подчеркнул далее, что экстралингвистическое значение используется фактически во всех тех случаях, где оно декларативно исключается.

В прениях основное внимание было посвящено вопросу о возможности описания языка без привлечения семантики, о путях формализации лингвистических исследований и др.

На секции фразеологии и стилистики было прочитано семь докладов. Большинство докладчиков высказало точку зрения, что фразеология образует особый уровень языка.

На заключительном пленарном заседании с докладом «О лексико-грамматическом тождестве единиц языка» выступила М. Д. Степанова (Москва). В докладе рассматривается тождество корневых морфем при грамматических и лексических процессах и тождество основ при взаимопереходе частей речи.

В докладе С. К. Шаумяна «Правила корреспонденции в аппликативной порождающей модели» описывается работа фенотипического блока, цель которого состоит в установлении правил корреспонденции между генотипическим языком, порождаемым генотипическим блоком, и данным конкретным естественным языком. В докладе О. С. Ахмановой (Москва) и Н. И. Серковой (Москва) «К вопросу об уровнях синтаксической абстракции» говорится о двух уровнях абстракции и предлагается для ясности лингвистического описания уточнить термины «тагмема» и «гипертагмема». Т. П. Ломтев (Москва) в докладе «Распределение предложений по уровням порождения их структуры» дает понятие уровня на основе так называемого отношения порядка. Отношение порядка есть всякое отношение, которое отвечает условиям антирефлексивности, антисимметрии и транзитивности, а также наличию первого элемента. Отнесение лингвистических объектов к тем или иным уровням определяется отношением присущего им порядка. В докладе дается распределение предложений по уровням на основе деривационных отношений между ними. Отношения деривативности отвечают основным условиям отношения порядка.

В заключительном слове Л. Й. Базилевич (Москва) указал, что проблема уровня — часть наиболее общей теории языка. Сам термин этот помогает раскрыть связь между отдельными разделами лингвистики. Л. И. Базилевич остановился на наиболее важных проблемах, поставленных на конференции, и отметил, что в ходе обсуждения были сделаны важные шаги на пути их решения.

О. Л. Каменская (Москва)

•

В институте языкознания АН СССР с 20 по 22 июня 1967 г. проходило рабочее совещание по проблемам нормы и социальной дифференциации языка, которое проводилось в рамках координационной темы «Развитие немецкого литературного языка XVI—XVIII вв.», разрабатываемой — согласно договору о сотрудничестве — германистами ГДР и Советского Союза. В совещании приняли участие сотрудники сектора германских языков (ИЯЗ, Москва) и сектора индоевропейских языков (ЛО ИЯЗ), германисты ГДР (Г. Фойдель, Г. Изинг, Р. Гроссе, В. Флайшер, Г. Кеттманн, И. Шильдт) и ЧССР (Э. Скала), а также работники московских вузов.

В течение трех дней работы совещания были прослушаны и обсуждены 12 докладов: пять из них были прочитаны представителями ГДР и ЧССР, а семь — советскими учеными.

По своей тематике доклады группировались вокруг двух основных проблем: литературная норма в ее различных аспектах и социальная дифференциация языка в соотнесенности с другими видами языковых дифференциаций (территориальными, хронологическими, функционально-стилистическими). Упомянутые вопросы рассматривались в первую очередь на материале различных германских языков — немецкого, английского, нидерландского, но наряду с этим привлекались и данные других языков, в частности русского.

Проблема литературной нормы рассматривалась в докладе Ф. П. Филина (Москва) «О нормах и стилях литературного языка». Определяя норму как совокупность общепринятых языковых средств, докладчик считает необходимым разграничивать нейтральное «ядро» нор-

мы, т. е. те языковые средства, которые употребляются в любой речевой ситуации, и стилистически окрашенные пласты, к которым принадлежат явления, используемые только в отдельных видах языкового общения. Ф. П. Филин предложил также разграничивать формы существования языка или языковые подсистемы (к которым он относит язык науки, язык художественной литературы, различные производственные диалекты и т. д.), и языковые стили. Языковые подсистемы обладают своими собственными нормами и находятся как бы вне стилистической окраски, в то время как тот или иной стилистический эффект возникает лишь при нарушении этих норм.

О большом теоретическом значении проблемы литературной нормы говорилось и в докладе Э. А. Макаева (Москва) «К методике сопоставительного изучения современных германских литературных языков». Эта проблема была затронута им в связи с рассмотрением принципов сопоставительного изучения близкородственных литературных языков. Отмечая, что советскими языковедами на материале славянских, германских и романских языков успешно изучаются процессы формирования литературных языков и становление их норм, Э. А. Макаев считает возможным применить достигнутые результаты, в частности, к сопоставительному изучению германских литературных языков и их вариантов (например, немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии, английского — в Англии и США, нидерландского — в Бельгии, шведского — в Финляндии и т. д.). Говоря о возможных принципах такого сопоставительного описания, Э. А. Макаев подверг критическому анализу понятие «общего ядра», предложенное Ч. Хоккетом. Поскольку при сопоставительном описании вариантов литературного языка черты различия не менее существенны, чем черты сходства, понятие общего ядра является, по мнению докладчика, неэкономным и мало оперативным. Основное внимание при изучении различных вариантов литературного языка должно уделяться не структурным характеристикам единиц различных уровней, но описанию всего многообразия функционирования сопоставляемых единиц в двух литературных вариантах.

В докладе «О гетерогенном характере современного нидерландского языка» С. А. Миронов (Москва) высказал тезис о том, что литературная норма определенного языка чаще всего является продуктом отвлечения и обособления от той или иной диалектной базы и поэтому обычно не может быть идентифицирована с совокупностью особенностей какого-либо одного диалекта. Подобным образом обстоит дело, в частности, с нидерландским литературным языком, нормы которого не сводимы к голландской диалектной базе, а обнаруживают весьма сложное переплетение разнодиалектных, гетерогенных по происхождению особенностей. При этом докладчик отметил, что соотношение между гетерогенными элементами литературной нормы нидерландского языка на разных его уровнях, а также в устной и письменной его формах различно.

Вопросам оформления лексической нормы литературного немецкого языка был посвящен доклад Г. Изинга (Берлин) «К историко-лингвистической характеристике словаря М. Лютера». Докладчик считает, что влияние М. Лютера на образование общего словаря немецкого литературного языка может быть правильно оценено лишь на основе сравнительного изучения «письменных диалектов» периода позднего Средневековья, существовавших до реформатора.

На обширном диалектографическом материале докладчик показал, что при переводе библии М. Лютер весьма последовательно придерживается в своем словоупотреблении в одних случаях северонемецких, а в других — южнонемецких особенностей, чем он во многих случаях и предопределил дальнейшее развитие единого немецкого словаря. Лишь в редких случаях наблюдаются отклонения от этой тенденции. Таким образом, складывание лексической нормы литературного немецкого языка рассматривается Г. Изингом как процесс интеграции разнодиалектных по происхождению лексем в единую систему.

В докладе В. Флайшера (Лейпциг) «О формировании нововерхненемецкой системы графем» было подвергнуто анализу становление инвентаря графем немецкого литературного языка. При этом докладчик подчеркнул, что развивающийся письменный литературный язык отнюдь не является отражением какого-либо используемого в устном общении интердиалекта, а представляет собой качественно новую систему, в которой оказываются органически спаянными гетерогенные по происхождению элементы, относящиеся к разным письменным традициям.

В. Флайшер считает, что инвариантная основа системы графем отчетливо выявляется еще в верхнесаксонской и тюрингенской письменной традиции XIV в. Вариации графем и отдельных написаний, число которых вплоть до XVI в. продолжает расти, все же не выходят за рамки определенных закономерностей.

При изучении становления современной системы графем лингвогеографический и лингвосоциологический подход следует дополнить, с точки зрения докладчика, структурным подходом.

Характеристике некоторых особенностей литературных норм в написанных на немецком языке памятниках из Чехословакии посвятил свой доклад «Стабильность норм в немецких памятниках

Чехословакии XVI—XVII вв.» Э. Скала (Прага). Он отмечает, что в XVI в. нормы немецкого языка здесь весьма близки к так называемой восточносредненемецкой норме. Однако в связи с католической реакцией, начавшейся после 1620 г., языковое развитие в данном направлении временно прекращается. С этого времени в письменном немецком языке в Чехословакии наблюдается ориентация на юго-восточный (австрийский) вариант немецкого языка. Лишь эпоха Просвещения (XVIII в.) снова приводит к победе «саксонского» варианта литературного языка. По мнению докладчика, социологический подход не позволяет объяснить наблюдающуюся в немецких памятниках из Чехословакии вариантность в орфографии, грамматических формах и в словаре.

Вопросам становления синтаксической нормы немецкого литературного языка был посвящен доклад И. Шильдта (Берлин) «Рамочная конструкция и ее оформление в средненемецких и южнонемецких переводах библии XIV—XVI вв.». Докладчик показал на материале переводов библии, относящихся к различным районам немецкой языковой области, известные различия в характере и темпах оформления рамочной конструкции. В середине XIV в. данная конструкция уже довольно часто встречается, например, в памятниках, изданных на территории тевтонского ордена, тогда как на юге данное явление используется еще сравнительно редко даже в середине XV в. В XVI в. юг продолжает отставать, если не по числу рамочных конструкций, то по их характеру. Сравнивая язык Экка и Лютера, нетрудно заметить, что у последнего рамка более объемна и что она охватывает более разнообразные по типу члены предложения.

Социологические аспекты изучения литературных языков подверглись рассмотрению в совместном докладе М. М. Гухмана и Н. Н. Семенюк (Москва) «О социальном аспекте рассмотрения литературного языка». Докладчики отметили, что вопросы социальной дифференциации изучаются в немецкой традиции преимущественно на материале диалектов и обиходно-разговорной формы языка и что гораздо менее исследован с указанной точки зрения литературный язык. Вопросы характеристики литературного языка в зависимости от большей или меньшей широты его общественных функций тесно переплетаются с проблемой функционально-стилистического членения языка. Для различных исторических периодов существования литературного языка соотношение социального и функционально-стилистического аспектов может существенно меняться. Сдвиг в их соотношении, заключающийся в постепенном обособлении функциональных характеристик от социальных, был рассмотрен в докладе на материале немецких письменных памятников, относящихся к XIII—XVIII вв. (рыцарская литература, документы, листовки, периодическая печать). В заключение докладчики указали на некоторые возможные социологические аспекты рассмотрения литературного языка.

Проблема соотношения социальной и территориальной дифференциации была поставлена на материале английского языка в докладе В. Н. Ярцевой (Москва) «К вопросу о территориальной основе социальных диалектов». Формирование литературного языка на базе определенных территориальных диалектов ведет, с точки зрения докладчика, к смещению в соотношении этих диалектов, которые к тому же постепенно приобретают характер территориально-социальных. В процессе исторического развития литературного языка элементы, вытесняемые из литературного употребления и генетически связанные с тем или иным территориальным диалектом, могут становиться признаками диалектов социальных (ср. лондонское «кокней»). В. Н. Ярцева отметила, что эти социальные диалекты развиваются в постоянном сопоставлении с литературным языком. Вместе с тем негативная оценка нелитературных форм речи обычно ярче всего проявляется в период стабилизации литературного языка. Позднее возможна известная «либерализация» нормы, в определенной степени допускающей проникновение просторечных элементов через устную речь в разговорный язык.

В докладе Р. Гроссе (Лейпциг) «О двух разновидностях немецкой обиходно-разговорной речи (landschaftliche und gemeinsprachliche Umgangssprache)» она рассматривалась в целом как одна из форм существования немецкого национального языка. Несмотря на значительную вариантность, данная форма обнаруживает, с точки зрения докладчика, тенденцию к системности. Общий обиходно-разговорный язык (gemeinsprachliche Umgangssprache) имеет во всех районах определенный набор совпадающих моделей. В то же время отдельные территориальные разновидности обиходно-разговорного языка (landschaftliche Umgangssprache) характеризуются наличием определенных территориально-связанных элементов. В своей основной социальной функции — например, в качестве языка повседневного общения — оба эти типа разговорного языка выступают, как правило, нерасчлененно.

Отдельные территориальные разновидности обиходно-разговорного языка характеризуются прежде всего специфическими чертами своих «закрытых» подсистем. Напротив, специфика общенемецкого обиходно-разговорного языка наиболее отчетливо выявляется в «открытых» системах, т. е. в синтаксисе и в лексике.

Социально обусловленным разграничениям в произношении посвятил свой доклад «К вопросу о формах проявления социальной дифференциации в звуковой стороне языка» М. В. Раевский (Тула). По мнению докладчика, формой проявления социальной дифференциации является, в конечном счете, сохранение тех или иных местных особенностей в литературном произношении отдельных социальных групп, что теснейшим образом связано с образовательным уровнем говорящих и непосредственно обусловленными им традициями семейного или социально-группового говорения. Степень проявления местных произносительных особенностей отражает степень индивидуального овладения орфоэпическим стандартом.

Характеристике лексических форм современного немецкого языка был посвящен доклад О. И. Москальской (Москва) «Вариантность и дифференциация в лексике литературного немецкого языка». Отмечая связь понятия вариантности с понятием литературных норм, О. И. Москальская понимает под вариантностью свободное варьирование, при котором варианты не несут дополнительной информации. Напротив, под дифференциацией в языке понимаются все явления, связанные с ограничением или специализацией употребления. Дифференциация не связана с рамками литературной нормы и предполагает избирательность.

Вариантность наиболее характерна для формальных сторон языка. Напротив, его смысловая сторона характеризуется преобладанием явлений синонимии и дифференциации. О. И. Москальская подробно остановилась на типах лексических дифференциаций в современном немецком литературном языке, которые она выделяет, исходя из характера дополнительной информации.

В развернутом сообщении Г. Кеттманна (Берлин) рассматривалась проблема социально обусловленных дифференциаций в орфографии. В связи с этим ставился вопрос об оценке роли М. Лютера при становлении орфографической нормы немецкого литературного языка. Анализ письменных памятников из Виттенберга, относящихся к эпохе Реформации, позволил выявить в присущих отдельным сферам письменности орфографических канонах наряду с общим инвариантным ядром известные различия, определенным образом соотносящиеся с социальным положением и образовательным цензом писавших. Судя по письмам и рукописям М. Лютера, в своей орфографии он целиком примыкает к университетским кругам. Поэтому в плане орфографии, видимо, правильнее будет говорить не о «языке М. Лютера», а о «языке Виттенбергских печатников во времена Лютера».

В дискуссии по докладам выступили В. М. Жирмунский, М. М. Гухман, Р. Гроссе, О. И. Москальская, Э. Г. Ризель, Г. Изинг, Г. Кеттманн, Э. Скала, В. Флайшер, А. Д. Швейцер.

В большинстве выступлений отмечалась необходимость выработки более точной и четкой терминологии, использующейся при изучении различных видов и форм языковой дифференциации. В частности, М. Гухман отметила, что для метаязыка лингвистики вообще характерна довольно широкая синонимия. Однако, если терминологическая синонимия — явление, в принципе допустимое, то, напротив, менее желательной является полисемия терминов. Так, например, термин «подсистема», видимо, целесообразно употреблять для обозначения разных форм существования языка (диалект, литературный язык и т. д.), в то время как его вряд ли следует использовать по отношению к отдельным функциональным дифференциациям в рамках литературного языка. Близкая точка зрения была высказана и В. М. Жирмунским. По его мнению, к жанровым разграничениям не следует применять термина «подсистема», ибо язык отдельных жанров отличается прежде всего частотностью тех или иных явлений.

На необходимость учитывать наряду с другими видами лингвистических разграничений и национальные дифференциации литературного языка указала в своем выступлении Э. Г. Ризель.

А. Д. Швейцер высказался в защиту концепции «общего ядра», в основе которой лежит, как он считает, правильное представление о вариантах литературного языка как пересекающихся системах.

В заключительном слове В. М. Жирмунский подчеркнул плодотворность состоявшейся конференции. Вопросы, обсуждавшиеся на ней, должны разрабатываться дальше. Особое внимание следует уделять выработке точной и однозначной терминологии и уточнению основных теоретических понятий, связанных с изучением разных видов дифференциаций языка. Эти задачи являются первостепенными для совместной работы советских и немецких германистов.

Б. А. Абрамов, Н. Н. Семенюк (Москва)

*

В Ульяновске 18—22 сентября 1967 г. проходила Поволжская конференция по ономастике, организованная Институтом языкознания АН СССР, Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР и Ульяновским пед. ин-том им. И. Н. Ульянова. Многочисленные участники конференции, представители городов ряда союзных и автономных республик СССР, обсудили 73 доклада по раз-

личным отраслям ономастики, преимущественно славянской, финно-угорской, тюркской.

Наибольшее количество докладов было посвящено проблемам топонимии, включая гидронимию и микротопонимию.

В ряде докладов были продемонстрированы возможности историко-словообразовательного и этимологического исследования топонимической лексики. Н. М. Шанский (Москва) в докладе «Двуосновные наименования городов в русском языке» показал разнообразие топонимов, по морфологическому составу представляющих собой слитные морфемы; сюда входят слитные сложные слова, сложно-суффиксальное переоформление готовых топонимов, результат аббревиации слов и выражений, образования посредством аффиксоидов *-горск*, *-город*, *-град*, *-градск*. Вопросы словообразования топонимов ставились также в докладе Д. Э. Земзаре (Рига) «Названия лугов в западной части Латвии», М. Т. Муминова (Свердловск) «Словообразовательные и семантические типы татарской микротопонимии юго-запада Тюменской области», О. В. Султаняева (Кокчетав) «Казахские микротопонимы Кокчетавской обл., образованные от личных имен».

В докладе Ф. И. Гордеева (Йошкар-Ола) «Происхождение гидронима *Волга*» выдвинута гипотеза о балтийском происхождении гидронима. С. В. Фролова (Куйбышев) в докладе «Древнерусские топонимы от мужских личных имен с мягкой основой», построенном на материале памятников старшей поры, показала, что многие топонимы происходят от посессивов. Вопросам этимологии топонимов были посвящены также доклады С. К. Бушмакина (Москва) «Воршудские имена и топонимия удмурдского народа», Н. И. Панина (с. Желанное, Шацкий р-н Рязанской обл.) «Корни и форманты в гидронимии Поцинья» и А. В. Суперанской (Москва) «Гидронимия Крыма и северо-западного Кавказа».

Вопросу об отношении топонимического материала к апеллятивной лексике, в особенности к местным географическим терминам, были посвящены доклады: В. В. Владимирская (Москва) «Взаимосвязь лингвистического устарения слова и топонимических реликтов»; Ю. Г. Вылежнев, Л. А. Василевская, Н. Ф. Костюк, М. В. Митягина, Т. А. Рябова (Пермь) «Материалы к „Словарю местных географических терминов Пермской области“», В. Дарбакова (Москва) «Историко-географическое значение названия гор в МНР».

В ряде докладов рассматривалось отражение в топонимии процессов взаимодействия лингво-этнических групп населения: В. Ф. Барашков (Ульяновск) «Лингвистические процессы и топонимия», В. Д. Беленькая (Москва) «Проблема синонимии и аббревиатур в топонимии», Г. П. Вуоно (Волгоград) «Адаптация мансийских топонимов русским языком».

В некоторых докладах была показана возможность решения на топонимическом материале вопросов заселения и истории соответствующей территории: Э. Г. Беккер (Томск) «Об информации, которую несут селькупские термины», А. Б. Булатов (Казань) «Топонимия в путешествии Ибы-Фадлана, на карте Фра-Муро, на картах XV—XVI вв.», И. В. Власова (Москва) «Топонимия междуречья Северной Двины и Волги», Т. А. Исаева (Горький) «Микротопонимия с. Иванцева Лукояновского р-на Горьковской области (К вопросу об исторической обусловленности названий)», Л. Л. Трубе (Горький) «Этнонимы в топонимии Горьковской области».

В докладе В. А. Никонова (Москва) «Названия улиц в Симбирске-Ульяновске» были показаны изменения топонимов.

Описание лексико-семантических групп топонимов содержалось в докладе А. С. Крюковой (Уральск) «Семантический и словообразовательный анализ микротопонимов Приуралья». И. А. Воробьева (Томск) в докладе «Некоторые вопросы функционирования топонимов в живой речи» показала, что топонимические микросистемы взаимодействуют с более крупными топонимическими системами.

Вопросы антропонимии рассматривались на конференции как в аспекте этимологическом и историко-этнографическом, так и социальном. Вопросы происхождения личных имен и фамилий ставились в докладах Н. Ф. Мокшина (Саранск) «Мордовские дохристианские личные имена», Г. Я. Симиной (Ленинград) «Фамилия и прозвище», Т. И. Теплящиной (Москва) «Древние имена бессермян» и др. В историко-этнографическом плане исследовались антропонимы в докладах Д. Ш. Джарылгасиновой (Москва) «Вторые имена как историко-этнографический источник», М. В. Крюкова (Москва) «Историческая ономастика, социальный аспект ее исследования», Г. Ф. Саттарова (Казань) «Социальные титулы и древние тюрко-татарские личные имена», М. Ф. Семеновой (Рига) «Русские личные имена в средневековых иноязычных документах».

Многие докладчики подчеркивали социальность личных имен. В докладе В. А. Никонова «Русские личные имена», построенном на обширном материале, собранном в ЗАГС'ах центральных областей и Поволжья, прослеживалась динамика личных имен с XVIII в. до современности, а также был дан анализ состава новых личных имен. Образованию уменьшительных имен посвящен доклад

Е. Ф. Данилиной (Пенза) «Категория ласкательности в личных именах».

Антропонимия научной и публицистической литературы была представлена *докладом М. К. Шарашовой* (Москва) «Собственные имена в произведениях В. И. Ленина».

На конференции рассматривались также вопросы этнонимии. В докладе Я. В. Чеснова (Москва) «Принципы подхода к этнонимам как к источнику по этногенезу» доказывалась стадиальность и типологичность названий племен и народов. В. А. Никонов в докладе «Формы этнонимов» показал избирательность суффиксальной характеристики этнонимов в славянских языках, региональность этнонимических формантов. В докладах Е. В. Ухмылиной (Горький) «Названия и прозвища русского населения Горьковской области» и В. И. Тагуновой (Муром) «Наименования жителей некоторых селений Владимирской и Горьковской областей» рассматривались местные прозвища жителей (*водохлёбы*, *кокурники* и пр.).

На конференции наблюдался живой интерес к практическому приложению данных ономастики. Были выслушаны запросы юридической комиссии при Совете Министров РСФСР. Участники конференции обсуждали также практические *вопросы произношения, грамматического* оформления и написания топонимов и антропонимов.

В. А. Никонов подвел итоги работы конференции и указал некоторые направления ономастических исследований: по топонимии — изучение языковых пластов топонимии Поволжья, топонимических формантов, стратиграфии топонимов и др.; по антропонимии — изучение динамики личных имен, антропонимической эстетики, истории фамилий в Поволжье; по этнонимии — изучение этимологии этнонимов, региональных прозвищ населения; на очереди — изучение зоонимии, космонимии, товарных знаков (наименования фирм, товаров, магазинов и т. д.).

Вторую Поволжскую конференцию по ономастике решено провести в г. Горьком в сентябре 1968 г.

Т. А. Исаева, Е. В. Ухмылина

(Горький)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ — «Български език»
ВЯ — «Вопросы языкознания»
ВИ — «Вопросы истории»
ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
ВФ — «Вопросы философии»
ВДИ — «Вестник древней истории»
ИАН ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
ИАН ОТН — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»
«Р. яз. в шк.» — «Русский язык в школе»
«Ин. яз. в шк.» — «Иностранные языки в школе»
РФВ — «Русский филологический вестник»
ЖМНП — «*Журнал Министерства народного просвещения*»
ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР»
СбНУ — «Сборник за народни умотворения»
ФН — «Доклады высшей школы. Филологические науки»
ADAW — «Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften», Klasse für Sprache, Literatur und Kunst
AfslPh — «Archiv für slavische Philologie»
AKGW — «Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen»
AL — «Acta linguistica»
AO — «*Archiv orientalni*»
APAW — «Aphandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.-hist. Klasse
BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego»
BSLP — «Bullétin de la Société de linguistique de Paris»
BSOS — «Bulletin of the School of Oriental studies»

BCLC — «Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague»
BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»
CFS — «Cahiers F. de Saussure»
IF — «Indogermanische Forschungen»
IIJ — «Indo-Iranian journal»
IJAL — «International journal of American linguistics»
JA — «Journ. asiatique»
JASA — «Journ. of the Acoustical society of America»
JEGh — «Journ. of English and Germanic philology»
JФ — «Јужнословенски филолог»
JP — «Język polski»
JRAS — «Journ. of the Royal Asiatic society»
JRSS — «Journ. of the Royal statistical society»
JSFOu — «Journ. de la Société finno-ougrienne»
KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», hrsg. von A Kuhn
MSLP — «Mémoires de la Société de linguistique de Paris»
MSFOu — «Mémoires de la Société finno-ougrienne»
MSOS — «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin»
NTS — «Norsk tidsskrift for sprogvidenskar»
PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Tübingen и Halle)
PMLA — «Publications of the modern language assotiation of America»
RÉG — «Revue des études grecques»
RÉSl — «Revue des études slaves»
RF — «Romanische Forschungen»
RKJL — «Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego»
RKJW — «Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego»
RLR — «Revue de linguistique romane»
RO — «Rocznik orientalistyczny»
SaS — «Slovo a slovesnost»
SMS — «Sborník matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu hístoriu»
SDAW — «Sitzungsberichte der Deutchen Akad. der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SPAW — «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften»
Stud. or. — «Studia orientalia»
SWAW — «Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften»
TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»
TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»
UAJb — «Ural-Altaische Jahrbücher»
UJB — «Ungarische Jahrbücher»
ZfceltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»
ZPhon — «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft»
ZfS — «Zeitschrift für Slavistik»
ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»
ZfromPh — «Zeitschrift für romanische Philologie»
ZfdPh — «Zeitschrift für deutsche Philologie»
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft»

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакцию других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

CONTENTS

Articles: V. V. Vinogradov (Moscow). Perusal of Old Russian texts and historical-etymological puns; V. M. Žirmunsij (Leningrad). On some problems of Turkic folk verse; **Discussions**: M. Räsänen (Helsinki). On Ural-Altaic language affinity; A. F. Losev (Moscow). On the possibility of combining classical and structural linguistics; A. Y. Saikevič (Moscow). An experiment of statistic determination of functional styles; L. M. Skrelina (Minsk). Some observations on linguistic change; **Materials and notes**: V. I. Lytkin (Moscow). Labialized middle vowels in the Perm languages; D. S. Staniševa (Sofia). Some problems of syntactic analysis; S. Rospond (Wrocław). The importance of Old Russian onomastics for history; **From the history of linguistics**: I. K. Beloded (Kiev). Scientific heritage of P. I. Žiteckij and contemporary science; **Critics and bibliography**; **Letters to the Editorial Office**: G. G. Počepcov (Kiev). On obligatory and facultative environment; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: V. V. Vinogradov (Moscou). Lecture des textes vieux-russes et calembours historico-étymologiques; V. M. Žirmunskij (Léningrad). Sur quelques problèmes du vers populaire dans les langues turciques; **Discussions**: M. Räsänen (Helsinki). Sur l'affinité linguistique des langues ouralo-altaiques; A. F. Losev (Moscou). Sur la possibilité de combiner les méthodes de linguistique classique et structurale; A. Y. Saikevič (Moscou). Essai d'une détermination statistique des styles fonctionnels; L. M. Skrelina (Minsk). Quelques observations sur le changement linguistique; **Matériaux et notices**: V. I. Lytkine (Moscou). Voyelles moyennes labialisées dans les langues permiques; D. S. Staniševa (Sofia). Quelques problèmes d'analyse syntaxiques; S. Rospond (Wrocław). L'importance d'onomastique du vieux-slave pour l'histoire; **De l'histoire de la linguistique**: I. K. Beloded (Kiev). L'héritage scientifique de P. I. Žiteckij et son importance pour la science moderme; **Critique et bibliographie**; **Lettres à la redaction**: G. G. Počepcov (Kiev). Environnement obligatoire et facultatif; **Vie scientifique.**

Технический редактор *Н. П. Торчигина*

Сдано в набор 13/IX-1967 г. Т-01584 Подписано к печати 8/II-1968 г. Тираж 6450 экз.
Зак. 3636 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5 Уч.-изд. л. 16,6

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10